

операция "твёрдый знак"

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

ВЛАДИМИР ВОЛКОВ

операция "ТВЁРДЫЙ ЗНАК"

ОРИ



ОПЕРАЦИЯ «ТВЕРДЫЙ ЗНАК»

Vladimir Volkoff

THE SET-UP

A novel

**Translated from French
by Vladimir Rybakov**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1987**

Владимир Волков

**ОПЕРАЦИЯ
«ТВЕРДЫЙ ЗНАК»**

Роман

**Перевод с французского
Владимира Рыбакова**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1987**

Vladimir Volkoff: OPERATSIIA «TVERDYI ZNAK»
ROMAN

Translated from French by Vladimir Rybakov

First Russian edition published in 1987
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

First published in French
under the title «Le Montage»
(Julliard/L'Age d'Homme, 1982)

Copyright © Julliard/L'Age d'Homme, 1982
Copyright © Russian edition
Overseas Publications Interchange Ltd, 1987

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 05 2

Cover design by Danuta Niekrasow-Heller

Printed in West Germany

Глава 1

РАССТАНОВКА

30 апреля 1945 года, после девятидневных уличных боев: пришлось драться за каждую улицу, дом, лестницу, квартиру — наконец, русский флаг — мы на время перестали говорить советский — был укреплен на Рейхстаге.

2 мая пал Берлин, и в третий раз в истории победоносные русские войска прошли под Бранденбургскими воротами.

9 мая Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин обратился к народу: „Большие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей страны, неисчислимы лишения и страдания, перенесенные нашим народом во время войны, усилия и труд, которые тыл и фронт возложили на алтарь Отчизны, не пропали даром: они были увенчаны полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за существование и независимость завершилась

нашей победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией”.

Таким образом, те самые, кто, воля Интернационал, захватили власть как представители всемирного союза пролетариев, считали выигранную ими войну патриотической и отказывались от употребления термина „советский”... На время.

Среди людей, вовлеченных в эти события, нужно выделить русских эмигрантов, так называемых белых эмигрантов, одна часть которых примкнула к немцам и сражалась за них, так как, по ее мнению, лучше было быть с чертом, чем с коммунистами; другая же — предпочла служить Советскому Союзу: для них лучше было быть с чертом, чем с немцами. Были, я это хорошо знаю, слишком умные люди, слишком верные люди, циники, отчаявшиеся, но в сердце всех остальных победа русского оружия вызвала вполне понятный и не лишенный благодати энтузиазм.

Этому чувству не была чужда национальная гордость, усиленная стремлением отплатить за двадцать пять лет притеснений, но им также руководили три неравноценных фактора — некоторые могут их счесть легкомысленными разве что в силу собственной frivolности.

Прежде всего, эта победа вечной России над Германией показалась эмигрантам победой Святой Руси над большевистской узурпацией. Да, развевающийся над Рейхстагом стяг не был бело-сине-красным, а целиком красным, но советские солдаты, которых мы встречали, говорили больше о России, чем о „Союзе”, они понимали, что дрались за свою землю, не за идею, их славные наивные физиономии напоминали старшему поколению эмигрантов тех Иванов, которыми они командовали во время той войны. Короче — как будто родина спонтанно ликвидировала введенные в ее плоть антигены. Мы не излечили Россию, она вылечилась сама: и в этом мы нашли радость более смиренную и чистую, чем если бы нам дали возможность взяться за скальпель.

Далее, во Франции, например, посол Советского Союза начал ходить на службы в собор Святого Александра Нев-

ского, и было сногсшибательно видеть этого черта, от ладана не шарахающегося, и говорить себе, что не так уж страшен черт, как его малюют. Многие эмигранты были более привязаны к религиозным свободам, нежели к политической основе прежнего режима: если Церкви возвращали ее права, то этого было достаточно, чтобы они вновь стали преданными подданными Империи, каким бы неприятным или неблагозвучным ни было ее название. И вот Церковь была перед ними такой же золоченой, митродержавной, благоуханной и сладкозвучной, как раньше. Да, она пережила мученичество, и мы не забываем священников, распятых штыками на воротах своих церквей, но это теперь — прошлое: новый режим понял в конце концов, что вера составляет неотъемлемую часть русской действительности и что нужно с этим примириться. Разве бывший семинарист, приведший Россию к победе, не начинал теперь некоторые свои речи словами „Братья и сестры” вместо „товарищи”? Чего же еще?

Наконец, существовал видимый и осязаемый признак этого возрождения нашей России, ее внутреннего восстановления. Правда, он касался в основном военных, но разве эмиграция не была по своему призванию военной? Да и признак этот стоил столько жизней и страданий, что даже для умов, не склонных придавать большое значение внешним признакам уважения и почетным символам, этот обшитый материей и прикрепленный к плечу с помощью медной пуговицы картонный прямоугольник обрел такое значение, какое имели в иные времена кресты той или иной формы, кокарды того или иного цвета, береты, фески, татуировки, короче — вся та знаковая система, что дает резкое отличие одних групп людей от других. Еще при старом режиме сорвать погоны с офицера означало его обесчестить. При новом — красные аккуратно вырезали ножами погоны на плечах военнопленных офицеров. Не желая рядиться в беспогонный мундир, царь, будучи узником, не снимал черкески, которая, по счастью, была уставно лишена погон. Но вот с 6 января 1943 года для сухопутных войск и с 15 февраля для военноморских сил — красные проходили торжественным маршем

— в ряды по сорок восемь! — имея на плечах это рыцарское посвящение. Полный ностальгии тиран, которому дали на одобрение ряд эскизов нового парадного обмундирования, выбрал отличающийся всего двумя пуговицами от мундира времен своей молодости. Мы были не столь мелочными, чтобы ополчаться против двух пуговиц. Возрождался из пепла погон; некоторым из нас можно простить веру в возрождение цивилизации, которую этот погон вселял. Кошмар, грезили мы, кончился. К причинам надеяться прибавилась — амнистия. Правительство позволяло своим вчерашним врагам вернуться к себе домой. Амнистия — великодушное слово, имперское. Дело, казалось, шло не о помиловании, а о вычеркивании из памяти всех бывших конфликтов. Победители и побежденные будут вместе, плечом к плечу, служить родине. Первым записался „возвращенцем” — сразу создали нужное словечко — один митрополит, которого трудно было заподозрить в потакании Антихристу: он открыл в Париже Православную духовную академию; это он помешал тому, чтобы собор Святого Александра Невского был отдан советам, которые хотели превратить его в кинотеатр. Символически митрополит Евлогий получил советский паспорт номер 1. Но он умер до того, как покинул Запад, и позже некоторые увидели в этом руку Провидения, но пока факт оставался фактом: один из духовных вождей Белого движения пошел по пути примирения.

Первая партия „возвращенцев” села, с радостью в сердце, со слезами на глазах, в поезд на Северном вокзале Парижа. Не без тревоги ждали мы от них весточки, даже самые убежденные среди оставшихся не были уверены, что их друзей не расстреляют на границе. После нескольких месяцев молчания пришли письма. Амнистированные были разбросаны по стране; их отправили на физические работы; они ничего не просили, только иногда шерстяные рукавицы и шапки. Казавшаяся неискупимой гражданская война как будто поглощалась историей. И другие кандидаты на возвращение позвонили в некогда проклятые ворота бутылочного цвета на улице Гренель 79.

Одного из них звали Дмитрий Александрович Псарь или лейтенант второго класса Псарь, как он любил представляться.

Дмитрий Александрович был маленьким человеком лет пятидесяти. Он хотел верить в то, что был царским офицером; на деле он дал присягу только февральским марионеткам, что, в данном случае, облегчит ему в будущем отношения со своей совестью. Монархист скорее из верности, чем по убеждению, он воевал в армии Врангеля и после поражения умирал от голода в очень хорошем обществе на турецком острове, носящем странное название Антигона. Нужно было уезжать. Но как? Куда? Некоторые мечтали об Америке — они думали о будущем и еще, что солнце ходит с востока на запад; другие с нежностью вспоминали свою фройлейн, учившую их в детстве „der, die, das”; Псаря, как многих, манила Франция.

И не только потому, что он говорил по-французски, как по-русски, что его детство было убаюкано рассказами графини де Сегюр, что он романтически восторгался Наполеоном. Франция была для него лучшим союзником — она не могла забыть отданных по ее просьбе на гибель под Танненбергом двух русских армий; безумное великодушие, единственное в своем роде решение в истории, позволившее Жоффру спасти Париж.

Прибыли барышники с картонными папками, полными контрактов. Им не пришлось много трудиться: для голодных обитателей Антигоны любое предложение было заманчивым. За предложением стояло девять миллионов убитых, за просьбой — „я умираю от голода”, — так что можно было легко договориться.

Лейтенант Псарь согласился стать в Ардеше конюхом. Не будучи наездником, он знал, что ухаживать за лошадьми не унижение, и это — он был лишь в начале своего горестного пути — было для него еще важно. Франция оказалась менее благодарной, чем он ожидал. Вместо того, чтобы вспомнить Танненберг или хотя бы экспедиционный корпус, который

дал себя уничтожить в Шампани, дабы показать союзникам, как русские умеют умирать, его начали с горьким упорством упрекать по поводу непогашенного русского займа.

— Да! Хороша была ваша Россия! Она мне стоит сбережений целой жизни.

Вначале Псарь чувствовал такую неловкость, что готов был, если бы карманы не были пустыми, возместить этим добрым людям понесенные ими убытки; к счастью, его работодатель его кормил, но не платил ему.

— И вообще, — повторяли завсегдатаи маленького бистро Шомерака, — когда вам, русским, надоела война, вы смылись!

Псарь пытался тогда объяснить, что ни он, ни его император не были ответственны за Брест-Литовский сепаратный мир, подписанный Троцким, что если бы царь совершил подобное, он был бы, вероятнее всего, еще жив, что истинная Россия не может быть обвиненной в том, что бросила своих союзников на произвол судьбы: наоборот, это революционеры-интернационалисты, подкупленные рейхсмарками, выступили против Антанты. И когда Псарь пытался им доказать, что, если бы, как этого требовал Фош, союзники поспешили на помощь монарху, столько для них сделавшему, — к этим выложенным на цинковую стойку облигациям вернулась бы их ценность, — ему отвечали полуизворотливо, полудобродетельно:

— Все так произошло, потому что вы были боярин, а народ несчастен.

Дело было ясным.

Дмитрий Александрович не был боярином, но он также не имел привычки работать на поле. Он был конюхом только по должности: его на деле наняли батраком, а он никогда в жизни не поддевал вилами вязанки весом приблизительно в половину своего. Моряк шатался, спотыкался, а крестьянин, нанявший по дешевке экзотическую рабсилу, недобро наблюдал за ним. Произошла сцена, во время которой фермер пригрозил батраку ударить его ногой ниже спины. Так как у батрака не было ни перчаток, ни визитной карточки,

ни свидетелей, он был вынужден устно вызвать своего работодателя на дуэль; вызов был энергично отклонен. Истратив последние сантимы на покупку билета третьего класса и все сомневаясь, был он или не был опозорен, Дмитрий Александрович потянулся к магниту эпохи — Парижу.

У этого магнита было два непримиримых полюса: префектура полиции и заводы Рено, по-простому „Ре-на-улт”. Чтобы получить работу, нужно было разрешение, но чтобы получить разрешение, нужно было иметь работу. Результат: не только жили впроголодь, но иногда доставлялись на границу и вышвыривались в соседнюю страну, которая, в свою очередь, отправляла за свою границу, и т. д. Дилемму работа — разрешение на работу решил для Дмитрия Александровича один понятливый француз, выписавший десятки разрешений на работу различным секретаршам, домашним учителям, интендантам, гувернанткам, компаньонкам, целому фиктивному персоналу, которому отнюдь не было суждено топтаться в тесной усадьбе этого нищего помещика.

В шутку записанному как учитель музыки, Дмитрию Александровичу, который не знал и до-ми-соль, удалось за получить благоволение префектуры. Благоволение так себе. Драгоценное удостоверение личности трудящегося было выдано лишь на год. Чтобы его продлить, нужно было отправиться в префектуру и простоять долгие часы в очереди: рабочий день был потерян. Занимающийся иностранцами ворчливый чиновник спрашивал:

— Ну? Не понимаете по-французски?

И в конце концов выписывал квитанцию, указывающую, что иностранец просит продлить ему удостоверение личности. Когда несколько недель спустя приходила по почте повестка, все начиналось сначала: метро, очередь, неоплаченный день, ворчливый чиновник и в конце пути бесценный кусок картона гармошкой с фотографией в профиль („правое ухо должно быть обнажено и глаза подняты вверх”).

В первый же год апатрид Дмитрий Псарь забыл вовремя продлить свое удостоверение личности. Скандал. Виновный будет отдан под суд. Он, который довольно спокойно шел

в атаку, заболел от одной мысли предстать перед судьями: он ожидал процесса, подобного карамазовскому, и готовил свою защиту, в которой определенную роль должно было играть сражение под Танненбергом. А ему только сказали назвать свою фамилию и год рождения; то, что среди обвиняемых — их было не меньше сотни — он встретил знакомых, его несколько успокоило. Штраф, к которому его приговорили, был равен всего одному франку. Он вернулся к себе утешенный и благодарный, с желудком, принявшим прежние, нормальные размеры.

Он зарабатывал 16 франков и 75 сантимов в день, тратил на гостиницу десять и один франк на обслуживание; однофранковый штраф означал, что он проживет один день без завтрака. О, великодушные французской юстиции! С десятков дней спустя он получил счет, уменьшивший его восхищение: франк штрафа оказался золотым франком, следовательно, нужно было умножить на одиннадцать, а одиннадцать франков — это три-четыре обеда. Впрочем, почему же нет? Дмитрий Александрович был уличен в нерадивости и не удивился тому, что наказан. Но когда он обнаружил, что к одиннадцати франкам прибавляются сто франков судебных издержек, он поддался отчаянию.

Второй полюс, завод „Рено“, оказался более гостеприимным. Конечно, сорокавосемичасовая неделя была абсурдным миражом, она ограничивалась в лучшем случае пятьюдесятью шестью часами; суббота была обычным рабочим днем; год вертелся, не прерываемый никаким отпуском; запрещение садиться во время работы не облегчало жизнь позвоночнику... Ну да ладно! Это было все же лучше, чем у „товарищей“. Отношения Псаря с другими рабочими были проникнуты обоюдным удивлением, в котором не было враждебности. Работяги задавали такие вопросы, как:

— Это правда, месье Дмитри, что вы едите свечи?

Один из них дружески преподнес свечу месье Дмитри, который, чтобы не обидеть дарующего, счел нужным ее принять. Он также быстро привык к субботному обычаю „ставить“ друг другу в бистро. Захват женами недельной получ-

ки — сотни их поджидали своих мужей, и правильно делали, карауля пространство между заводом и кабачком — ни в чем не мешал неженатому Псарю. Его опрятность несколько оскорбляла рабочих, но они в конце концов простили ему это. А его нателный крест мешал разве что самым яростным антиклерикалам, да и они подобрали при мысли, что поп все же лучше, чем кюре. Не всегда лишенная теплоты обоюдная терпимость даже придавала этим отношениям, сотканным из взаимно оказанных услуг, особую прелесть. По крайней мере, на „Рено” Псаря не попрекали русским займом.

А в общем, все, что происходило в течение недели, его не особенно интересовало; он жил настоящей жизнью только в воскресенье.

В этот день, встав немного позже, чем обычно, он тщательно наряжался перед зеркалом умывальника, подшивал пуговицы, прибивал подковки к ботинкам. Затем шел на Дарю, слушал более патристически, чем религиозно, „Господи помилуй” и, отмолившись, проводил во дворе собора час или два — вздергивал большевиков и возрождал монархию. Затем он попадал в то, что называлось семьей, т. е. в компанию десяти или больше человек, собирающихся у одного из них, женатого. И в течение двенадцати часов подряд эта женщина неустанно подливала чай боевым товарищам своего мужа. Здесь, в этой несуразной комнатухе с окном во двор, в теплоте лампы и чайника — бедность не позволяла обзавестись самоваром — все были уверены, что делятся главным: верой. Так как все то, что в действительности могло быть в некоторых случаях лишь честолюбием, рутинной, времяпрепровождением, вульгарностью — становилось, возвращенное к своей истинной сути, чистым и священным. Пятикопеечная монетка обретала бесценность реликвии. Стяг Святого Андрея, синий крест на белом фоне, который, развеваясь на царских броненосцах, нес в своих складках ветер ярости, превращался на отвороте в маленький эмалированный значок, символизирующий только верность и жертвенность.

И во время одного такого воскресного собрания, когда уже двадцатипятилетние младшие лейтенанты и корнеты, становясь на место министров и генералов, неумоимо, каждый по-своему, разыгрывали гражданскую войну (единственным правилом игры была победа), Дмитрий Александрович узнал, что Елена Владимировна фон Энгель, его невеста, еще жива. Еще... Она умирала от голода и холода в коммуналке в бывшем Петербурге.

Фон Энгели были русскими, и не поздоровилось бы тому, кто утверждал бы противное. Будучи в милости с XVII века, они имели поместья, дома, дачи, но промышленный бум конца XIX века не принес им пользы. Они напоминали Дмитрию Александровичу стаю ночных птиц, мало что понимающих в наступающем рассвете: они переваливались с одной стороны на другую и, махая длинными руками, тихо удивлялись гусарам, одетым, как драгуны, женщинам с коротко стриженными волосами или заседающим в Думе дворянам. С юмором и без иллюзий они соглашались на принадлежность к породе, осужденной прогрессом: нет экологии для людей.

Елена фон Энгель, бледная худая блондинка, вызвала в юном Дмитрие бытующую на севере привязанность, ту, что идет не от сердца, чувств, ума или всего существа, но как будто от чего-то особого и таинственного. Он любил кататься с ней на коньках в Таврическом, слушать в сумерки ее слегка фальшивые арпеджо. Они ходили вместе в танцкласс, стояли в кадрили, иногда благосклонный случай преподавателя им мазурку. Они не обменялись клятвами — это было бы неприлично, — но было однажды в зимнем саду князей Щ. некое пожатие рук. И с того дня Дмитрий считал себя обязанным честью. Революция сделала его любовь невозможной, следовательно, неотвратимой.

Мысль, что его невеста избежала гибели, потрясла существование Дмитрия Александровича. Случалось ведь врангелевскому добровольцу в минуты опасности, в кровавом бою думать, что он служит белолицей Елене, что Россия, не знавшая рыцарства, не перестает о нем мечтать. Но с тех пор

как он работал по девять часов в день у токарного станка, оставляющего на пальцах въедливую металлическую пыль, у Дмитрия Александровича не было уже времени мечтать о своей невесте, которая так и не узнала, что она — невеста. Но вот она вновь появилась, отсутствовавшая, но от того не менее явная; нищая, несчастная, сирота и — прозаически — голодная. Теперь его долгом было не ломать за нее копья, а обеспечить ее беф-строгановым или хотя б макаронами. Конечно, было в этом что-то неприличное — барышни должны есть скрытно, дабы не оскорбить своих кавалеров видом или даже мыслью о вкушении ими пищи. Но Дмитрий Александрович уже научился заслонять романтизм реальностью. Он решил вызвать Елену во Францию.

В то время Советский Союз остро нуждался в валюте. Поэтому эмигрантам было дозволено, уплатив определенную сумму государству, освобождать своих родственников — трудно не назвать это выкупом. Бабушки были дешевыми, можно было заполучить одну, даже работая рабочим на Рено, но нужно было, конечно, копить. Сыновья были бешено дорогими — нужно было быть Крезом, чтобы вытащить сына из рая народов. Стоимость девушек на рынке не превышала разумные пределы, но все же цена была не под силу простому токару. Дмитрию Александровичу пришлось менять профессию.

Состояние его здоровья и малый рост не позволяли ему, работая, например, шахтером, стать богачом. Оставалась одна дорога: такси. Многие эмигранты решились стать, как они говорили, извозчиками. Они таким образом избегали работы на конвейере, цеховых сверхурочных и добивались приличного заработка. Но что было делать с чаевыми? Мог ли офицер принимать их, как холуй? *Centurio in aeternum*. Некоторые ошарашили дающих им монетку буржуа, но французские коллеги запротестовали: никто не имел права нарушать неписанные законы профессии. Пришлось в конце концов смириться — с юмором, горечью, злобой — каждый согласно своему темпераменту.

Как-то пассажир дал одному из моих кузенов ничтожнейшие чаевые, кажется, два су:

— Вот, для вас.

— А вот для вас!

Так ответил таксист, бросив пассажиру пятьдесят франков.

Больное место продолжало ныть; рука тайком засовывала деньги в карман; если кто носил перстень с печаткой, приходилось, садясь за руль, снимать. Но что делать, нужно было спасти Елену. С сожалением сменил Дмитрий Александрович тяжелую, но достойную работу на эту сомнительную синекуру. Он удивился своей быстро приобретенной привычке брать унижительные чаевые, а через несколько месяцев его даже начали раздражать пассажиры — некогда он им отдавал предпочтение, — которые платили столько, сколько было на счетчике. Ведь нужно было, чтобы его небольшие сбережения приумножались изо дня в день. И чтобы он мог каждые две недели посылать продуктовую посылку.

Между тем он начал нежную переписку со своей „невестой“, употребляя при этом наивный код, распространенный среди эмигрантов: чтобы не вызвать подозрений ЧК, в которой, конечно же, читались письма, приходящие из-за границы, он всех мужчин, о которых просил или давал сведения, наделял женскими именами. Свои же письма ловко подписывал „Дина“.

Через три года, собрав нужную сумму, он отнес ее адвокатишке, служившему ему подставным лицом, так как Дмитрий Александрович не представлял возможным прямой контакт между собой и „товарищами“. Но в общем, он не испытывал горечи и находил даже, что ему повезло:

— А если бы я не умел водить машину? А если бы, к примеру, апатриды были лишены права быть таксистами?

Пришел наконец день, когда он смог нанять вторую комнату в своей маленькой гостинице на улице Лекурб. Он ее выскоблил. Поставил настоящие цветы, купленные у настоящего продавца цветов. И, почистив свой единственный костюм так, как он это делал, отправляясь на Пасхальную служ-

бу, Дмитрий Александрович сел в свое такси и поехал, не останавливаясь, перед самым носом останавливающих его прохожих:

— Они что, не видят — флаг спущен?!

Встреча с Еленой не была, увы, ничем похожа на Пасхальную службу. Напротив, то, что им грезилось как праздник возрождения, оказалось похоронами. Признались бы они хоть в этом друг другу! Но нет, они решили сдержать данное слово и, затаив в душе глубокую горечь, поженились.

Для Елены Дмитрий олицетворял прошлое: безопасность, благополучие, нежность и тот романтический конец отрочества, когда счастье и трагедия кажутся благородной душе одинаково соблазнительными. Найдя его в Париже, она думала словно вернуть себя в Санкт-Петербург. Да и в своих письмах он никогда не жаловался, из вежливости, но также, чтобы не создалось впечатления, что выплата выкупа сильно стесняет его. Она, следовательно, представляла его благоденствующим: почему же нет? Французы ведь не могли быть такими глупыми и неблагодарными, чтобы бросить на произвол судьбы офицера союзной армии. А если он время от времени с юмором писал о своей работе таксистом, то это было, конечно, для того, чтобы обмануть цензуру: на деле он должен был быть адъютантом какого-нибудь французского генерала, которого он сопровождал во всех поездках.

Потемневший от времени, потрепанный и коротковатый костюм Дмитрия, его такси, банальнейшее такси, в которое мог себе позволить сесть любой мужлан, гостиничный номер без прямых углов (такие стоили дешевле), но зато обладающий перегородкой, изолирующей умывальник и похабное биде, — все это показалось Елене Владимировне фон Энгель невероятно мерзким. Там, откуда она приехала, она едва не умерла от голода, в то время как Дмитрий жил себе и даже утверждал, что живет неплохо; но там была невиданная в истории революция и еще дотлевала гражданская война, там был, чего там, конец света. А здесь вечером нужно было, в тайне от управляющего, протягивать веревку от стены до

стены и вешать сушить на ночь также исподтишка выстиранную одежонку. И этот запах в коридоре...

Дмитрий говорил, как Макар Девушкин в „Бедных людях”:

— Ничего, ко всему привыкают.

Но это было словесной игрой, шутовством.

Для Дмитрия Елена тоже символизировала непорочность прошлого. Он ожидал вновь встретить белокурое дитя, которому некогда стиснул пальцы в зимнем саду, несравненном по своей поэтичности месте, и, быть может, вновь стать, оказавшись с нею вместе, тем элегантным морским кадетом, которым он был когда-то. Но он нашел ее руки испорченными ледяной водой, ноги — морозом; ее взгляд был то наглым, то пугливым. Она лгала. И повторяла по всякому поводу вульгарную поговорку:

— С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Дмитрий Александрович корил себя за то, что упрекает ее за эти недостатки:

„Такое нежное существо, и что ей пришлось пережить!”

Но он не мог примириться с ее привычкой густо краситься дешевыми румянами. Она же обижалась, что он не покупал ей более дорогие. Жизнь в тесной квартирке, заменившей гостиничный номер, разочаровала супругов. Он считал, что, обзаведясь женой, должен отныне давать очаг его не имеющим тридцатилетним корнетам и лейтенантам, их кормить в субботу вечером и все воскресенье, приглашать, когда им хочется, к себе, чтобы они могли согреть душу видом склонившейся над шитьем молодой женщины, а скоро — и над колыбелью. Поэтому, въезжая в квартиру, он повесил в углу икону с лампадкой:

— Будет у нас для них уголок России.

Но Елена отказалась гробить свою жизнь, стоя над плитой, ради того, чтобы объедалось с десятков бездельников:

— Еще немного, и ты меня попросишь штопать им носки и латать штаны! На что они годятся, твои плешивые, не способные даже преподнести даме приличный букет?

Она была права: корнеты приносили по розе, лейтенанты — по три гвоздики. Некоторые, ничего не поднося, только озадаченно гладили лысины.

Семья продержалась лишь чуть больше времени, чем понадобилось Александру Дмитриевичу, чтобы появиться на свет. Елена тяжело перенесла беременность, а уход, в котором нуждался новорожденный, чрезмерно ее утомлял; в Елене уживались утонченность и заурядность: естественно, тяжел был результат подобного сочетания.

Для Дмитрия Александровича, наоборот, рождение сына было безраздельной радостью, искуплением: преемственность была обеспечена; царь, когда вступит на престол, получит еще одного преданного подданного. Кроме того, пережив гражданскую войну, он расстроганно смотрел на этот маленький комочек человеческой плоти, на мягкий еще череп, на эти ручки, которые будут когда-нибудь держать оружие. Он тоже думал о скрывающейся за этими молочного цвета глазами бессмертной душе. И он нянчил, стирал. И извинялся:

— У моей жены неважное здоровье.

Елена Владимировна однажды исчезла вместе с „Торпедо” с откидным верхом, кротовой шубой и аспирантом, ставшим продавцом нижнего белья для кокеток. Она оставила записку: „Я знаю, что ты думаешь обо мне, но я хочу жить, жить! Будь великодушным: пощади сына”.

Бывает, когда умирает мать, ребенку говорят: мама уехала и скоро вернется. Дмитрий Александрович поступил наоборот: он погладил ногтевыми фалангами щеку своего сына и прошептал ему:

— Мамушка умерла, Алек. Мы теперь с тобой сироты.

Когда вспыхнула Вторая мировая война, в эмиграции проснулись надежды: рухнет наносной режим, не выдержит бури. Да, но что дальше: Россия, колонизированная колбасниками? Дмитрий Александрович сторонился этих разговоров. Он не был очень умен, но пережитое дало ему фатализм или, быть может, отчаяние, открывающее путь к истине. Теперь он уже не надеялся на восстановление монархии, он бо-

лее не представлял, что воля, его и его друзей, сорокалетних корнетов и лейтенантов может хоть как-то изменить историю. Лишь еще одна надежда пылала в нем — не оставить своих костей в чужой земле.

Он часто говорил:

— Я вернусь умереть. В этом я уверен.

Это произойдет помимо его воли. Однажды.

Статус апатридов во Франции был сложным. Одних мобилизовали, других нет. Псарю предложили бросить такси и стать водителем на одном из военных заводов, выпускающих боеприпасы. Несколько офицеров напомнили ему сурово русский заем, но, в общем, он счел, что ему не так уж не повезло. Во время разгрома завод был эвакуирован на юго-восток страны.

— Но я же иностранец и не имею права передвигаться в военное время по территории Франции.

— Нас это не интересует. Если мы вас не найдем в Тарбе, станете дезертиром.

Промучившись много дней в префектуре, Псарь получил, наконец, нужное разрешение, но только успел он доехать до Тарба (за свой счет), как уже было подписано перемирие. Завод исчез с лица земли. Ничего другого не оставалось Дмитрию Александровичу, как вернуться в Париж и искать работу.

Найти работу? Тогда как война была проиграна по вине всяких грязных иностранцев? Нет уж, не выйдет! Все же нужно было как-то прокормиться, а, главное, кормить юного Александра. Оставался один выход: последовать примеру множества коренных жителей и принять предложения оккупационных властей. Но от него к горлу бывшего лейтенанта подступала тошнота.

Есть две категории русских людей: одни восхищаются немецким порядком, породившим Гете и Круппа, другие питают к нему, со времен Александра Невского, живейшее отвращение. Дмитрий Александрович, к несчастью своему, принадлежал ко второй категории: для него служить немцам означало предать миллион семьсот тысяч убитых во вре-

мя Первой мировой войны и сотни тысяч других, убитых в течение предыдущих веков крестоносцами или вспомогательными войсками Наполеона. И все же он лишний раз подчинился необходимости. Он знал немецкий, следовательно, к нему хорошо относились и ему платили тройную зарплату. Но он был из тех, для кого нравственное неудобство более пагубно, чем материальное. Два года, во время которых он водил немецкий грузовик, были самыми гиблыми в его жизни. Одно светлое пятно: он систематически отказывался от более выгодных или почетных предложений — он мог стать переводчиком, писарем, устроиться в разведке. Он мог бы даже нарядиться в зелено-серое обмундирование (а что, оно, право же, шло к лицу) и вернуть, пожалуй, свое звание. Но он от всего этого упорно отказывался. Эмигрант себя компрометировал, но лейтенант российского императорского флота оставался непорочным, как икона.

После Освобождения всего этого ему не закли. Администрация оказалась в руках людей, взявшихся за оружие за день до победы. У них не было иного доказательства патриотизма, кроме свирепости. Другие же, действительные герои, среди которых многие были коммунистами, навязывали Франции лихорадочный медовый месяц с СССР: в этих условиях жизнь белых эмигрантов была едва выносимой. Всякий апатрид, бывший на жаловании у врага, всячески притеснялся, он был удобным козлом отпущения для нации, совершившей высший грех: сомнения в себе.

Для Дмитрия Александровича положение стало прямо невыносимым. Административные преследования, с одной стороны, безработица — с другой. И время от времени булочник на углу его окликал:

— Возвращайся к себе, грязный русак.

Мысль сделать именно это, да, это, вернуться на родину, не дожидаясь веления providения, а — по собственному решению, стала обретать форму в мозгу Дмитрия Александровича. Нигде он не будет таким бедным, нигде его не будут так донимать, как это делают здесь. И когда в диспансере один врач открыл ему, что тело его истаскано, что клетки

организма отказываются ему служить, к горлу подкатила ностальгия, по силе своей превосходящая всю ранее испытанную им тоску по отечеству. Он тихо потрепал сына за щеку и сказал:

— Мы возвращаемся.

Александр, по обыкновению своему молчаливый, не ответил.

У Дмитрия Александровича не было иллюзий. Он не надеялся вновь найти „блестящий Санкт-Петербург” своего детства. Но зато он будет слышать кругом родной язык и родная земля покроет его останки, когда он отдаст душу.

— Даже красные не могут мне этого запретить.

И кстати, существовали ли еще эти красные? Невозможно было вовсе отказать в законности государству, с такой славой разгромившему захватчиков. Независимость более ценна, чем свобода. Да и слово свобода никогда не воодушевляло бывшего лейтенанта. Он происходил из рода, для которого слава была синонимом служения: стремление к свободе казалось его предкам и ему идеалом раба. А если там не было частной собственности, то что же — без нее Псарь легко обойдется: для него было важнее принадлежать стране, чем обладать в ней чем-либо. Каким облегчением будет сжечь этот ничейный паспорт, носящий название Нансеновского! И Александр вырастет в своей стране, научится служить ей, даже в кадетском корпусе — он вновь появился под названием Суворовское училище.

Странной была для Дмитрия Александровича его первая встреча с „товарищами”. Когда он нажимал на кнопку звонка советского посольства, ему казалось, что мир должен взорваться, как если бы частица материи столкнулась с частицей антиматерии. Но мир не взорвался, и советские показались эмигранту более или менее нормальными соотечественниками.

Позже он рассказал своим настоящим товарищам, корнетам и лейтенантам, которым было уже под пятьдесят:

— Знаете, нет у них ни рогов, ни раздвоенных копыт.

Но что его удивило, это встреченное им у „товарищей”

бюрократическое высокомерие, открытое ощущение превосходства... Ему дали понять, что речь идет не о примирении, а о прощении. А чтобы его заслужить, он должен был униженно покаяться, признать свои ошибки, и не только политические. Манеры его, например, указывали на степень его упадка. Однажды, перелистывая том Ленина, Дмитрий Александрович привычно послонявил палец, и немедленно на него уставились орлиный нос и угрожающие очки учителя „катехизиса”:

— Никогда больше этого не делайте. У нас это признак плохого воспитания.

Но прежде всего он должен был заполнить страницы и страницы формуляров анкеты. Он должен был не только исповедаться во всех своих грехах против советского правительства, но составить полный перечень всех своих родственников без исключения и написать их биографии. Он приуменьшил свои подвиги и заявил, что все его родственники умерли. Навязчивая идея всех возвращенцев — не повредить тем, кто нашел способ выжить т а м — пришла и к нему.

Он просыпался по ночам:

— Должен ли я был двоюродного брата Алешу объявить мертвым или вовсе не упоминать о нем?

Затем наступил период реабилитации. Прошедший исповедь и как будто прощенный, блудный сын должен был теперь приобщиться к доктрине.

Были организованы вечерние курсы, на них эмигранты встречались, едва осмеливаясь глядеть друг на друга, три раза в неделю. Они давились лекциями о преступлениях царя и заучивали наизусть „учение” Маркса, Энгельса, Ильича и, разумеется, самого великого гения, величайшего полководца, философа, экономиста, самого великого вождя всех народов и всех времен, того, чье имя-отчество произносилось со смесью заискивающей нежности и почтительной мужественности: Иосифа Виссарионовича. Само собой, нельзя было и помыслить подойти к этой литургии хотя бы с йотой юмора: революционность прежде всего серьезна.

Не обладая экономическим образованием, не ощущая никакой привязанности к интересам или добродетелям буржуазии, Дмитрий Александрович смог сдать, не покрывив душой, часть экзаменов: он с удовлетворением перечислил советских маршалов и их победы, он с волнением в голосе рассказал о Сталинградской битве. Но ему пришлось серьезно взять себя в руки, чтобы произнести под требовательным взглядом из-за очков учителя катехизиса слова „Николай Кровавый” и даже „Ленинград”. Другие кандидаты слушали, не глядя, в тишине разделенного стыда. Затем наступил их черед клеймить „банды белогвардейцев” и „разнузданных бандитов контрреволюции”. Под занавес спели хором „Катюшу”: это было советским, но не коммунистическим, это была героическая песня, сентиментальная, в общем, русская. После все почувствовали себя лучше, будто побывали в бане.

Если Дмитрий Александрович рассчитывал ценой столь малых усилий получить паспорт и объявить французам, что теперь у него тоже есть страна, правительство, посол, то он ошибался. Он должен был теперь доказать свою искренность. По воскресеньям утром он шел уже не в церковь, а на пропагандные фильмы типа „Клятва”, специально показываемые в одно время с церковной службой. Он участвовал затем в организации балов в честь Октябрьской революции, произносил тосты в память Ильича и за здоровье самого великого среди великих. Он даже заставил себя произнести по-советски слова „автобус” и „библиотека”. И он думал, что, вот, еще одна жертва, и он сможет сесть в заветный поезд. Вернуться.

Наконец он был вызван тем же учителем коммунистического катехизиса:

— Мы теперь убеждены, гражданин, что вы являетесь истинным сыном нашей советской Родины.

Зеленый паспорт лежал тут рядом, на столе. Дмитрий Александрович смог взять его в руки, проверить печати, фотографию, подписи.

Современное написание его имени-отчества еще раздража-

ло, но это было не так важно; впрочем, он уже привыкал — ведь приходилось же ему, заполняя анкеты, все время вычеркивать твердые знаки и русские i.

— Спасибо, спасибо!

Он вновь чувствовал себя настоящим человеком. Он выйдет на улицу Гренель с гордо поднятой головой:

— Месье полицейский, я — советский гражданин.

Быть гражданином было для него теперь лишь немногим менее почетно, чем подданным.

— Когда я вернусь?

Учитель катехизиса, видя, что Дмитрий Александрович не хочет выпускать из рук паспорта, слегка потянул к себе зеленую книжечку:

— Это мы куда оставим здесь.

Он встал и положил паспорт на одну из полок вделанного в стену сейфа.

— Конечно, вы вернетесь, но пока вы более нужны нашей советской родине здесь. Вы знаете французов, вы привыкли к ним, они — к вам.

Дмитрий Александрович не сразу понял, что убили его мечту, он уцепился за „конечно” и „пока”. Не отводя упорного взгляда своих до времени постаревших глаз от покоившегося в глубине сейфа зеленого пятнышка, он взмолился:

— Но... паспорт... Дайте его мне.

— Для чего?

— Я не могу жить во Франции без удостоверения личности.

Это было не единственной причиной: он хотел, преисполненный нежности, унести эту книжечку к себе, чтобы поцеловать ее в одиночестве, чтобы сохранить доказательство того, что он вновь стал самим собой.

Учитель катехизиса ответил, строго блестя стеклами своих толстых очков:

— Ничего. Вы не скажете французам, что стали советским гражданином. Будете продолжать пользоваться нансеновским паспортом.

Видя, что сердце бедняги обливается кровью, он добавил, быть может, сообразив, что так выгодней, а быть может, из жалости:

— Именно так вы сможете лучше всего служить нашей советской Родине, которая, несмотря на ваши ошибки, открыла вам свои объятия.

Дмитрию Александровичу не суждено было долго жить, и никто не попросил у него оказать какую-либо услугу советской родине. С того времени его рак стал прогрессировать с удвоенной скоростью. Он никогда не был пьяницей, а тут стал вдруг пить, словно хотел себя доконать. Он был поочередно ночным сторожем, мойщиком посуды, грузчиком, дворником — терял свою работу, находил только временную. Теперь, зная, что не вернется, он хотел лишь одного: быть похороненным на кладбище в Сент-Женевьев де Буа, где гниет столько русских останков, что земля стала по праву считаться русской. Корнеты и морские лейтенанты, теперь пятидесятилетние, скинулись, чтобы — они осудили предательство, но не предателя — осуществить последнюю волю своего однокашника.

Дмитрий Александрович, лишенный ухода, умер в больнице — в тот день бастовали сестры.

— Я не вернусь. Но ты, Алек, вернешься вместо меня.

Это были его последние слова. Он поднял руку, чтобы погладить щеку Алека, но уже не хватило сил.

Отпевание состоялось в кладбищенской часовенке. Тот июнь был очень жарким, и священник положил в кадило побольше ладана. Спели „Вечную память”, „Со святыми упокой” и „Коль славен” — отпевали ведь военного. Гроб был спущен в могилу на одолженных одной старой генеральшей вышитых полотенцах, так что пришлось ей их вернуть и, вопреки обычаю, полотенца не достались могильщику... да и что он с ними бы делал? Посыпались, ударяясь о гроб, земляные комья.

Белокурый Александр Дмитриевич, чураясь всех, наблюдал за происходящим с подчеркнутым равнодушием. Друзья отца испытали к сыну скорее недоверие, чем симпатию: он

тоже подал прошение о репатриации, он тоже неустанно посещал посольство — не был ли перед ними настоящий большевичок? Женщины, напротив, с нежностью смотрели на худое его лицо с помятыми веками, на юношескую шею, которую не скрывал открытый ворот белой рубашки (Дмитрий Александрович терпеть не мог галстука — сугубо гражданского украшения). Поверх рубашки на нем был пиджак из голубого полотна, презент обеспеченного родственника или, возможно, какого-нибудь благотворительного учреждения.

— Сколько ему может быть лет?

— Девятнадцать. Но выглядит, бедняга, моложе.

На похоронах присутствовал некий молодой человек, которого как будто никто не знал. На круглом лице сидели добродушные круглые очки. На нем были коричневый пиджак, коричневато-серые брюки и неуклюжие башмаки. Когда Александр вышел с кладбища и отказался ждать со всеми автобус, предпочтя прогуляться по солнышку до вокзала, — к нему подъехала машина. Раскрылась дверца:

— Садитесь. Я вас подвезу.

Это был тот самый молодой человек.

Александр мгновение колебался. Затем подумал, что это приглашение является, вероятно, вежливо сформулированным приказом.

— Спасибо, Яков Моисеевич.

И он сел в машину.

Детство Якова Моисеевича Питмана было убаюкано рассказами о спасающих революцию доблестных чекистах. Без них белые бы победили. Поэтому Яков мечтал попасть на работу в Комиссариат внутренних дел: он думал, что только там принесет больше всего пользы партии и отчизне.

Яков Питман помнил, что он еврейского происхождения, но для него это имело не большее значение, чем если бы он был татарин или грузин. Он гордился принадлежностью к стране Пушкина, Чайковского и Петра I. И он обожал русский фольклор, был способен проникновенно исполнить

„Средь шумного бала...” или пуститься в бешеную присядку. Не то чтобы он отрекся от своих родителей, которых, напротив, нежно любил, просто считал их заботы безнадежно устаревшими: Яков вне дома уплетал свинину без всяких угрызений совести, даже с подчеркнутым удовольствием. Как чеховские персонажи, он всей душой призывал век, в котором люди будут любить друг друга и будут счастливы, и обладал, в отличие от Чехова, тем преимуществом, что знал — этот век наступит завтра.

Механизмом, приближающим на всех парах это будущее, была партия, и Яков испытывал к партии доходящую до слез нежность и признательность. Это благодаря партии родина станет самой могущественной и благородной державой мира, уже сейчас советский народ в едином порыве строит справедливое и светлое будущее. Естественно, Яков хотел быть в первых рядах этих строителей.

Ничто не противоречило тому, чтобы он был взят под опеку органами, предпочитающими набирать людей среди молодежи, будущее которой всецело б от них зависело. Моисей Питман был простым портным, как и его отец; мать и бабушки также принадлежали к скромным семьям Бердичева: анкета, охватывающая два поколения, выявила, следовательно, более или менее здоровое пролетарское происхождение. В то время быть евреем было скорее гарантией, чем изъяном. И один дядя-революционер явно не портил биографии. Короче, после окончания университета Яков Питман был принят в спецшколу в Белых Столбах, где два года учился, в основном, премудростям контрразведки. Благодаря знанию французского он был затем направлен в 5-й отдел. Война только закончилась, и его послали на работу во вновь открывающееся в Париже посольство. Яков был полон энтузиазма: он будет работать, не покладая рук, чтобы Франция стала братской СССР страной, столь же свободной и счастливой. Разумеется, младшим братом, которого старший будет направлять для его же собственного блага.

Несмотря на свои благие намерения, через год лейтенант Питман оказался на краю бесчестия и высылки.

Вначале, хотя он попал в среду карьеристов и развратников, все шло хорошо. Он был поставлен под начало офицера, занимавшегося возвращенцами — дегенератами, наркоманами, бывшими палачами, врангелевцами, колчаковцами: как все-таки была милосердна советская власть, что дала амнистию этим пособникам реакции! Питман, впервые встретившись с настоящим князем, ощутил одновременно робость, отвращение и, по счастью, жгучее любопытство. Он ожидал увидеть людоеда, сверхчеловека. А князь О. оказался горбуном, деликатным, бедным, как Иов, не наркоманом и уж явно за свою жизнь никого даже не высек. Воплощенное зло не всегда представлялось, как раньше думал Питман, в очевидно-понятных чертах. Но он был готов и хотел учиться. Он обладал быстрым, восприимчивым умом, а, главное, интуицией. Скоро ему приказали начать среди возвращенцев поиск будущих сексотов.

Действительно, амнистия преследовала не чисто гуманную цель — многие возвращенцы никогда не вернутся, они останутся во Франции и будут своей массой прикрывать тех, кто получил определенное задание. Одной из лучших находок Питмана оказался бывший участник Сопротивления, сестра которого занималась распадом атома: не могло быть и речи о том, чтобы допустить таким людям вернуться — таких легальных нелегалов можно со временем поднять до важных в этой стране постов. Но чтобы усыпить бдительность французов, нужно было оставить более или менее медленно подохнуть в изгнании стареющих таксистов, разных старых цыган, мудрецов-теологов, для которых все равно не было места в Советском Союзе.

Питману удалось отобрать нужных людей, и, желая дать ему возможность совершенствоваться, пройти через все отделы разведки, резидент перекинул его в другой сектор, где Питман оказался под началом сизоносого старого чекиста, о подвигах и палаческом мастерстве которого говорили за пятидесятиграммовыми рюмками водки.

Первым заданием Питмана было участие в похищении среди бела дня в Париже одного бывшего полковника импе-

раторской армии, который, как только закончилась война, попытался возродить РОВС, находившийся до войны под командованием сначала Кутепова, затем Миллера. Этот старик не был особенно опасным, но чекистские традиции этого требовали: РОВС должен был быть обезглавлен. Правда, на этот раз не было нужды прибегать к сложной операции: французы молчаливо дали свое согласие; оставалось взять полковника, как берут людей в Москве или Горьком, предпочтительно ночью, когда температура тела наиболее низкая, а следовательно, способность человека к сопротивлению наиболее незначительная. Совесть не беспокоила Якова Питмана, когда он садился во взятый напрокат автомобиль. Полковник был всего лишь смутьяном, но все же мешал; он, без сомнения, лет 25 назад вешал пленных красногвардейцев; нужно было помешать ему продолжать сеять смуту там, где будет скоро, совсем скоро земной рай. Полковник никогда не был советским гражданином, поэтому французам было неприятно выдавать его открыто, но закрыть глаза, пока его хватают, это было нормальненько — зря, что ли, воевали вместе против немцев?

Питман нажал на дверной звонок. И в ответ на его молчание — вежливо постучал фалангой указательного пальца правой руки в облезлую старую дверь — четыре раза и снова четыре раза. Чекист дышал ему в затылок водочным перегаром. Одного человека он оставил для страховки на четвертом этаже, другого послал на шестой, где тот мог, наблюдая за происходящим, прийти на выручку в случае возникновения трудностей. А их не должно было быть: консьержка хорошо относилась к русскому господину, который всегда вытирал ноги, прежде чем подняться к себе, вдобавок ее муж, партизан-коммунист, ставший теперь полицейским, обещал в случае чего ее успокоить.

Чекист сказал:

— Если будешь так царапаться в дверь, он подумает, что ты пришел кланить десять франков, которых у него нет.

И он сильно ударил в хлипкую дверь кулаком, а затем ногой.

Вдруг Яков ощутил перед собой как бы разверзшуюся пустоту. Дверь же по-прежнему была заперта. Он так и не узнал никогда, откуда пришло это ощущение: может, сквозняк?.. Панический голос мужа консьержки уже раздавался на лестнице:

— Товарищ! Месье! Капитан! Случилось несчастье.

Когда Яков увидел на тротуаре это нечто, этот человеческий блин с волосками на подбородке, сломанные ноги, пробившие мясо кости и залатанную пижаму, — он отшатнулся, и его стало открыто, безостановочно рвать.

Чекист сказал-выплюнул:

— Дохляк! Баба!

Прекратив оскорблять своего заместителя, он молча уставился на него в упор, бросая время от времени взгляды на своих помощников, словно звал их в свидетели. Муж консьержки стоял сзади, качая головой; он инстинктивно чувствовал жалость и вместе с тем ощущал в себе нервный смех при виде распластанного „шута горохового” с козлиной бородкой, но сильнее всего было глубокое разочарование: русские товарищи всегда побеждают, а тут, оказывается, дали такого маху. С этого момента его вера в марксизм резко пошла на убыль: два года спустя, достигнутый благодатью, он пошел на мессу и начал голосовать за правых.

Чекист дал мстительный отчет: операция не удалась по вине лейтенанта Питмана, так долго стучавшего в дверь, что объект успел выброситься в окно. Последующее поведение лейтенанта доказывает, что причиной ошибки было отсутствие храбрости. Так, со дня на день Питман, которому, казалось, все улыбалось в жизни, постепенно оказывался на дне. Ему более не пожимали руки и, когда он входил, отводили глаза. Все знали: дело в бюрократической волоките — он будет наверняка изгнан из знаменитого первого отдела, быть может, вообще из ГБ. Под голубыми околышами не должно быть трусов. Когда Питман осторожно попросил объяснений, ему не разрешили прочесть отчет — резидент прямо посмотрел ему в глаза:

— На твоём месте, Питман, мне было бы стыдно. Я бы таился, не ходил бы вот так...

И ему стало стыдно, ибо Госбезопасность, вдохновленная непогрешимой партией и величайшим учением, не могла ошибиться. И он тушевался, страдая от презрения со стороны товарищей. Да и ничего другого ему не оставалось делать: работы ему больше не давали. Нужно было ждать отклика на родину.

Самолюбие Якова Моисеевича Питмана было ранено, его стремление служить, все, что составляло смысл его жизни, казалось, погибло: он знал, что, работая в ГБ, можно допускать ошибки — они будут покрыты; но его обвинили в простой слабости, следовательно, по-настоящему не признали своим и поспешили списать за ненадобностью. Так же терзала его любовь — ведь Эличка продолжала посылать ему полные надежд нежные и страстные письма: мог ли он допустить, чтобы любимая за него краснела? Он думал о разрыве с ней, думал и о самоубийстве.

Но однажды дневальный, который, когда Питман оказался в опале, не осмеливался на него и взглянуть, подошел к нему:

— Вас просит товарищ Абдулрахманов.

Абдулрахманов, огромный человек с конусообразной головой, был прозван сотрудниками посольства Сталагмитом не только из-за чрезмерно высокого роста, но и потому, что казался скорее чудом природы, чем человеком. Кличка не удержалась, как-то нечем было ее питать: последнее время сотрудники вообще избегали о нем говорить, словно любое напоминание о нем могло вызвать катастрофу.

Абдулрахманов был, вероятно, гебистом. Но к какому отделу он был приписан? И каковым был его пост? Тайна. О нем никому ничего не было известно — вплоть до звания. Он одинаково откликался на „товарищ капитан” и на „товарищ генерал”. Он всегда работал в нерабочие часы, рылся во всех кабинетах, в том числе и в посольском — у него бы-

ли ключи от всех дверей и всех столов: данные ему кем? То его считали человеком самого Берии, то партийным сановником, отчитывающимся в своих действиях только перед Иосифом Виссарионовичем. Он никогда никому не сделал ни одного угрюмого замечания, но всегда распространял вокруг себя ужас. Быть вызванным к нему означало для человека, попавшего в положение Питмана, приблизительно то же самое, что для приговоренного к высшей мере быть внезапно разбуженным до рассвета.

Получив разрешение войти, Питман стал в несколько неуклюжую стойку смиренно на пороге пустого, банального кабинета, в котором явно никто много не работал. Он ожидал услышать солдафонский рев или ледяной шепот, но до него дошел гнусавый, вежливый голос:

— *До того, как я обагрил кровью меч, противник сдался. До того, как я обагрил кровью меч, противник сдался.*

Перед конусообразной головой высился не лишенный угрозы поучительный указательный палец.

— Заходите, Яков Моисеевич, голубчик, заходите и опустите в кресло свою уважаемую задницу. Знаете ли вы Сунь Цзы?

Ужасающий товарищ Абдулрахманов не говорил, как офицер ГБ. Он даже не говорил, как обычный нормальный советский человек. У него был певучий бас, который переливался согласно самым утонченным правилам дикции. Он играл им как актер, но его отточенный стиль был скорее стилем университетского профессора старой России. Да и стоило только взглянуть в этого вежливого, добродушного, почти елейного человека, чтобы сами по себе пришли на ум слова „старая Россия”, и все же от него исходило такое ощущение мощи! Яков Питман был бы шокирован этой неревольюционностью, если б его не охватили другие чувства: впервые за два месяца с ним по-доброму разговаривали, а он вынужден разочаровать собеседника — ведь ничего не знал он об этом Сунь Цзы, вероятно, каком-нибудь лакее Чан Кай-ши.

— Нет, товарищ генерал. Я не в шестом отделе, товарищ генерал. А этот Сунь Цзы, я не...

— Да садитесь же, Яков Моисеевич, вот сейчас мы все трое и познакомимся.

Питман огляделся, третьего не было в комнате, если не считать висевшего на стене портрета Феликса Эдмундовича... но он был везде, ни одно помещение ГБ не ускользало от его пронизывающего взгляда.

— Скажите мне сначала, что вы думаете об этой мысли, одновременно великодушной и, как бы сказать, незаконной?

— Какой мысли, товарищ генерал?

Он говорил „генерал”, потому что не было для него выше звания, но он еще никогда не видел такого вежливого генерала.

— Которую я только что высказал: *„До того, как я облил кровью меч, противник сдался”*. Что вы об этом думаете?

Вопрос был опасным даже для тех, кто обычно думал, как положено думать. Быть может, Ленин что-то написал об этой идее, а Питман забыл. Чувствуя свою вину, Питман схоронился за жалобно-тягучим „я не знаю, товарищ генерал”.

Человек, прозванный Сталагмитом, сказал:

— Слушайте, прежде чем встретиться с товарищем Сунь Цзы, мы примем несколько предварительных решений. Мы с вами слишком культурны, как говорят обычно люди, лишенные культуры, чтобы ежеминутно выставлять друг перед другом свою политическую веру. Так что перестаньте, любезный Яков Моисеевич, называть меня товарищем. Затем, мы слишком привязаны к правде о вещах и людях, чтобы придавать значение излишним и поверхностным социальным наслоениям. Значит, бесценный мой Яков Моисеевич, прекратите величать меня генералом. И наконец я осмелюсь звать вас Яковом Моисеевичем, сам же пожелаю, чтобы вы оказали мне честь называть меня Матвеем Матвеевичем.

— Никто, товарищ генерал, вас так не называет.

— Драгоценнейший мой Яков Моисеевич, окружающие нас товарищи являются надобностями, бесценными надобностями, но им нечему учиться у Матвея Матвеевича, а Матвею Матвеевичу нечему учиться у них. В этих обстоятельствах

они могут меня называть, как Бог на душу положит: мне наплевать. Если мне скажут: иди сюда, Иванушка-Дурачок, — пойду, если сердце подскажет. Слышали вы об Эйнштейне?

И он добавил с молниеносной, тут же исчезнувшей иронией:

— Успокойтесь, я не собираюсь его арестовывать.

— Да, Матвей Матвеевич, я слышал об Альберте Эйнштейне. Нет уверенности, что его учение соответствует основополагающим положениям марксизма-ленинизма.

— Ничего — будет соответствовать. Сделаем, что нужно. Ну так вот, изумрудный мой Яков Моисеевич, этот Эйнштейн как физик, я и некоторые другие как стратеги — ведь мы составляем некий ареопаг, в который, даст Бог, и вы войдете — открыли закон относительности в военном искусстве. Сунь Цзы сказал: „В искусстве войны высшей изощренностью является атака на планы противника”. Только у Сунь Цзы не было возможности проявить на практике свой гений.

Питман осмелился спросить:

— Почему?

— Потому, Яков Моисеевич, серебряный мой, что Сунь Цзы коптил небо приблизительно две с половиной тысячи лет назад. Ну-с... а мы можем, у нас есть все возможности и средства напасть не только на планы генштаба, что было бы чепухой, а на все планы врага, начиная от планов, касающихся рождаемости, до литературы, от секса до религии. Дай только Бог, чтобы мы правильно использовали эти колоссальные возможности.

Внезапно Абдулрахманов встал, вернее, самовоздвигся. Он возвышался, как башня. Он повторил голосом, каким поют в церкви:

— *До того, как я обагрил кровью меч, противник сдался.* Знаете ли вы что-либо более изысканное и вместе с тем действенное? Да, давайте-ка решим одну проблемку. Я знаю о вас все, что можно знать. Если б вам дали свободу действий, вы, вероятно, не испугали бы этого старого осла, и он теперь ревел бы себе на Лубянке. Вся вина на этой суке, непре-

менно желавшей обогреть свой меч. Я ему покажу, где раки зимуют. А если у вас кишка тонка...

Питману захотелось оправдаться:

— Не то чтобы мне стало его жаль. Но бороденка была на тротуаре. Такая жалкая бороденка...

— Вам — бороду, другому — другое: неважно. Если бы наши качества измерялись крепостью наших кишок, никогда Генрих IV не стал бы французским королем. Я набираю людей и остановил свой выбор на вас.

Он произнес последнюю фразу с невероятной алчностью. Стоя, странно положив маленькие руки на стол, Абдулрахманов напоминал готовящегося к нападению птеродактиля.

— Я очень польщен, Матвей Матвеевич.

— Зря. Чем вы можете гордиться? Тем, что вы — брюнет и несколько близоруки? Нет, у вас есть качества, нужные для создаваемой мною новой шарашкиной конторы. Подумайте чуточку, алмазный мой Яков Моисеевич. Легко ли найти среди нас людей, наделенных необходимым мне качеством: способностью вызывать симпатию? Храбрых, верных, хитрых, жестоких среди наших товарищей много, но вот способность поставить себя на место другого, влезть в его сознание, добраться до подсознания?.. Посмотрите. — Абдулрахманов обошел стол, взял Питмана за плечо и, как мальчишку, подвел к висевшей на стене деревянной доске. На ней были вырезаны, подражая форме китайских иероглифов, следующие слова:

1. — *Дискредитируй Добро*
2. — *Компрометируй вождей*
3. — *Поколеби их веру, предавай их презрению*
4. — *Пользуйся подлыми людьми*
5. — *Дезорганизовывай власть*
6. — *Сей раздор меж гражданами*
7. — *Настраивай молодых против старых*
8. — *Осмеивай традиции*
9. — *Нарушай снабжение*
10. — *Услаждай сладострастной музыкой*
11. — *Насаждай разврат*

12. — *Будь щедрым*

13. — *Будь осведомленным*

Абдулрахманов сказал снисходительно:

— Таковы тринадцать заповедей, которые я извлек из Сунь Цзы. Я их выгравировал на этом твердом оливковом дереве, чтобы они лучше врезались в память.

Питман поднял глаза на этого человека, который, казалось, жил согласно им же созданным законам. С бледно-темной кожей, со снарядообразной головой, острие которой уносилось в небо, с руками черкесской княжны, с огромными ногами, словно ввинченными в пол, с восточной своей фамилией и с разговором, пришедшим из прошлого века, Абдулрахманов показался ему как бы компендиумом Советского Союза или, вернее, того, что называлось ранее Российской империей.

— *Искушенные в военном искусстве побеждают армию противника без сражения. Они берут города без штурма и совершают государственные перевороты без долговременных операций...* Какая утонченность! Какая красота! Конечно, этот идеал не может принадлежать нашим профессиональным воякам, которые как раз и стремятся к штурмам и долговременным операциям, иногда, чтобы набрать званий и орденов, иногда — просто для удовольствия. Но мы, Яков Моисеевич, золотой мой, мы здесь не для удовольствия. Мы здесь для того, чтобы взять весь мир в ежовые рукавицы. Вот где, как у нас говорят, собака зарыта. Вас это интересует?

Не дожидаясь ответа Абдулрахманов продолжал:

— Я создаю в главном первом отделе группу Д. Мне нужен ответственный за Францию работник. Наши методы несколько эзотеричны, но вы научитесь по ходу дела. Как только станет возможным, попудрим вам погоны звездочками — чтобы произвести впечатление на дураков. Вы молоды, и поначалу это подействует на вас самого: но не попадите в ловушку. Звездочки лишь средство, не цель. Вот чего не могут понять наши вояки. И в погоне за этими звездочками они непременно хотят обогреть кровью свой меч. Но Сунь

Цзы говорит и повторяет: *В войне наивысшим достижением является захват страны противника в полной ее сохранности; уничтожение ее есть крайнее средство.* Мы именно это и сделаем во Франции, рубиновый мой Яков Моисеевич, мы заполучим ее невредимой.

Через неделю после этой встречи Яков писал своей невесте: „Эличка, сахарная моя, я встретил самого изумительного человека в мире. Он Карл Маркс и Дед Мороз в одном лице. Ты, конечно, понимаешь, что в этой шутке нет и следа неуважения, наоборот. Он меня научит многому; чему именно я не могу написать даже тебе. Скажу только, что смогу потом делать людям добро, не принося, как это часто бывает, вместе с тем и боль. Теперь о главном: мне дали звание капитана, и, как только я получу отпуск, мы сможем пожениться. Надеюсь, это произойдет скоро. Напиши, что и ты надеешься, плутовка моя”.

Получив, с повышением, назначение в отдел Д, Питман вновь смог пожимать столько рук, сколько хотел. Будучи от природы добродушным, он простил товарищам плохое к нему отношение, но не стал искать с ними встреч: он углублялся все более и более в свое чрезвычайное задание и был обречен, не столько из-за окутывающей его тайны, сколько из-за вытекающей из специфики задания некоммуникабельности, — на все растущее одиночество. Это одиночество, впрочем, он не осознавал, так много света и тепла находил в приветливости, которой его с первого же дня одарил Матвей Матвеевич. По ту сторону служебных отношений этих людей объединит впоследствии редкая многолетняя дружба, в которой расстояние между поколениями создавало благоприятные для обоих различия.

Генерал-майор Абдулрахманов — он в конце концов открыл свое звание — интересовался, среди тысячи прочих дел, возвращенцами. Быстро перелистав содержимое папок, он ткнул пальцем в дело Дмитрия Александровича Псаря:

— Познакомьтесь с сыном. Затем мне подробно все расскажете.

Месяц спустя Питман отчитывался: молодой Псарь, шестнадцати лет, оказался парнем умным, самолюбивым, замкнутым. Любил литературу и прекрасно говорил по-русски. Он не высказывал никакой враждебности к преподавателям марксизма-ленинизма, но явно скучал на уроках. На вопрос, для чего он подал вместе с отцом просьбу о предоставлении ему советского гражданства, ответил: „Хочу вернуться”.

Абдулрахманов потребовал фотографию молодого Псаря и сразу воскликнул:

— Он красив и чудесно подойдет!

Для Питмана женская красота не много значила, а уж мужская и подавно. Да и какая могла быть связь между приятной внешностью и законом относительности в военном искусстве? Но он скрыл свое удивление.

Абдулрахманов откинулся в заскрипевшем под ним кресле:

— Ну-с, что вы об этом думаете?

— Если вы рассчитываете сделать из него агента влияния, Матвей Матвеевич, то он не подойдет.

— Почему? Впрочем, продолжайте.

— Как вам сказать. Он не был и никогда не будет нашим. Я попытался идеологически обработать его, как это рекомендует пособие „Vademecum”. Так знаете ли, что он сделал? Он выучил наизусть основные главы „Капитала”. Наизусть! Какая наглость!

— Яков Моисеевич, золотой мой, как приятно иметь дело с умным человеком! И все же я вас попрошу поусердствовать. Пусть этот молодой человек станет вашим другом, вернее, станьте вы его другом. Обласкайте его, узнайте самое его уязвимое место. И не забывайте, что кошек не гладят против шерсти.

Питману понадобилось некоторое время, чтобы „зацепить объект в человеческом плане” (технический термин). Он водил его на несоветские фильмы, приглашал в кафе, в кото-

рых пытался не опьянеть, говорил с ним иногда о России, но никогда — о марксизме, в общем, как он называл это на собственном жаргоне, „дразнил тоску по березкам”. И ему удалось выудить несколько откровений.

Александр испытывал к отцу противоречивое чувство восхищения, смешанного с презрением, по матери не скушал, французов, „эту мелкобуржуазную нацию”, — терпеть не мог. Он писал стихи и даже прозу — дал Питману несколько своих произведений и признался, что мечтает стать великим писателем. Что же касалось возвращения, он к нему относился, как к священной надежде, но как будто понимал лучше, чем отец, что исполнение ее дело хрупкое и далекое.

Абдулрахманов прочел его „Четыре времени года” и один из „Рассказов дяди Степы”.

— Я считаю его прозу талантливой, в особенности для мальчишки, родившегося за границей. Стихи мне кажутся более слабыми. Яков Моисеевич, оформьте-ка мне его „окружение”.

Питмана удивило, что его начальник упорствует в стремлении что-то выжать из этого сухого и корявого побега. Но он „оформил”.

У отдела была длинная рука. Несмотря на общие запреты, касающиеся прямой эксплуатации „местных кадров”, нужные контакты были налажены на высшем уровне, и однажды некий неизвестный, „друг папы”, появился, чтобы спросить у молодого Жоржа Руша, что он думает о беляке-однокласснике.

— О, месть, трудно с ним, с этим русачком: всюду-то он первенький.

— Ты его недолюбливаешь?

— Нет, ничего дурного про него не скажешь, доносить — не доносит... Но, понимаете, всегда „Первый Псарь” — начинает действовать на нервы. И, конечно, его прозвали Царем-батюшкой...

— В общем, вы его достаете.

— Э, нет, опасаемся.

— Чего?

— Того. Он бьет редко, но если возьмется, то от души. Сильнее его только Королер, да и то жидковат...

Преподаватель французского языка, коммунист, сухой маленький ворчун с туго повязанным галстуком, также подвергся допросу:

— Расскажите о ваших учениках.

— О каких?

— О всех.

Преподаватель говорил долго; он был польщен тем, что обратились именно к нему.

— Это все?

— Есть еще отличник, но он из русских беляков. Верит в боженьку и все такое.

— Умен?

— Да. Но поэтишка совсем никудышний. Замкнут. Живет в прошлом.

Абдулрахманов выслушал отчет Питмана:

— Старый осел! Хотя, нет, кое-что он правильно подметил. Поговорите-ка подольше с вашим юным питомцем о Боге. Да, теперь другое. У вас, кажется, есть невеста? Как ее зовут?

— Электрификация Баум.

— Конечно: „Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны”. Вы ее зовете Электрой?

— Эличкой, Матвей Матвеевич.

— Эличкой? Очаровательно. Поговорите, друг мой, об Эличке с этим мальчиком. Это с моей стороны личная просьба. И говорите с ним почаще о его отце: посыпайте рану солью. А в один прекраснейший день спросите, согласится ли он служить нам и в какой мере.

Питман заговорил о Боге, и Александр ответил:

— Мы с ним в ссоре.

— Но вы верите в Его существование?

— Э нет, это доставило бы Ему слишком большое удовольствие.

Питман заговорил о Дмитрие Александровиче.

— Морской офицер, который занимается исключительно драением палубы, — резонерствуя, заявил сын, — к тому ж,

есть отклонение от нормы. Кроме того, французы тут явно дали маху: из России импортирован уникальный человеческий материал... А как они его использовали?

Питман постепенно разоткровенничался: он влюблен, он женится, у него будет много детей. На лице Александра застыла ирония: лишь он был наделен столь тонким душевным восприятием, чтобы понять и ощутить истинную любовь.

— Вы хотите вернуться. Но вы понимаете, не правда ли, что, возможно, нашей родине будет нужно, чтобы вы остались работать здесь. Есть ли у вас представление о работе, которой...

Александр мрачно ответил:

— Да, есть у меня некоторые идеи.

Он явно относился к возможности остаться во Франции без всякого энтузиазма.

Прошло немного времени. Абдулрахманов, никого не предупредив, исчез из посольства. Питман забеспокоился. Обычно ГБ, прозванная самыми интеллигентными ее членами „*patria nostra*”, действительно защищала своих, даже против партии, но все ж не всегда успешно — бывало, и не раз, что видные чекисты гибли-исчезали по никому не известным причинам. Однако вскоре полученное письмо успокоило чувствительного Якова. Орфография письма была современной, лишенной реакционных старорежимных букв, но сам почерк, четкий, аккуратный, изящный, почти печатными буквами, мог принадлежать чиновнику еще имперских времен.

„Дорогой Яков Моисеевич, неотвратимое свершилось: я попал в Консисторию тех, кого мы официально называем Концептуалистами, но кого наши юные товарищи с юмором прозвали Шапками-Невидимками. Так знайте, что отныне у вас среди Шапок-Невидимок есть друг.

Увы, прозвище это во многом соответствует действительности: мы знаем так много о прошлом, настоящем и будущем, что нам более не разрешается покидать пределы Союза. Эта чрезмерная честь лишит меня, следовательно, удовольствия видеть вас столь часто, как я бы того хотел. Так что

нужно вам будет пойти к Мохаммеду, так как Мохаммед не может идти к вам. Я пользуюсь случаем, чтобы вам признаться с высоты моего нового величия: мое настоящее имя — отчество Мохаммед Мохаммедович. Оно скрывалось, дабы не смущать разум наших коллег, думающих, что для того, чтобы быть хорошим большевиком, нужно быть плохим христианином.

Для вас пришло время пройти курсы агентов влияния как для того, чтобы теорией укрепить набранный вами за время работы опыт, так и для обеспечения будущего продвижения по служебной лестнице. Я вас прошу также подготовить список фамилий, приблизительно пятнадцать кандидатов на различные посты агентов влияния во Франции. Из них мы выберем, мне думается, шесть-семь, которых затем подготовим к деятельности, наиболее соответствующей их способностям. Избегайте кандидатов русского происхождения, за исключением Псаря — его вы включите в список. Я предугадываю в нем нужные нам таланты.

По окончании курсов вы получите, разумеется, отпуск — советую вам провести его здесь, в Союзе. Таким образом я смогу насладиться вашим обществом, а вы — женитесь на прелестной Эличке. Вы ее затем возьмете с собой во Францию: она помешает вам волочиться за юбками и попасть под влияние какой-нибудь картавой Мата Хари”.

Отделу Д было обещано великое будущее. За десять лет ему было суждено превратиться в независимое управление А, а членам его Консисории получить большое влияние и власть.

Но пока отдел лишь отчуждался от плебса ГБ; крытый проход соединял синий дом графов Ростопчиных, в котором был размещен отдел, с домами-близнецами на площади Дзержинского: один бывший до революции страховым обществом, в подвалах которого собственно скрывалась Лубянка, и другой, строительство которого заканчивали немецкие военнопленные — в нем готовилось разместиться ру-

ководство учреждения, насчитывающего более ста тысяч человек.

Среди лепного орнамента, позолоты, торшеров и деревянных инкрустаций особняка Ростопчиных генерал-майор Абдулрахманов был как дома. В его бюро единственной уступкой собратьям был огромный портрет монаха-атеиста. С его смерти прошло четверть века, а большие скулы, сжатые, как тиски, зубы (они угадывались под мягкими сердечкообразными губами), большие усы, кривая борода, веки, давящие на глазные яблоки, и взгляд — продолжали гипнотизировать мир. На золоченой доске под портретом Феликса Эдмундовича Дзержинского было выгравировано: „Верный рыцарь пролетариата, гроза буржуазии, великий сын революции”. Доска из оливкового дерева с текстом Сунь Цзы висела напротив.

— Сын мой, я счастлив вас видеть, — сказал Абдулрахманов. — Я приготовил для Элички эти безделушки — мой свадебный подарок.

Обсуждение французских кандидатов заняло около месяца, который счастливым образом приплюсовался к отпуску капитана Питмана. Нужно было обеспечить пост будущему депутату, будущему епископу, некоммунистическому профсоюзному руководителю, кинорежиссеру и журналисту. Однажды в конце рабочего дня, когда решения были наконец приняты, Мохаммед Мохаммедович Абдулрахманов, распорядившись подать чай, заговорил об Александре Псаре.

Ночь покрывала город, под загорающимися фонарями она приобретала сиреневатый оттенок. Чай дымился в стаканах с серебряными подстаканниками. Питман с удовольствием думал, что через часик-два выскочит на улицу, мороз ущипнет его за нос, и он, как мальчик, побежит по снегу и найдет приют в уютно натопленной квартире Баумов.

Абдулрахманов стал тяжело, словно статуя Командора, ходить по огромному, покрытому многоугольным рисунком, ковра.

— А вы знаете, что они из моего родного края? Вот этот синий бухарский ковер, Яков Моисеевич, — он заложил

руки за спину. — Я прочел ваш отчет о Псаре и полностью согласен с вами, за исключением того, с чем полностью несогласен. Если вы подчиняетесь моему *Vademecum*, то у вас все получается правильно. Вся загвоздка в том, что нужно научиться, и я надеюсь, что вам это удастся, не слушаться *Vademecum*.

Вы не просто честолюбивый молодой офицер, вы прежде всего человек, стремящийся служить верой и правдой. Естественно, вас гложет тревога. Я хочу вас освободить от нее. Я предсказываю вам удачную карьеру, вы сами станете Шапкой-Невидимкой и будете одним из тех, кто исподволь готовит нашу политику, следовательно, будущее мира. Считайте меня старой гадалкой или астрологом в звездном колпаке и каждый раз, когда сомнение в самом себе охватит вас, вспоминайте мои предсказания и наполняйтесь уверенностью в свои силы.

...Ну-с, а теперь зарубите себе на носу следующее: у вас, Яков Моисеевич, есть ужасающий недостаток...

— Какой, товарищ генерал?

— Вы не умеете свободно мыслить, вы стараетесь действовать там, где за вас все должно сделать земное притяжение.

Я вас взял, потому что, будучи салагой, вы еще не успели уничтожить в себе жалость и юмор. В нашей огромной организации только мы в нашем отделе имеем право на юмор и жалость, более того, только у нас они — необходимость. Без жалости, являющейся пониманием другого, мы — ничто. Без юмора, являющегося пониманием себя, мы неизбежно попытаемся стать Всем. Культивируйте ваши жалость и юмор, Яков Моисеевич, пытайтесь освободиться от самого себя. Другим непосредственная работа приносит успех. Нам же нужно смотреть со стороны, быть великодушными, широкими.

Вы мне даете отчет на тридцати страницах о Псаре, в котором приходите к прежним выводам. Ладно, если это просто ослепление: все мы делаем глупости. Но если это боязнь отказать от своего первоначального суждения... он не большевик, говорите вы, он не авторитетен.

Прежде всего он красив, и на промежуточных должностях нашего ремесла (к счастью, не на вашей, ни на моей, мы птицы более высокого полета) это имеет неоценимое значение. Кроме того, я пошел взглянуть на него во время одного из вечерних уроков в посольстве и почувствовал в нем большую силу. Но она — узник. Вы помните сказку, в которой, чтобы стать неодолимым, Кощей прячет свою смерть в мешок и бросает его на дно океана? Так вот, достаточно нырнуть и высвободить бедняжку — и конец Кощею. Для Псаря наоборот: это его жизнь спрятана в мешке на дне моря. Я вас призываю ее спасти и превратить в солнышко.

Для начала пускай пройдет экзамен по авторитетности. Дайте ему задание, простое и ясное, ограничьте его школой или даже его классом. Если он его не выполнит (я в это не верю), то я откажусь от всех на него видов. Это задание не должно быть политическим, оно не должно и пахивать марксизмом: я хочу Псаря потому, что в конце концов его происхождение неизбежно внушит доверие властям на Западе. Более того, еще и потому, что он — не настоящий большевик. Для его будущей работы быть настоящим большевиком было бы только помехой.

В этом деле, согласен с вами, нелегком, вы, Яков Моисеевич, серебряный мой, допустили ошибку. А ведь *Vademecum* твердит по этому поводу: влияние всегда осуществляется с помощью посредников. Исключительно игра этих, находящихся на нужных местах, посредников позволяет поразить мишень-общество стрелой-мнением. Мы не занимаемся пропагандой, этим важным, но примитивным делом, ибо такие умы, как ваш или мой, не могли бы подчиниться собственной ей окаменевшей дисциплине. Нам нужно опереться на сопротивление Псаря, не ослаблять его. Важнее всего выяснить, будет ли он нам верен, поэтому необходимо проанализировать возможные причины, по которым он примет предложенную нами работу.

В этом смысле ваш отчет дает два положительных ответа. С одной стороны, молодой Псарь, обуянный стремлением к власти, будет служить тем, кого он считает будущими по-

бедителями — нам. А с другой стороны, имеется его желание вернуться. Так вот, я думаю, что эти два фактора, уживаясь в столь сильном характере, могут стать достаточно мощной пружиной, чтобы сделать жизнеспособным задание, которое я имею в виду. В общем-то, агент влияния и не должен делать сверхчеловеческих усилий, он стоит над опасностями, он работает в открытую, на виду у всех, ему не угрожают ни пытки, ни гибель. Против кого Псарь должен бороться? Против французов, которых он терпеть не может. Почему он их терпеть не может? Потому что они свидетели, вернее, виновники падения отца, потому что они к нему самому относятся с насмешкой, потому что они обманули надежды, которые эмигранты на них, французов, возлагали, потому что они, наконец, дали немцам себя разбить. Псарь, я думаю, может ненавидеть лишь то, чем не восхищается, и только то, что видит ежедневно — столь раздраженная у него душа. Вы опасаетесь, что он недостаточно с нами солидарен, потому что мы его классовые враги. Но мы по крайней мере русские: окружающие его буржуа для него такие же классовые враги, как мы, но с той разницей, что они — французы.

Вы можете, вероятно, подумать, что я люблю играть с огнем, что, желая заставить на нас работать чистокровного отпрыска наших потомственных врагов, я наслаждаюсь риском. Но ведь без этих удовольствий наша профессия была бы столь же серой, как и любая другая. Да и кроме того, я для него кое-что подготовлю, будет меня помнить, этот аристократ, согласившийся запачкаться общением с нами ради возможности свести личные счета. Конечно, мы его заставим поверить, что он может вернуться, когда захочет, что мы развернем красную дорожку перед его высокопревосходительством. На самом деле, когда мы его выжмем как лимон, то бросим кожуру к ногам Франции. Если он осмелится хвастать, что был нашим агентом, нам от этого будет не холодно и не жарко: к тому времени наша тактика все равно будет уже известна специалистам; что же касается общественного мнения, мы устроим так, что оно откажется верить в ее существование. Что, слишком гладко? А как

действует Князь мира сего? Никогда у него не было таких успехов, как с тех пор, что он заставляет людей не верить в свое существование. Предположим, я ошибаюсь, и Псарь напишет мемуары. Он в таком случае только докажет, что мы в течение тридцати лет направляли французское общественное мнение: от этого лишь усилится паника, которая наверняка охватит Запад к двухтысячному году. Нет, нет, Яков Моисеевич, нам нечего опасаться Псаря, нужно только предпринять все необходимое, чтобы он нас не бросил на середине пути. Намотайте это себе на ус.

Вернувшись во Францию, Питман со свойственной ему добросовестностью провел экзамен по авторитетности. Он решил, что Псарь пройдет три испытания. В качестве первого он попросил молодого Александра отказаться от положения отличника:

— Будьте ударником, в первой пятерке, но ни в коем случае не первым.

Результат должен был быть двойным: во-первых, он перестанет своими успехами раздражать одноклассников, а во-вторых, докажет готовность стусеваться, самоунизиться — без этих качеств агент не может стать ценным. Питман знал, что Александру трудно будет пойти на такое самопожертвование: первенство заменяло ему карманные деньги, каникулы, танцы, девушек — все, что составляет ценность и радость в жизни юноши. Будут его душе нанесены и более глубокие раны: ему покажется, что он предает свою настоящую родину, послом которой он себя чувствовал во времени и пространстве. И наконец, пойдет ли он на то, чтобы запятнать свое имя, которому придавал столько значения? Обо всем этом Питман догадался и сумел показать молодому человеку всю романтическую сторону дела:

— Вы готовитесь, как говорят немцы, к ремеслу рыцаря. Вы будете тайным рыцарем.

И Питман процитировал Сунь Цзы, последователем которого стал: *Все искусство войны основано на обмане.* Он до-

казал, что своей скромностью Александр начнет служить родине и что его отец не сможет ни в чем его упрекнуть. Что всякое посвящение несет в себе притеснение, но это притеснение будет обладать высшей элегантностью, оставаясь тайным.

Александр задумчиво произнес:

— Нужно будет выносить их бахвальство. Они будут рады видеть меня униженным.

Питман в ответ рассказал ему одну историю:

— Жил однажды китайский принц Мао Тюнь. Его соседи гунны, стремясь испытать его, направили к нему послов со следующим требованием: „Мы хотим купить коня, пробегающего тысячу ли”. У принца действительно был удивительный скакун, способный покрыть одним махом тысячу ли — пятьсот километров. Советники принца возмутились, но Мао Тюнь ответил, что не хочет никого оскорбить, и продал коня. Затем гунны потребовали, чтобы им отдали одну из принцесс. Советники возмутились еще больше: „Потребовать принцессу! Мы умоляем тебя, принц, пойдем войной на этих наглецов”. Но Мао Тюнь ответил: „Соседу не отказывают в молодой женщине”. И он отослал принцессу гуннам. Тогда те, считая поведение Мао Тюня доказательством его слабости, потребовали часть его территории: „У вас есть тысяча ли, уступите их нам”. Мао Тюнь вновь собрал своих советников. Некоторые посоветовали ему проявить твердость, но другие, стремясь ему польстить, начали уговаривать отдать землю. Принц отрубил головы лстецам, сел на боевого коня, собрал свою армию и разгромил гуннов, не сделавших никаких военных приготовлений. Именно таким образом Мао Тюнь восстановил царство предков.

...Александр с удивлением обнаружил, что не без удовольствия делает ошибки в своих изложениях по-латыни и математических уравнениях. Затем он для себя блестяще решал задачи и наслаждался своими переводами с латинского. Его отношения со школьными товарищами улучшились, и он стал презирать их еще больше — в нем стали выковываться качества, необходимые для разведчика.

Второе испытание. Питман попросил Александра отказаться от одиночества, научиться танцевать и делать все необходимое, чтобы быть приглашенным на вечеринки. Александр, униженный и оскорбленный, гневно ответил:

— В чем я пойду танцевать? В этом?

Он указал на свой старый голубой костюм и стоптанные башмаки.

Питман вытащил бумажник.

— Вы мне не добрый дядя, чтоб я принимал от вас деньги.

Питман улыбнулся с добротой:

— Это не подарок. Вы мне подпишите бумажку.

Александр, удовлетворенный, подписал. И таким образом был официально завербован под кличкой Опричник. Разумеется, он не попал в отдел, а стал просто числиться среди рядовых осведомителей КГБ. Дмитрий Александрович не был уже в состоянии одобрять или осуждать: он пил и опохмелялся. И пускал все на самотек.

Молодой Псарь так и не смог полюбить танцы: он не умел раскрепощаться. Но его все равно приглашали. Внимание, в котором он раньше отказывал и которым теперь награждал своих одноклассников, льстило им; их сестры считали его красивым, родители ценили его старомодные манеры. За несколько месяцев он сумел создать себе круг знакомых, даже преподаватели, считавшие его раньше уважительным до наглости, говорили теперь: „Псарь становится человеком”.

Наступило тогда время третьего испытания. Как раз осудили в США супругов Розенбергов, которых обвинили в передаче Советскому Союзу секретов атомной бомбы. Противоречивые мнения о виновности и невинности Розенбергов потрясали Запад. Создавались общества в защиту осужденных.

Питман спросил Александра:

— Что вы об этом думаете?

— Если я был бы одним из Розенбергов, то поступил бы точно, как они. Если я был бы президентом Соединенных Штатов, — посадил бы их на электрический стул, а вместе с ними Голда, Грингласа и вообще всю шайку.

— Отлично. Создайте-ка в вашем лице ассоциацию, требующую выполнения приговора, вынесенного Розенбергам.

— Но... они ведь работали на нас?!

— Неужели вы думаете, что петиция нескольких французских лицеистов может повлиять на судьбу наших товарищей? Но зато вы прослывете реакционером, а это нам нужно для будущего.

Считая, что невозможно создать среди подростков, которых христианство, романтизм и демократия сделали не-исправимо сентиментальными, открыто требующую крови организацию, Александр назвал свою группу „Ассоциацией по ограничению распространения атомного оружия”. Уже был весьма неприятен тот факт, что США обладают бомбами, способными взорвать мир, но если другие страны, традиционно менее миролюбивые, тоже получают подобное оружие, то как тогда избежать мировой катастрофы? Розенберги, вручая Советскому Союзу, экспансионизм которого ни для кого не секрет, тождественное оружие террора, поставили под угрозу все человечество. Необходимо, чтобы подобного рода предательства не возобновлялись: единственной гарантией является беспощадная кара.

Аргументы пришлись по душе тем, кто панически боялся ядерного апокалипсиса; тем, кто желал, чтобы Франция была мощной исключительно своей культурой; тем, кто любил американцев; тем, кто не любил русских, не считая, разумеется, некоторых крайне правых парней, которым было плевать на распространение в мире атомного оружия, но для которых было одно удовольствие видеть Розенбергов под током высокого напряжения. Последним Псарь намекал, что разделяет их мнение, но что петиция играет им на руку — и те, подмигивая, подписывали. Быть может, еще больше, чем аргументы, сыграла роль сама личность Псаря, его холодная манера говорить:

— Вы же знаете, как меня трудно пронять, но это уж слишком, тут надо что-нибудь сделать, иначе скоро и Монако заполучит бомбу.

Новая для него роль вожака ему нравилась. Ассоциация

проголосовала за обязательные членские взносы для своих членов, и Александр, согласно обычаям тайных агентов, положил собранные гроши на стол своего начальника. И как при этом он пытался скрыть свой восторг от победы, и как это ему плохо удавалось! Питман с нужной простотой взял деньги и написал Абдулрахманову:

„Дорогой Мохаммед Мохаммедович, вы, как всегда, были правы. Опричник напоминает нашего Илью Муромца: ему нужно время, чтобы раскататься, но раз дело сделано, то ничто уже не остановит колокольного языка, и колокол даст ясный и чистый звук. Он не из тех вожаков, стихийно рождающихся, но подчас неспособных выполнить взятые обязательства, к которым они относятся слишком легкомысленно. Опричник должен прежде всего победить засевшую в нем некую аристократическую беспечность, напоминающую мне в некотором роде Обломова, быть может, победить некоторую стыдливость. Но для подобных людей сам факт получить задание вполне достаточен: в одной его формулировке они находят необходимую энергию, чтобы освободить спящую, неведомую им самим мощь”.

Стиль, который Питман старался сделать литературным под давлением скорее почтения, чем угодливости, заставил Абдулрахманова, пьющего пахнувший танином чай, улыбнуться.

„Приезжайте, — ответил он. — Нужно теперь найти достойное моего протеже задание”.

На этот раз была весна; по Москва-реке плыли огромные льдины, некоторые несли голые ветви, весело и страшно сталкивались друг с другом. Эличка была рада увидеть родителей и сестер; для всех были закуплены ею в Париже подарки. Улыбающегося Якова ввели в уже знакомый ему величественный кабинет.

Генерал-майор обнял майора:

— Ну-с-с-с?

Питман обожал манеру Абдулрахманова произносить „нус-с-с“, она ему напоминала домашние халаты, пузатые коньячные рюмки, экслибрисы, борзых.

— Мне кажется очевидным, что мы должны использовать литературный талант мальчишки, Мохаммед Мохаммедович. Представьте себе большого писателя, талант которого никто не сможет отрицать и который, систематически нас хуля, станет, он и его единомышленники, однозначным в глазах определенной части общественного мнения. Ему затем будет достаточно опровергнуть подsunутые нам идеи, чтобы быстро стать популярным. Руководимый нами реакционный писатель может нанести реакционерам большой урон.

— Не согласен, не согласен, — сказал добродушно Мохаммед Мохаммедович, косясь на сигарету, ввинчиваемую им в чешуйчатый мундштук. — Не согласен, Яков Моисеевич, серебряный мой. Тому три причины. Во-первых, нам совершенно ни к чему наносить вред реакционерам, пока они не станут более популярными, нежели сегодня. Во-вторых, всякий становящийся марионеткой писатель неизбежно теряет талант: поглядите на нашу литературу — заплакать можно. В-третьих, знаете ли вы, что я сделал? Я отнес добытый вами образчик псарских творений товарищу Бернхарту. Специалисту. Он все внимательно прочел. Я ждал. Наконец раздалось его урчание, подобное звуку забитого горна, и он мне вернул листки: „Для семнадцати лет это великолепно, но ваш парняга никогда не станет писателем“. — Почему? — „Потому что, с одной стороны, он не оригинален: что касается прозы, он под влиянием Гоголя, поэзии — Тютчева, разумеется, в худшем варианте. С другой стороны, он — русский“. — Ну и что? — „Вы мне сказали, что парень живет в Европе и не собирается пока возвращаться: как же он будет издаваться?“ — Мне кажется, он еще не думал о возможных своих публикациях, его заботит только творчество. — „Вот я и говорю, — он не писатель. Настоящий писатель думает сначала о публикации, затем только о своем творчестве“. — Вы не преувеличиваете, товарищ Бернхарт? — „Не очень. Призвание каждого прирожденного писателя — стать обще-

ственным деятелем. Пописывать — лишь средство добраться до цели”. — Он от своего не отступил, и я думаю в конце концов, что он недалек от истины: предположим, мы сделаем ставку на талант Псаря, а окажется, что у него его и нет!

— Что из него тогда сделать? Во всяком случае не политического деятеля: все коллективные мероприятия, начиная с футбола и кончая всеобщими выборами, нагоняют на него скуку. Кадрового военного? Это у него в крови, и наш генерал во французской армии...

— А кто вам сказал, что у нас его нет? Но это агенты проникновения, не влияния. Не будем же мы делать работу Управления С. Да и на кого генерал может воздействовать? На полковников, ждущих его отставки, чтобы самим стать генералами?

— Журналистом?

— Есть они у нас, Яков Моисеевич, латунный мой. Не нужно, чтобы они слишком часто встречались, наши агенты влияния: они не удержатся, подобно римским гадалкам, от смеха. Нет, но я вам все-таки скажу, что мы сделаем из нашего Псарьчика: литературного агента. Вы не знаете, что это за жук? Я тоже не знал, но ваш коллега, работающий в Америке, мне все объяснил.

Литературный агент, который сам, будучи неспособным написать что бы то ни было, побуждает писать других. Он достает рукописи, чтобы создать иллюзию своей полезности — чуть работает над ними, предлагает их издателям и получает проценты с авторских прав. Он также служит зазывалой, тащит писателей к заинтересованным издателям и тогда ко всему получает процент с прибыли. Вот как это происходит в Америке, и с нашей помощью произойдет во Франции.

Так как, видите ли, если невозможно создавать гениев по заказу, можно направлять гениев, поощрять, помочь одним подняться, постараться забить других, можно организовать шумиху вокруг одних, молчанием окружить других. Короче — можно посредством промежуточных сил осуществить лично неосуществимое. Перечтите, Яков Моисеевич, жемчужный мой, главу о Рычаге в *Le Vademecum*. Что касается

жемчуга, мы не способны искусственно создать тончайшие жемчужины, но жемчужину культуры — почему бы нет? Ведь большинство современных писателей, вы со мной согласитесь, не что иное, как искусственно выращиваемые устрицы, так что наши затеряются в толпе. Решено, Псарь будет не писателем, но — инкубатором писателей.

Теперь скажите, где, по-вашему, можно ожидать подвоха, каковы черты его характера, могущие заставить его переметнуться, какие события или силы могут вынудить его это сделать?

— Прежде всего, Мохаммед Мохаммедович, я опасаясь военной службы. Если его призовут во Франции, ему достаточно будет встретить умного офицера, чтобы перейти в другой лагерь. С привитыми ему традициями, с его атавизмом, в общем, с тем, что можно назвать атавизмом, невозможно равнодушно присутствовать ежедневно при поднятии национального флага. Если Опричник почувствует себя французом, он, с нашей точки зрения, неизбежно обретет враждебную нам политическую лояльность.

— Его комиссуют. Теперь я предполагаю, вы заговорите о прекрасном поле?

— Да. Он избегает этой темы. Как только ее затронешь, он сразу становится высокомерным; если несколько грубовато пошутить, он краснеет — скорее от злости, чем от целомудрия. Я думаю, он романтик, настоящий русский романтик в стиле пушкинского „Бедного рыцаря”, но в редакции Достоевского. Ему случается произносить слова „родственная душа”. Но если я правильно понял, он Ее еще не нашел.

Питман говорил об этих бреднях деликатно, словно гладил бабочку. И говоря, думал с признательностью о связывающей его с Мохаммедом Мохаммедовичем дружбе: разве мог бы он удержаться от насмешек перед другим офицером ГБ?

— Короче, он — девственник?

— Думаю — да.

— Ну-с-с-с... нужно, чтобы родственная душа оказалась железобетонной. Иначе засосет его самка: латинянки, говорят,

весьма способны в этом деле. Ладно, посмотрим, что можно сделать для этого молодого барина-девственника. Пусть пока он им и останется. А если что — доложите.

Тем временем найдите удобный случай для закрепления его к отделу. Мы его к себе не привяжем копейками, которые вы ему дали на покупку приличной одежды. Агент влияния, Яков Моисеевич, не просто информатор, которого ведешь на поводу и который просит только одного — „снабжения”. Он должен действовать самостоятельно. Именно поэтому первое вдохновение, которое вы ему внушите, будет так же важно, как крещение для христианина или обрезание для еврея. Но осторожно, не портить моего любимчика в ходе операции.

Питман вернулся в Париж. Он не мог объяснить враждебности, с которой Абдулрахманов говорил о молодом Псаре, тем более, что Мохаммед Мохаммедович возлагал на него большие надежды. Но тем не менее, он, Питман, выполнит приказ с присущей ему преданностью и компетентностью.

Своевременная смерть Дмитрия Александровича дала нужный повод. Получив по спецтелефону разрешение своего начальника, Питман выбрал место, время и другие детали, необходимые для проведения ритуала посвящения. В день похорон он сел в машину и поехал на Сент-Женевьев де Буа.

Г л а в а 2

БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛУБОК

После отпевания Яков Моисеевич Питман повел Александра обедать в „Золотой Петушок”, русский трактир, расположенный на окраине Латинского квартала. Стены и низкие потолки были размалеваны картинками из сказок; официанты всевозможных национальностей пытались изображать гусаров. Александр сказал:

— Я не голоден.

— Нужно помянуть, — ответил Питман.

Он заказал водки и, прежде чем опрокинуть первую рюмку, перекрестился. Александр посмотрел на него с иронией:

— Вы верите в Бога? Да еще и христианского? Вы, чекист?

— Вы напичканы предрассудками, мой юный друг. Прежде всего ЧК не существует уже давно. Комитет Государственной Безопасности — это совсем другое, хотя мы и не

помышляем отречься от нашей бабушки. Что же касается Бога, то как вам сказать? Я вижу, что люди нуждаются в Боге, и думаю, что эта нужда уже сама по себе Бог. Среди всех богов долго самым божественным и дивным был Бог моего народа. Сравните-ка его с этим распутником Юпитером. Но существует прогресс как для людей, так и для богов. Как ГБ лучше ЧК, так и христианский Бог есть улучшенная редакция Бога еврейского. Вас удивило, что я перекрестился? Я это сделал, потому что думал о вашем отце. Чтобы почтить мусульманина, я бы дотронулся пальцами до лба и груди, а когда я приезжаю в гости к своему отцу, то не требую свинины и бездельничаю в субботу.

Александр тоже выпил, и при виде закусок к нему пришел зверский аппетит. Есть и пить в память умершего значило, стоя перед тайною смерти, праздновать жизнь. После нескольких рюмок сын смог даже заговорить об отце, начавшем свой процесс разложения под сент-жневьевским солнцем.

— Он не вернулся на родину. Но приказал мне вернуться вместо него.

— Я вам помогу исполнить его волю.

После обеда они побродили по раскаленным пыльным улицам. Они чувствовали себя связанными совместно пережитым странным таинством.

— Видели ли вы Париж сверху? — спросил Питман, указывая рукой на башни Нотр-Дам.

Александр покачал головой. Они поднялись по узкой каменной винтовой лестнице. Питман поднимался первым, чувствуя негибкость своих коротких ног и одышку в своих бюрократических легких; позади без усилий перепрыгивал со ступеньки на ступеньку Александр, он был рад физическому усилию, позволяющему истребить излишек горя и водки.

Они оставили позади ведущие к галерее двести пятьдесят пять ступенек. Немного передохнув, они посетили колокольню, странно-театральное пространство, все в лестницах и перекладинах и с неподвижным и гигантским крестником Лю-

довика XIV и Марии-Терезии посередине. Гид, обладая свойственным мелким чиновникам запинаящимся говором, уточнил, что колокол весит тринадцать тонн, что во время литья было добавлено определенное количество золота и серебра и что звон его можно услышать четыре раза в год в радиусе десяти километров. Он указал затем на пустоту, отделяющую друг от друга дубовые и каштановые детали, составляющие несущую конструкцию колокола:

— Они глушат вибрацию. Иначе от колебаний колокола рухнул бы собор.

Вернувшись в галерею, он дал посетителям полюбоваться на присевших чудовищ, вечно пожирающих друг друга под парижским небом.

— Знаменитые средневековые желоба, — удовлетворенно сказал Питман.

— О нет, месье. Желоба — это у водосточных труб. Это — химеры Виолле-ле-Дюк, и им только стукнуло сто лет. Посмотрите на эту, трехголовую. Знаете ли вы, что она символизирует?

Он объяснял, как учитель ленивому ученику.

— Не знаю, — покорно признался Питман.

— Она символизирует архитектора, так как архитектор творит в трех измерениях: в длин-ну, в ширин-ну и в высот-ту!

Повысив таким образом свой культурный уровень, Александр и Питман отошли и облокотились на парапет. Здесь, на этой высоте, легче дышалось, чем внизу, и трепетание света на гребнях крыш обостряло силу сияния... Редкие в эту пору туристы не мешали размышлению, и довольно долго юноша и молодой еще человек, почти касаясь друг друга локтями, с глазами, полными Парижа, проплывающего перед ними, но со вниманием, направленным к их внутренним перспективам, не произнесли ни слова. Александр думал об отце, Питман — о том, что называлось „священным мгновением” вербовки. Они смотрели, не видя, на купола, башни, соборы, колокольни, на волны крыш и узнавали, не отдавая себе в этом отчета, тиару Инвалидов, ермолку Пантеона,

остов Сент-Эсташа, кубические объемы Сент-Сюльписа, пловучий остров Сакре-Кера, иглу Эйфелевой башни. Все же постепенно пейзаж, одновременно грандиозный и утонченный, поднимался к ним, как на огромном подносе. Они держались на этом балконе, позади них была отвесная стена, нависшая над миром, который надвигался, содрогаясь от своих серости и медянки, меловости и синьки, пыли и патины, отличий и сходств. Наконец, Питман нарушил молчание:

— Читали ли вы Бальзака?

— Вы думаете о Растиньяке, бросившем вызов Парижу?

— Было бы приятно обладать всем, что видно отсюда.

Александр не среагировал. Питман продолжил:

— Я не говорю о буржуазной собственности: было бы наивным представлять себя обладателем того или иного участка, потому что платишь земельный налог. Я думаю о более глубоких отношениях. Если король Франции поднялся бы на эту галерею и увидел то, что мы видим, он сказал бы себе: „Все это — мое”, хотя ни один из домов, кроме того большого, ему бы не принадлежал.

Александр холодно сказал:

— Нет больше королей.

— Есть. Всегда будут. И даже...

Питман почувствовал свой убыстряющийся пульс. Должно вот-вот наступить „священное мгновение” вербовки. Он мог его оттянуть, но знал: через секунду будет уже поздно. Он был взволнован, как юноша викторианской эпохи, делающий предложение.

— И даже, — завершил он свою мысль, — от вас будет зависеть стать одним из них.

— Вы читаете не только Бальзака, Яков Моисеевич. Евангелие тоже. Несерьезно это для марксиста. Для того, чтоб ввергнуть в искушение, привели вы меня „на вершину храма”?

То, что Александр его раскусил, обидело Питмана. Но он не подал виду.

— В тот день, на который вы намекаете, Христос совершил неискупимый перед человечеством грех. Видите ли, я

также читаю Достоевского: он это предчувствовал, но не осмелился выразить. Возможно, не смог ясно охватить взором.

Александр не ответил.

Перед столь сильным сопротивлением Питман подумал, не лучше ли временно отступить. Соблазнитель хотел сыграть на мифологической ассоциации так, чтобы соблазняемый этого не осознал: не вышло. И все же похороны любимого отца, яростное желание вернуться — разве не нужно ими воспользоваться, не медля?

— Александр Дмитриевич, — вновь заговорил Питман, но другим тоном (он иногда пользовался, обращаясь к юноше, вежливо-почтительным именем-отчеством), — вам известна самая древняя профессия в мире?

— Да, но если вы хотите вместо поминок пойти в дом терпимости, то — идите к черту!

Целомудренность термина была в полном соответствии с постоянным напряженно-нервным поведением молодого Александра.

— Вы ошиблись ремеслом. Чтобы пойти туда, куда вы сказали, нужно сперва получить адрес. Это — старая шутка офицеров разведки. Мы любим считать, что именно наша профессия самая древняя.

Александр смотрел прямо перед собой.

— Понимаю. Вы сегодня решили меня по-настоящему завербовать. А как вы можете знать, гожусь ли я для разведывательной работы, или, хотя бы, интересуется ли она меня? Мне не хочется вас обижать, Яков Мойсеевич, но для меня эта работа пованивает полицейщиной. Пошлите меня лучше куда-нибудь голову сложить: это мне будет более к лицу. Если не ошибаюсь, Лысенко доказал существование наследственности характеров, а в моей семье уже двадцать поколений мы занимаемся в основном этим: головы кладем на поле брани. Я думаю, большевик не может меня в этом упрекнуть. Я думаю даже, это и есть наша единственная точка соприкосновения, благодаря которой мы сможем договориться и облапошить буржуев.

— Разбить себе морду может любой дурак. Более приятно, мне кажется, разбивать морды другим, — ответил Питман, извиняясь доброй улыбкой за грубость своих слов. — Мы не живем более во времена князя Серебряного или богатырей наших: тогда для победы нужно было иметь лишь простую душу и большую булаву. К сожалению для вашего честолюбия, будущее не принадлежит столь примитивному военному искусству. У американцев — атомная бомба, и у нас она скоро будет. Результат: не будет более разбитых морд. Конечно, будут всегда в мире там и сям происходить сражения, будут, увы, убитые, будет геройство и, естественно, ужасы войны. Но все будет — без настоящих последствий: будет размен пешек на передовой, будет проба на испытание сил, не более. Настоящая современная война, Александр Дмитриевич, будет нести мало смертей и ужасов и никаких материальных разрушений. Она будет чисто экономической и позволит победителю захватывать территории и покорять народы так, как это не удавалось никаким королям и царям. Мы с вами присутствуем при рождении нового оружия, не смертельного и потому более действенного. Если вы хотите вести рентабельную войну, вы должны отказаться от мечты о получении благородных ран и шишек и стать офицером нового рода войск, того самого. (Питман был искренне растроган и рассчитывал, что искренность сделает заразной его растроганность.) Вы, разумеется, свободны не следовать за мной по указанному мною пути, но вы увидите лет через двадцать или тридцать, что сегодня я был прав: армии будут более многочисленными и лучше вооруженными, чем когда-либо, но они не будут больше воевать. Они станут огромными мечами, покоящимися в ножнах.

— Короче, я правильно понял: вы хотите, чтобы я занялся разведывательной работой.

— Александр Дмитриевич, я вам не медля открою нечто. (Пауза.) То, что вы обозначаете приблизительным термином „разведка”, имеет на деле два аспекта...

— Я знаю: разведка и контрразведка.

Питман снисходительно улыбнулся:

— Разведка и контрразведка — лишь два момента того же аспекта, немаловажного, но все же несколько примитивного. Пытаться выяснить, что делает противник, и помешать ему узнать, что делаешь ты, все это серовато. Куда более интересно подсказать противнику намерение, которое он затем попытается реализовать. Представьте себе Кутузова, командующего посредством Наполеона Великой армией. Или, раз вы сын моряка, Рождественского во главе одновременно русского и японского флотов при Цусиме. Что, слюнки текут?

Молодой Александр поднял глаза: они были у него коричневыми и как бы подернутыми поволокой. Он презрительно произнес:

— Это может быть забавным.

— Это то, что мы называем активным аспектом тайных операций. Им и дается общее название „разведка”.

— И вы думаете, что действительно можно...

— Наш товарищ Мао Цзэдун утверждает, что необходимо „вливать в форму” сознание масс противника, а так как форма отлита нами, то противник, естественно, оказывается в наших руках. (Питман притворно поколебался.) Я не вижу в конце концов ничего предосудительного в том, чтобы вы знали, что мы различаем пять методов, позволяющих заставить противника действовать так, как мы этого хотим.

Первый мы называем белой пропагандой — нужно всего-навсего повторять „я лучше вас” миллионы раз. Второй называется черной пропагандой — нужно сочинить, якобы исходящую от противника информацию, которая будет заведомо неприятна третьей стороне; для нее и проводится вся эта комедия. Третий — это „интоксикация”: тут тоже нужен обман, но более утонченный, чем простое вранье. Например, я не буду вам подсовывать ложную информацию, но устрою так, чтобы вы у меня эту ложную информацию похитили. Четвертый — дезинформация. Этим термином мы также пользуемся для общего определения всех методов. В узком же смысле этого слова, дезинформация есть для интоксикации то, чем является стратегия для тактики.

Питман внезапно умолк. Он смотрел на Сену, на ее зеркало, теряющее свою оловянную амальгаму. Речной трамвай, набитый разношерстно одетыми туристами, проплывал мимо баржи, на которой висели гирлянды рубашек и кальсон.

— А пятый?

Рыбка начинала клевать.

— Пятый метод, Александр Дмитриевич, государственная тайна. Мы — единственная великая держава, разработавшая некоторые методы... Если я вам их раскрою, будет, как если бы я вам раскрыл пять лет назад секрет атомной бомбы.

Молодой Александр вновь стал надменно холодным:

— В таком случае ничего не говорите.

Питман скорректировал наводку:

— Только одно могу сказать: этот пятый метод носит название „влияние”, и четыре других по сравнению с ним просто детские игрушки. По этому поводу скажу нечто, что может вас шокировать. Вы помните изречение Карла Маркса: „Минуло время революций, совершенных...

— ...сознательным меньшинством, стоящим во главе неосознательных масс”. Я знаю вашу таблицу умножения.

— Так вот, это уже не верно.

— Неужели пророк ошибся?

— Он в свое время был прав, но это время кануло в Лету. Наука социологии достигла крупных успехов, и мы теперь знаем, что толчком к революции могут быть не только объективные социально-экономические условия, но также действия общественных сил, которые искусственно заставили поверить в наличие этих условий, несмотря на реальность.

— Что же вы хотите сказать: раз имеются инкубаторы, то уже не нужны наседки?

— Я хочу сказать, что у нас теперь имеются инкубаторы, в которых не только яйца высиживают. В них — несут, несут эти яйца. Революция соответствовала, согласно Марксу, определенному историческому моменту, предопределенному предварительной эволюцией: она должна была непременно сразу заменить старый строй новым, программа которого была заранее известна. И революция представляла собой

в истории непременно эпизод насилия, историческую конвульсию. Все это более не соответствует действительности XX века.

Питман никогда особенно не верил в марксистское обращение Александра. Молодой Псарь явно вошел бы с большим энтузиазмом в систему, в которой был бы подвергнут пересмотру пророк из Трира.

— В настоящее время „исторический момент” вызываем мы, звоня колокольчиком Павлова. Этого Маркс не мог предвидеть. Мы открыли, что никакой новый строй не должен быть предложен взамен любому старому — иначе новый сразу же превратится в мишень. Ничего, честно говоря, нам так не мешает, как иностранные коммунистические партии, „корпорации”, как мы их называем, которые бубнят без остановки, что Советский Союз — рай земной. А он не рай, это легко доказать, и наши враги не упускают случая. Мы верим, что он станет раем, но это — акт веры, и мы не можем требовать от большинства, чтобы оно, основываясь на этой вере, пожертвовало привычной ему государственной системой. Что нужно, это свергнуть старый строй, не предлагая ничего ясного взамен. И только когда старый строй полностью рассыпется, можно будет устанавливать новый. И наконец, нет ничего более старомодного, чем схема, согласно которой пропаганда предшествует восстанию. На самом деле, террор необходим только для подготовки взрыва, который сам не нуждается в насилии. В настоящее время мы пользуемся терроризмом только для внедрения того, что мы называем влиянием, имея технические средства, о которых Карл Маркс и мечтать не мог: средства массовой информации.

В средние века убийство определенной личности, например, принца, могло изменить историю страны; затем авансцену заняли народы, и такого рода акции стали ни к чему. Сегодня мы идем крупными шагами к периоду, в котором индивидуум вновь станет детерминирующим фактором не в силу своих личных качеств, а просто в силу максимального использования фактора информации. Не знаю, отдаете

ли вы себе отчет: облик человека, уже распространяемый фотографией, прессой и кино, будет в течение будущей четверти века к тому же еще распространяться телевидением. Я думаю, что не ошибусь, утверждая, что через двадцать пять лет захват одного лишь заложника или убийство какой-нибудь мелкой сошки наделают больше шума, чем колониальная война XIX века. И я хотел бы, Александр Дмитриевич, чтобы вы не опоздали на этот вот исторический поезд.

Александр подставлял свое костлявое бледное лицо Паризу, который, казалось, продолжал подниматься к нему, оставаясь на одном месте. По мере истечения дня юноше все яснее виделось, что для него уже начался один из важнейших в его жизни поединков. Ставка: возвращение, бывшее желанием и ставшее долгом. Да и другие желания теснились в его воображении, закованном в напускной холод и потому тем сильнее кипящем. Если действительно современные психология и социология дают властвовать над душами... Молодой Псарь любил риск.

Он сказал:

— Оно, мне кажется, интересно... это влияние.

Питман задрал маленький кругленький нос. Он искал наполненных загадкой слов. Он знал, что на этой стадии их взаимоотношений он должен не столько учить, сколько заинтриговать, но одновременно сам, горя всею страстью неопфита, жгуче желал передать эту страсть юноше, к которому испытывал добрые чувства, даже симпатию и даже особое уважение.

Он сказал наконец:

— У нас в управлении есть пособие по нашей доктрине, вернее, та его часть, которая может быть доверена нашим агентам. Это пособие было написано нашими руководителями, в основном, я думаю, одним из самых выдающихся из них. Может быть, вам, как и мне, выпадет счастье встретиться с ним, — в раздавшемся смехе Питмана были наивность и обожание. — Когда я говорю „выдающийся”, то это в обоих смыслах.

Питман словно видел выросший перед ним силуэт своего благодетеля: он был вровень с галереей Химер, достигал шпиля Нотр-Дам, был еще выше. Да, Матвей Матвеевич держал в своих руках мир. И все же, разве он не был вместе с тем добрейшим из людей?

— Он называет свое пособие „Vademecum агента-проводника влияния”. Он шутит: „Quo vadis? Mecum*, голубчик, mecum!”

Питман был всегда открыт великодушным эмоциям апофеоза, даже если его латынь была весьма далека от совершенства.

— Ну и что, этот Vademecum?

— Я думаю, нет большого преступления... — (Питман, полупунаивный, полуковарный, считал себя специалистом и потому смело опирался на собственные слабости) — открыть вам, что... вот, глядя на эту трехголовую химеру, я подумал, что существует сходство между нею и нами. Наша доктрина едина, но у нее три формы. Основное, как я вам дал уже понять, заключается в следующем: что бы мы ни делали, мы не можем делать прямо. Посмотрите на этот колокол: по нему не бьют кулаком, в него звонят с помощью веревки. Наша веревка, Александр Дмитриевич, длинная, очень длинная, и мы без нее были бы ничем; ведь если попытаться звонить в колокол без веревки, то разве что отобьешь пальцы.

— Что же ваша доктрина — веревка, что ли?

Питман догадывался, что Александр хитрит, хочет вызвать его на откровенность. А Александр догадывался, что Питман догадывается. Он также догадывался, что Питман хочет возбудить его любопытство, и, чтобы добиться этого, вынужден посвятить его в кое-какие секреты. Питман, со своей стороны, догадывался, что Александр стремится вытянуть из него как можно больше и пообещать как можно меньше. Но ни один, ни другой не тяготились этой игрой.

*Камо грядеши? Со мной.

— Нет, — признался Питман, — не веревка.

Он был еще очень молод, в чем Александр, разумеется, не отдавал себе отчета: для него человек под тридцать был уже почти на пороге старости. У Питмана были сомнения относительно способностей Александра, но не по отношению к себе и своей вере. Само собой, он не переступит во время этого первого посвящения установленных границ, но раз уж они установлены, почему же до них не дойти? В этом не сможет его упрекнуть хозяин, человек-гора.

— Наша доктрина так, как она изложена в *Vademecum*, состоит из трех частей, скажем, трех сочленений, трех изображений. Они одновременно настолько секретны, что я не должен был бы вам о них говорить, и настолько ценны, что я не могу вам о них не рассказать. Несмотря на все, что нас разъединяет, мы обладаем, вы и я, точками соприкосновения: Россия, наши политические взгляды... мы с вами знаем, что только Советская Россия спасет мир. Есть и другое: тот простой факт, что мы вот стоим здесь вместе, глядим на этот пейзаж и оба чувствуем то же восхищение и то же изгнание. Мы с вами сидим в одной лодке, и это было предусмотрено с незапамятных времен.

Питман был в экзальтации и знал, что это хорошо, что он в экзальтации (до определенной степени). Александр, несмотря на свою молодость, понимал, что Питман контролирует свою экзальтацию. Что касается лодки — это правда, здесь можно увидеть и ощутить себя между небом и землей, на высоком капитанском мостике корабля, уносящего с собой, подобно Ноеву ковчегу, целый микрокосм.

Александр молчал, зная, что если он начнет спрашивать, Питман воспользуется его вопросами, чтобы не давать на них ответа. Питман же понимал, что это молчание не равнодушие, а хитрость, и решил кормить эту хитрость по капле.

— По крайней мере, я могу дать вам представление об этой троичности, но нужно будет — я уверен, что такой великодушный человек как вы меня поймете — чтобы вы дали слово... Сегодня подходящий для этого день.

Александр невольно искал взглядом юг, Сент-Женевьев, могилу, гроб, тело.

— Они есть... — начал Питман.

То, что он собирался сказать, показалось ему настолько прекрасным, насыщенным, что он полужакрыл глаза и еще секунду помолчал, на этот раз не из расчета, а скорее из уважения и какого-то сладострастия.

— ... Рычаг, Треугольник и Проволока.

Александр удивился. Слишком уж примитивным показалось ему услышанное.

— Я вам объясню, — сказал Питман, потрясенный своим же открытием.

Голуби летали низко. Пустынная Сена отражала облака. Приближался вечер.

— Первое изображение-символ — это Рычаг. Чем больше расстояние между точкой опоры и точкой приложения, тем скорее, прилагая одинаковое усилие, вы сможете поднять больший вес. Нужно правильно понять, что именно расстояние создает рычаг и что, следовательно, нужно стремиться постоянно увеличивать расстояние, никогда не уменьшать его. Из этого следует, что в области распространения влияния никогда не нужно действовать самому, всегда через посредника или, что предпочтительней, через цепь посредников. Я дам вам исторический пример, так как великие люди прошлого использовали, иногда инстинктивно, наши методы, но так и не смогли объединить их в доктрину. Филипп Македонский захотел овладеть Афинами. Стал вести он белую пропаганду: „Вы, афиняне, будете гораздо более счастливыми, если дадите мне власть над вами”? Нет, он удовольствовался тем, что овладел изнутри афинской пацифистской партией — и Афины упали к нему в руки, как спелое яблоко. Эта партия и была рычагом Филиппа. Кстати, использование пацифистов стало классическим методом, вы это узнаете, если пройдете у нас стажировку: когда хотят наложить лапу на какую-нибудь страну, то создают в этой стране партию за мир, которую стараются сделать популярной,

и воинствующую партию, которая дискредитирует себя сама, потому что существует в этом мире мало разумных людей, способных решиться желать войны.

— Когда я был маленьким, очень многие французские родители не давали своим сыновьям военных игрушек. Так и росли бедняжки без оловянных солдатиков.

— Пацифистская пропаганда во Франции была операцией, организованной Гитлером, который в то же самое время поддерживал в Германии культ армии. Результат: разгром 1939 года.

— И со Стокгольмским воззванием делаем теперь то же самое, только куда с большим размахом.

Питман прыснул в кулак.

— Вы видели плакат: мать держит на руках ребенка, и внизу: „Они борются за мир”?

— Конечно.

— Это была идея нашего управления. В Союзе, чтобы поддержать эту кампанию, мы также выпустили афишу с этим лозунгом. Только знаете, что она изображает? Советского солдата с автоматом на пузе.

— Афиша — это рычаг?

— Нет, рычаг — это наивный тип, читающий афишу и распространяющий ее лозунг. Например, честный журналист, который верит в добродетели мирного сосуществования, не может не верить кому-либо призывающему к нему. Вы должны знать, что можно кричать одно, а делать на деле противоположное: если кричать достаточно громко, внимание привлекает только крик при хорошо подготовленном общественном мнении, — и операция проходит незаметно. Вот почему идеальнейшим рычагом является пресса, а вскоре им будут и другие средства массовой информации. Если все правильно подготовлено, то не нужно даже направлять информацию: достаточно предоставить ей реагировать самой. Пример: вы решили терроризировать население. Вы организуете единичный террористический акт. Консервативная пресса сразу начинает бушевать. Но чем больше она его

осуждает, тем большее значение она ему придает и, следовательно, в конце концов работает на нас.

До сих пор Александр считал себя будущим великим писателем. В общем, не только будущим: он уже написал несколько поэм, рассказы, два романа, которыми был доволен. Но вот Питман внезапно открывал перед ним иную область деятельности, куда более привлекательную. Каким убогим показался театр теней, вымышленных персонажей, раз стало возможным ставить настоящие убийства, создавать настоящую любовь! Какое царство может быть более возвышенным, чем царство души и воли?! Что может быть более утонченным, чем заставить плясать под дудку Гильденстерна Гамлета и всех его датчан?

— В общем, — сказал Александр, ища иронии в голосе, но не находя ее, — игрок на флейте из сказки, который утопил крыс, был из вашего Управления.

— Только мы преследуем цель куда более честолюбивую, нежели избавить мир от крыс. Подумайте, как все-таки хорошо, что именно мы нашли нужную музыку для этой флейты, а не капиталисты. Знаете, Александр, я не думаю, что это случайность. На некоем уровне некий детерминизм и некое провидение — разве не одно и то же?

— Вы говорили, что нужно подготовить общественное мнение. Как вы это делаете, Яков Моисеевич?

Питман вздохнул; он еще поддаст жару, ничего не подделашь.

— Благодаря тенденциозной информации. Для этого захватывается изнутри авторитетная газета, уважаемая частью общественного мнения. Если затем не допустить, чтобы она открыто скомпрометировала себя, вся остальная пресса последует примеру этой газеты и будет умножать подсунутый вами материал до бесконечности.

— И эта тенденциозная информация, она состоит...?

Александр говорил непринужденно. Питман сделал вид, что попал в подставленную ему ловушку.

— *Vademecum* дает десять формул для составления тенденциозной информации. Хотите их знать?

— Это было бы интересно.

— Непроверяемая антиправда, правда-ложь, деформация правды, обработка контекста, затушевывание с его вариантами: строго отобранной правдой, узко направленным комментарием, иллюстрацией, обобщением и неравномерным и равномерным подбором.

— Можете дать несколько примеров?

— Я постараюсь повторить вам урок одного из моих учителей. Представьте, говорил он, что произошло следующее историческое событие: Иванов нашел в постели Петрова свою жену...

(Александр напрягся: он не любил непристойных шуток. Французы не могли без них жить, ладно, но общаясь с русским, он надеялся их избежать. Видимо, зря. Питман был явно в игривом настроении.)

— ...Я вам теперь покажу, как можно обработать этот факт, если по политическим причинам вы хотите его тенденциозно представить.

Первый вариант. Нет свидетелей. Люди не знают, что и как, и не имеют возможности получить на стороне нужную информацию. Вы же просто заявляете, что это Петров нашел в постели Иванова свою жену. Это и есть проверяемая антиправда.

Второй рецепт. Есть свидетели. Вы публикуете, что супружеская жизнь Иванова вообще хромает, и вы допускаете, что в предыдущую субботу Иванов застиг жену в постели Петрова. Правда, добавляете вы, на предыдущей неделе жена Иванова застала своего мужа в постели жены Петрова. Это и есть правда-ложь. Пропорции, разумеется, можно варьировать. Ребята из отдела дезинформации, когда они хотят „основательно подцепить” противника, дают ему восемьдесят процентов правды и только двадцать процентов лжи, потому что важно на выбранном ими уровне, чтобы только отдельная, определенная ложь была принята за правду. Мы, дезинформаторы и агенты-проводники влияния, ставим, в общем, на количество, но вместе с тем считаем, что только дело правдивое, поддающееся проверке

дает возможность пробить много других, лживых и непроверяемых.

— Так мастера, создавшие большой колокол, который мы только что видели, добавили немного золота в толщу бронзы.

— Именно. Теперь третий трюк. Вы признаете, что гражданка Иванова была у Петрова в прошлую субботу, но вы иронизируете насчет кровати. Мебель, пишете вы, не имеет к делу никакого отношения. Вернее, какое-то отношение имеет, так как вероятнее всего, гражданка Иванова просто сидела на стуле или в кресле. Но так похоже на Иванова, часто напивающегося до неподобающего состояния, клеветать на свою несчастную супругу. А что ей еще оставалось: дать себя избить пьянице-мужу? Нет, вот она и нашла убежище в комнате Петрова, и была там, по всей вероятности, со своими малолетними детьми, — мы не имеем никаких оснований утверждать, что она оставила их в распоряжении этого зверя. Ничего также не дает нам права утверждать, что гражданка Петрова не присутствовала на встрече между своим мужем и гражданкой Ивановой. Наоборот, она скорее всего присутствовала, так как дело происходило в коммунальной квартире, в которой живут Ивановы и Петровы. Это и есть деформация правды.

Четвертая уловка. (Питман считал на пальцах.) Вы прибегаете к обработке контекста. Правильно, скажете вы, Иванов нашел свою жену в постели Петрова, но кто же не знает Петрова. Это же врожденная похоть! Вполне возможно, что он был судим четырнадцать раз за изнасилование. В тот день он встретил Иванову в коридоре и набросился на нее. Он уже был готов ее изнасиловать, когда, к счастью, возвращающийся с работы достойный гражданин Иванов, который, кстати, получил премию — завинтил три тысячи гаек за два часа и двадцать пять минут, — вышиб дверь и спас свою целомудренную супругу от позора. И доказательством, кричите как можно громче, является тот факт, что Иванов ни в чем не упрекнул гражданку Иванову.

Пятый прием: затушевывание. Вы топите ваш правдивый факт в куче различной второстепенной информации: Петров, напишите вы, стахановец, очень хорошо играет на баяне и в шашки. Он родился в Нижнем Новгороде, был артиллеристом во время войны, подарил матери к ее шестидесятилетию канарейку, у него много любовниц, среди них некая Иванова, у него хорошо отработанный кроль, он любит колбасу с чесноком, он чудесно делает сибирские пельмени и т. д.

У нас есть также штука, противоположная затушевыванию: строго отобранная правда. Вы выбираете в интересующем вас деле детали, правдивые, но не дающие представления о всей картине в целом. Вы напишете, например, что Иванов зашел, не постучав, к Петрову, что Иванова, которая вообще нервный человек, вздрогнула, что Петрову весьма не понравилось бестактное поведение Иванова и что после короткой беседы, в которой речь шла о чрезмерной легкости нравов, являющейся пережитком дореволюционного режима, супруги Ивановы вернулись к себе.

Шестой метод: узко направленный комментарий. Вы не искажаете исторического факта, но извлекаете из него, например, критику коридорной системы — последняя обладает явной тенденцией к исчезновению, но все еще способствует встречам мужей с любовниками, куда более многочисленным, чем это предвидел последний пятилетний план. Затем вы описываете современный город, в котором у каждой пары имеется своя квартирка, где они могут свободно ворковать, и вы набрасываете идиллическую картину завидной судьбы, которая ожидает Ивановых.

Седьмая хитрость есть всего лишь другая форма шестой: это иллюстрация, при помощи которой идут от общего к частному, а не как раньше, от частного к общему. Вы разрабатываете ту же тему: счастье супружеской четы в новых городах, выстроенных благодаря благотворной эффективности советского строя. Но заканчиваете вы восклицанием, например, таким: какой прогресс по сравнению со старыми коммунальными квартирами, в которых происходили

плачевные события, вроде того, что Иванов находит свою жену в постели соседа!

Восьмой тактический ход — обобщение. Например, вы извлекаете из поведения Ивановой нужные вам заключения о женской неблагодарности, неверности и разврате, но не упоминаете ни словом гражданина Петрова. Или наоборот, вы все валите на Петрова-Казанову, этого грязного совратителя, и оправдываете единодушными восклицаниями жюри несчастную представительницу бесстыдно эксплуатируемого пола.

Девятое средство носит название неравномерный подбор. Вы обращаетесь к вашим читателям и просите их прокомментировать случившееся. И публикуете письмо, осуждающее Иванову, даже если получили штук сто ее обличающих, и десять писем ее оправдывающих, даже если вы только и получили эти десять писем.

Наконец, десятая формула: равномерный подбор. Вы заказываете какому-нибудь университетскому профессору, опытному полемисту, любимцу публики, выступление в защиту любовников, а дурачку какому-нибудь предлагаете осудить любовников, причем обе статьи не должны превышать пятидесяти строк, — в доказательство вашей нелицеприятности.

Вот, Александр Дмитриевич, вы теперь более или менее знаете, что такое тенденциозная информация и какими будут у вас занятия на стажировке, разумеется, по более серьезным проблемам.

— Мне кажется, — сказал Александр, — я знаю одну французскую газету, которая точно копирует все, что вы только что сказали. Но... вы, как мне кажется, говорили еще о Треугольнике?

— Вы ненасытны. Не думаете же вы все-таки, что я вам вот так раскрою всю нашу доктрину тут, на балконе, исключительно, чтобы развлечь вас?

— А вы действительно можете все мне рассказать до закрытия?

— Нет, конечно. Я вам дал для примера десять детских формул. Мы их разработали сотни, и мы можем использо-

вать их вместе или отдельно. У нас имеется новейшая и тайная интерпретация истории, особое мировоззрение относительно роли влияния, почти что космогония...

— Значит, вы можете мне объяснить Треугольник? Только Треугольник.

— Только коротко. Нужно опять же следовать основному принципу: никаких прямых действий, все — через посредников, никогда не вести борьбу ни на собственной территории, ни на территории противника. Нужно сводить с ним счеты в третьей стране, в ином социальном контексте и в иной интеллектуальной области. Эта концепция предполагает трех участников: нас, противника и что-то вроде отражателя нашей операции. Предположим, я хочу начать враждебные действия против какой-нибудь великой империи: я не нападу на нее прямо, а начну с дискредитации ее среди ее же союзников, экономических партнеров, всех тех, на кого она опирается. Вы увидите, через некоторое время само существование слаборазвитых стран нам даст превосходное оружие для развития антиамериканского влияния. Теперь предположим, я хочу взяться за какую-нибудь страну: я начну с того, что буду уверять ее в своей дружелюбности, одновременно же разложу ее изнутри до того, что она рухнет сама по себе.

— А как вы ее разложите изнутри?

— Определенными методами, Александр Дмитриевич. Им нужно научиться. Прежде всего необходимо прекрасно знать общество, над которым работаешь. Именно поэтому, кстати, методы, которые мы открыли и которые откроют после нас наши враги, им не послужат: капиталисты слишком ленивы и самоуверенны, чтобы учиться чувствовать себя в чужой среде, как рыба в воде. Необходимо же сделать усилие, и немалое, чтобы узнать общество-мишень лучше, чем его собственные члены. У нас для этого существуют методы, о которых я вам сегодня не поведаю. Они носят общее название „введение”.

Теперь предположите, что я хочу распространить свое влияние в какой-нибудь стране. Треугольник будет составлен из меня, властей этой страны и ее народа. Я буду считать

народ не противником, а „отражателем”. Я буду стремиться к осуществлению трех замыслов: во-первых, к разложению традиционных сил, способных защитить народ от моей деятельности; во-вторых, к дискредитации моего противника, то есть властей, опираясь при этом на „отражателя”; в-третьих, к нейтрализации самого народа. Для достижения каждой цели будут подготовлены специальные акции. Чтобы разложить традиционные силы, я, с одной стороны, привью им извне и изнутри комплекс вины: в народе и в слабых членах самих этих сил я усилю мысль, что они были зловердны в прошлом и что они продолжают таковыми быть; с другой стороны, не смущаясь очевидным противоречием, я докажу, что они никому не нужны, что они паразиты, что они — не реальность, а иллюзия. И таким образом создам пропасть между отцами и детьми, между работодателями и служащими, между войсками и командующими. Мои агенты будут вооружены тройным лозунгом: добросовестность, правое дело, здравый смысл. С этих позиций они подорвут власть, обвинив ее во всех существующих и несуществующих в этом обществе-мишени грехах. Авторитарный режим найдет в результате нужные репрессивные методы, что позволит мне создать мучеников и воззвать для их защиты к мировому общественному мнению. Либеральный режим падет еще быстрее, так как, доказав, что на него можно безнаказанно нападать — это и является основной целью правильно понятого терроризма, — я приступлю к осуществлению третьей фазы моего плана. Походя, займусь немного пропагандой — обвиню противника в применении методов, которые сам собираюсь применить: таким образом я встану в положение законной самозащиты. Не забывайте, Александр, что в отличие от революций прошлого современные революции направлены не против меньшинства, а против большинства народа. А это большинство будет у нас в руках, как только мы его парализуем. Добиться этого можно различными способами. Иногда можно превратить это большинство в большое физкультурное общество: поднимите правую ногу — они поднимают, поднимите левую ногу — поднимают, подни-

мите обе ноги — и они оказываются на заднице. Бывает необходимо, наоборот, раздробить общество на миллионы индивидуумов, чтобы каждый гражданин очутился беззащитным, готовым капитулировать перед мордой Горгоны. Эта немая паника создается упорной легендой о превосходстве противника, определенной дозой терроризма, тем гипнозом, которым пользуется уж, нападая на лягушку. Ко всему этому иногда надо подмешать псевдосверхъестественные пророчества, видения и другие „распутинские штучки”. В любом случае, когда речь идет о „мобилизации” масс, на деле преследуется только одна цель — демобилизовать их. Когда эта цель достигнута, когда отражатель неподвижно-беспомощен, тогда настоящий противник падает к вам в руки, как кирпич, лишенный цемента. Вот, вкратце, теория Треугольника.

Александр заметил:

— У вас также есть теория Проволоки.

Тут Питман серьезно заколебался. Он прошелся взад-вперед. Смотритель поглядывал на часы. Автобусы, поглотив очередных варваров, удалялись в сторону Оперы. Свет дня менял окраску. Он был уже не бело-прозрачным, но еще не позолоченным: словно падал через таинственные витражи на огромный „крейсер” Нотр-Дам.

Три принципа *Vademecum*, изложенные без практического руководства, не составляли, конечно, полного посвящения, едва только эмбрион. Но все же — эмбрион. Александр Псарь, каким бы он ни был советским гражданином, был отпрыском реакционного рода, был воспитан во Франции, мог иметь с врагом тайные связи, не выясненные проверками, расследованием. Придет день, когда доктрина распространения влияния будет известна всему миру, но пока она являлась одной из самых важных тайн коммунистического строя. И вот молодому Якову Моисеевичу Питману нужно было выбрать: открыть тайну, рискуя напороться на предательство, или скрыть ее, рискуя окончательно выпустить зверя из рук.

Он вновь подошел и облокотился на парапет рядом с Александром:

— Послушайте, я могу только слегка коснуться этой темы. Сущность Проволоки состоит в следующем: чтобы отломать кусок, нужно ее сгибать и разгибать в обе стороны. Мы здесь касаемся квинтэссенции нашего искусства... это слово я произнес не случайно. Агент-проводник влияния есть противоположность пропагандиста, вернее — пропагандист в совершенстве, так как занимается пропагандой в чистом виде, и всегда пропагандой против чего-то или кого-то, никогда — за... не имея иной цели, кроме: ослабить, отклеить, развязать, разладить. Если вы будете продолжать интересоваться нами, я вам дам почитать книгу китайского мудреца Сунь Цзы, жившего двадцать пять веков назад. Это Клаузевиц той эпохи. Среди прочих гениальных вещей, он рекомендовал некое построение войск, которое отлично характеризует и нас: *Самое существенное заключается в том, чтобы не создавать формы, которую можно было бы ясно определить. Если вы этого добьетесь, самый талантливый разведчик не сможет вас разгадать и самые лучшие умы не смогут разработать план действий против вас.* Пример: советского агента-проводника влияния никогда не должны считать коммунистом. Он должен быть то с левыми, то с правыми, чтобы систематически подрывать существующий порядок. Это его единственная задача, и выполнение ее ему гарантирует абсолютную безнаказанность. Нет закона, Александр Дмитриевич, я хочу сказать, нет на Западе закона, запрещающего расшатывать общество, в котором живешь. Нужно лишь ставить на чет—нечет, черное—красное.

Александр наблюдал за солнцем, которое, словно входящий в порт корабль, клонилось к западу.

— Однажды, — сказал он, — когда я был еще маленьким, отец повел меня на ярмарку. Мы остановились у лотереи — огромного колеса, разделенного на красные и синие полосы. Нужно было ставить на один из цветов: при удаче можно было выиграть маленький аквариум с рыбкой. Я хотел получить рыбку, а у моего отца было денег всего на две ставки.

Он сказал: „Ты поставишь на красный, я — на синий. Таким образом мы непременно выиграем”. Рыбка стоила меньше, чем две ставки, вероятно, меньше, чем даже одна, но я все же засомневался относительно честности нашего плана. Сказал все же: „Давай”. Рыбку выиграл отец. И отдал ее мне. Я был рад.

Питман долго молчал. Александр тоже не нарушал тишины. Выждав, старший решился и спросил:

— Я могу считать эту притчу ответом?

Младший грустно улыбнулся:

— Да, но с одним условием. Я буду вам верно служить, не щадя сил, не щадя жизни в течение тридцати лет. Но вы должны, когда мне стукнет пятьдесят, разрешить мне вернуться на родину. Я этого хочу, и это завещано мне отцом.

— Я даю вам слово офицера и большевика, — сказал Питман, протягивая Александру руку.

Позади зевнул зритель и произнес с южным акцентом:

— Мы закрываем.

После того как вечером вербовщик и завербованный расстались, Питман бросился к телефону:

— Мохаммед Мохаммедович, дело в шляпе.

А Александр вернулся в свою комнатку, которую делил с отцом, и заплакал. Он, конечно, оплакивал смерть старого лейтенанта, но еще больше — потерю чистоты своей души. Он недавно прочел Гете и прекрасно отдавал себе отчет в том, что сделал там, наверху, в галерее собора. Лишать людей свободы действия уже считается зловердным, а он стремился к большему: он станет силой, шепчущей в каждом из нас: „Я свободно выбрал”. Лежа в темноте на своей кровати со сломанными пружинами, он, упершись взглядом в посылаемую окном трапецию света на потолке, прошептал с напыщенностью, свойственной его возрасту:

— Я стану злым духом французской мысли.

Можно быть одновременно напыщенным и искренним.

Некоторое время спустя Александр прошел призывную комиссию и предстал, голый, перед военврачом майором Нананом, скрывающимся под крапчатым мундиром, кефи гранатового цвета и золотыми галунами.

Несколько лет назад Нанан, недовольный своей низкой зарплатой, употреблял время, свободное от гарнизонной службы, для нелегальных абортов. От расправы его спас какой-то депутат от компартии, и с тех пор Нанан подчинялся уже двум инстанциям. Он, в основном, комиссовал призывников, получая тайные указания, а так как это занятие не считается во Франции чем-то необычным, то он легко избегал возможных неприятностей. Александр Псарь оказался одним из редких счастливичков, едва не погубивших майора Нанана:

— Что? Не гожусь? Я? Так вот, я требую повторного медосмотра, — стонал Александр.

Питман вынужден был вмешаться, он сделал ошибку: нужно было потребовать от Александра жертвы, а не добиваться за его спиной освобождения от службы. Он объяснил, что время не ждет, нет смысла Александру драить гетры, в то время как он нужен советской родине совсем для другого и куда более важного дела. Александр подчинился, но еще долго оставался в обиде на своих хозяев: простил он им только в конце 1968 года, когда ему присвоили звание младшего лейтенанта КГБ.

Во всем остальном он подчинялся каждому, даже самому незначительному приказу. Ему посоветовали получить диплом по французской литературе в Сорбонне, и он его заработал с отличием. Он, который позднее через одного из своих посредников выступит с лозунгом: „Правописание — дискриминационно, репрессивно и реакционно — это последняя цепь буржуазии, которую пролетариат еще не разорвал”. Он, который, считая время учебы разведкой в тылу врага, получит четверку за сочинение по Мериме. Потом захотели, чтобы он записался в Колумбийский университет, и он, ни с кем не попрощавшись, уехал в Нью-Йорк.

Он только сказал Питману:

— Это будет моей Египетской кампанией.

— Не совсем. Нужно сначала, чтобы вы выучили английский: без него вы будете в современном мире, Александр Дмитрич, мой золотой (Питман ограничивался металлами), лишь гадким утенком. Далее, только американцы знают по-настоящему, что такое литературный агент: вы должны, следовательно, пройти у них стажировку. Наконец, ваше пребывание там даст вам возможность оправдать затем наличие средств, необходимых для открытия собственного литературного агентства здесь: вы скажете, что сэкономили деньги в США.

Была еще одна причина: отдаление Александра от Франции на несколько лет должно было помешать его возможному предательству в будущем — он вернется практически в чужую ему страну. То, что это отдаление могло дать обратный эффект, Питман допускал только теоретически: расстояние усилит накопленные унижения и обиды.

Александр, по-прежнему внешне флегматичный, по-прежнему покорный и неуловимый, блестяще сдал все экзамены Колумбийского университета.

В один прекрасный день он вошел в бар на 43-й улице перекусить. Он сел на высокий табурет у стойки. Соседний табурет пустовал, и, разумеется, Александр ожидал, что на него сядет красивая девушка.

И на него действительно села очень красивая девушка. Она бросала по сторонам пугливые взгляды. На ломаном английском языке заказала мороженое. Александр наблюдал за ней со всей скромностью и трепетом, на которые способен влюбленный россиянин.

У нее были длинные ресницы, окаймляющие зеленые глаза, длинная шея придавала аристократичность, бледный рот был лишен чувственности, а овальный лоб, подумал Александр, создан для диадемы. У нее, конечно, было и туловище, но Александр не замечал его.

Девушка съела мороженое и хотела рассчитаться с официанткой, которая подбородком указала ей на кассу. Александр с пересохшим горлом — он впервые в жизни обращал-

ся к незнакомке — объяснил, что надо сделать. Девушка поблагодарила. Он увидел скромный взгляд его испуганных глаз. Они столкнулись у кассы. Он волновался: „Только бы она не подумала, что я к ней пристаю! Но если это Она, было бы преступлением ее упустить!”

Она открыла кошелек, глядя близорукими глазами, рылась в нем, но там были только медяки, и кассирша злобно повторяла: „Недостаточно!”

Когда молодая девушка поняла, наконец, что ей нечем расплатиться, она воскликнула по-русски:

— Боже мой!

Дальше все пошло, как по маслу. Молодые люди три часа гуляли по улицам, в парке, из которого в те времена можно было, если повезет, все же выйти живым. Ее звали Тамарой Ш. Александр не преминул отметить эту знаменитую фамилию. Она была певицей в народном хоре. (Питман предложил балерину — советские балерины чаще ездят за границу, но Абдулрахманов воскликнул: „Нет, нет, Яков Моисеевич, никаких ножек кверху: он — деликатный человек!”.) В тот вечер хору был дан выходной, и Тамаре удалось уйти от „нянек”: она хотела увидеть настоящий Нью-Йорк. Она должна была, как Золушка, вернуться в гостиницу до полуночи. О чем они говорили? О России и о любви. И расстались без единого поцелуя.

На следующий день он пошел послушать ее, и, хотя она была всего-навсего хористкой, ему показалось, что он узнал ее голос во время исполнения волнующей „Лучинушки”. Утром хор уехал в Сан-Франциско.

Александр не писал Тамаре, боясь накликать на нее беду: служа режиму, он никогда не строил себе иллюзий относительно его либерализма; кто знает, может быть, именно поэтому он ему и служил. Он мог, конечно, намекнуть властям, что служит Великому делу, и воспользоваться этим, но уж слишком он был пропитан важностью своей подпольной деятельности. Тамара? Он ее узнал, это была — Она, он любил ее и никогда больше ее не увидит: для русского это было в порядке вещей.

Годы раскручивали свою спираль, и наступило время, когда Абдулрахманов сказал Питману:

— Соловья баснями не кормят.

Действительно, Александр, устав от своей целомудренности, начал с легкостью пользоваться любовницами, предоставляемыми в его распоряжение КГБ. Ни одна из них не была француженкой: нельзя было допускать никакой материальной связи между ним и страной, против которой он должен был работать. И конечно, ни одна из них не была русской: он женится на соотечественнице только после возвращения на родину, а пока нужно было четко отделить настоящее дело от всего, что составляло лишь физиологическую потребность. Но Александр и не обладал большими потребностями — ему случалось даже отказываться от предлагаемых ему женщин.

Ему исполнилось двадцать семь лет, у него был диплом Колумбийского университета, он прошел стажировку агента-проводника влияния в одной из секретных школ Бруклина и обучение у одного литературного агента на Мэдисон авеню, — когда он с довольно победоносным видом спустился по трапу самолета в Орли. Слова, произнесенные в послеобеденное время одним июньским днем восемь лет назад на башне Нотр-Дам, вросли в душу, как обручальное кольцо в плоть пальца. Он возвращался, чтобы свести счеты с Францией и заставить ее плясать под свою дудку.

Питман все еще был на своем посту в Париже, и два человека, которых относительность возраста уже начинала сближать, с удовольствием встретились. Это не была встреча отца с приемным сыном; они были скорее, как Мефистофель и Фауст: так Александр видел их новые отношения, и Питман, по-прежнему доброжелательный и ловкий, не пытался его в этом разубедить. Будучи настоящим профессионалом, старший наделил себя глуповатым табу, якобы запрещающим ему доступ на прощение, где должен был фигурировать младший. И Питман вкрадчиво, с озорством, но не без почтительности говорил:

— Вы, Александр Дмитриевич, будучи аристократом...

А Александр отвечал ему не без юмора:

— Вы, Яков Моисеевич, все-таки должны научиться выплевывать масляные косточки в кулак.

Вместе с тем, между ними царило определенное доверие, основанное на признании качеств друг друга, и даже некоторая теплота, ибо Александр испытывал к Якову чувство снисходительности, а Яков к Александру — сострадание.

Вопреки обычаям, вербовщик Александра стал его первым попечителем, и потому их профессиональные отношения продолжали носить дружеский характер. Лишь одно столкновение едва не свалило под откос всю упряжку.

Обоим было ясно, что жизнь Александра должна быть вне подозрений, из чего следовало, что не может быть и речи о его поездке за так называемый железный занавес, пока задание не будет выполнено: любой полицейский мог заинтересоваться, что делает сын белого офицера в красной России. Агент-проводник влияния может быть полностью эффективным, только оставаясь полностью вне подозрений. Но вот Александру Псарю взбрело внезапно в голову провести отпуск в СССР.

Питман, как всегда доброжелательный, передал просьбу Абдулрахманову. Человек-гора превратился в человека-вулкан:

— Я, кажется, вам уже говорил, Яков Моисеевич, картонный мой, что этот кацапский дворянчик должен подохнуть в навозе эмиграции.

И тогда Питман объяснил своему гению:

— Александр Дмитриевич, это тридцатилетнее задание, после выполнения которого вы вновь обретете родину, такая чудесная история любви! А вы теперь что же, хотите превратить ее в банальный флирт?

Александр Дмитриевич, униженный тем, что услышал подобное от человека, которого считал менее тонким, чем он, никогда более не затрагивал вопроса о возможности своего временного возвращения.

Через некоторое время полковник Питман был переведен в штаб Управления. Он еще имел возможность путешествовать, но уже не мог непосредственно руководить своими агентами. Поэтому офицер-попечитель по кличке Иван был прикреплен к агенту-проводнику Опричнику. Незначительные трения между Иваном и Опричником окончились благополучно, и Александр в знак уважения к своему погонщику стал величать его Ивановичем. Со следующим попечителем, который хотел, чтобы его тоже называли Иваном и которого Александр называл Иваном Вторым, он сразу и серьезно не поладил: гебист обращался с ним, как с обыкновенным агентом — тряс пряником, держа над головой кнут. Опричник потребовал, чтобы отозвали невежду. Питман, человек мягкий, засомневался: он не доверял своей мягкости, поэтому первой его реакцией было вклепить Псарю выговор или вообще вышвырнуть его из системы.

— Об этом и речи не может быть, батенька мой, — сказал ему генерал-лейтенант Абдулрахманов, пуская над головой круги сизого дыма. — Есть случаи, когда насилия недостаточно и только грубость может помочь.

— Вы хотите сказать... Пятое управление?

— Нет, Яков Моисеевич, картонный мой. Вы должны согласиться, что совершили грубую ошибку, назначив такого типа Опричнику. Так что объявите самому себе коллективное порицание, немедленно отзовите этого простофилю и пошлите его туда, куда Макар телят не гонял. Я вам благодарен, что вы не скрыли от меня этот инцидент: иначе это вы, батенька, поехали бы дезинформировать бурят.

Иван Второй был заменен „Игорем”, которого Александр окрестил Иваном Третьим: „Если от меня скрывают их настоящие имена, я всех буду называть одинаково, как горничных”.

Иван Третий наладил отличные отношения с Александром, но перенял кое-какие его взгляды:

— Нет ли в этом риска, Мохаммед Мохаммедович?

Мохаммед Мохаммедович вздохнул:

— Вы довольны работой Опричника? Да. Вы за ним следите? Да. Его не перевербовали? Как будто нет. Так не паникуйте, как лавочник. Нет ничего удивительного в том, что этот человек влияет на окружающих, — мы об этом знаем, поскольку именно за это качество его и выбрали. Он влияет на подчиненных, обязанных отражать это влияние. Ведь влияние это — его, бедняги, профессия. Вместо того, чтобы его ограничивать, учитывайте это и давайте ему попечителей, которые непременно подпадут под влияние Александра, больше того, будут очарованы им, подчинены его воле. Когда вы найдете нужным натянуть поводья, просто смените попечителя.

Иван Третий, отработав положенное время во Франции, был заменен Иваном Четвертым, человеком заурядным, но пылким, которому была дана та же почетная кличка. Иван Четвертый преклонялся перед Опричником, что не мешало ему выполнять свою работу, то есть передавать директивы и деньги и получать расписки и отчеты. Питман тихо улыбался, он хотел только одного: чтобы все были счастливы.

Александру Псарю исполнилось сорок три года, и он уже был „кооптирован в подполковники”, когда Иван Четвертый, этот добродушный посредственный человек, парижский гебист, забил тревогу. Он был вызван в Управление для очередной встречи с полковником Питманом (он называл это пойти к исповеди) и, несмотря на то, что уже скороговоркой ответил на все заданные вопросы, вел себя так, словно хотел еще что-то сказать и не решался. Он вставал, снова садился, смотрел на портрет Дзержинского, перечитывал в десятый раз заповеди Сунь Цзы (Питман, подражая Абдулрахманову, тоже повесил их у себя в кабинете), — в общем, он был похож на собаку, не находящую себе места для сна. Питман решил продолжать беседу до тех пор, пока этот человек не выложит ему все, что у него на сердце. Выжидая, он стал задавать безобидные вопросы, спокойные ответы на которые должны были создать умиротворяющую атмосфе-

ру. Окна темнели. Но Питман все не включал света... Наконец, окруженный сумерками, Иван Иванович пробормотал:

— Еще есть одно... Может, это ничего и не значит... Если я старый дурак, то уж простите... И прямо скажите: ты — осел и зря тебя кормят! Скажите, товарищ полковник, скажите прямо. Но все же... я должен выполнить свой долг чекиста...

Питман терпеливо ждал.

— Товарищ полковник, он заглядывается на мальчиков.

— Вы хотите сказать...?

Питман с отвращением втянул в себя воздух. Иван Иванович покраснел до ушей, замахал руками.

— Нет, нет, вовсе не то. Простите, у вас есть дети?

— Шестеро.

Эличка выполнила свой долг.

— У меня самого их трое. Трое хорошеньких мальчуганов, и вы можете быть спокойны, убежденных большевиков. Трое белокурых большевичков, радость моей жизни, конечно, не считая службы. Так вот, если бы у меня в его возрасте не было такой белокурой головки... Судите сами, товарищ полковник... Когда мимо проходит мальчуган, заметьте девушка тоже, но главное мальчуган, он смотрит ему вслед и как будто перебирает что-то в уме. К тому же в последнее время он стал часто употреблять уменьшительные слова, над которыми раньше насмехался: „Ох вы, Иван Иванович, с вашими свиданьями и инструкциями..." Я подсчитал: за час он употребляет таких слов пять или шесть, а в прошлом году их было два или три.

Питман растрогался. И самое главное: растрогался искренне. Потом пошел доложить об уменьшительных словах и белокурых головках генерал-полковнику, который собирался в семьдесят пять лет подать в отставку. Чтобы спокойно поговорить, дневальных отослали — они в его оголенном кабинете скатывали бухарские ковры.

Мохаммед Мохаммедович задумался. Его собственная личная жизнь была тайной для сотрудников. Некоторые утверждали, что у него гарем, другие считали его эклектиком, третьи говорили, что работа превратила его в камень.

Его крупное лицо без морщин, принявшее с годами некий базальтовый оттенок, было непроницаемым. Через минуту он изрек:

— Нужна женщина. Не „попрыгунья“, а офицер. И чтобы он это знал. Пока никакой женитьбы, но — чтоб был сын. Устройте им где-нибудь медовый месяц, а потом переписку через посредника. Никаких встреч. Ему осталось еще пять-шесть лет. Подождет.

— Но... а после, Мохаммед Мохаммедович? Мы ему дадим вернуться?

— Никогда. То, что Сунь Цзы называет „божественным клубком“, только еще сильнее его свяжет.

Питман все не мог понять, почему этот великий человек, так мелочно цепляется за свою злобу к Псарю.

— И чтобы эта была в теле, — продолжал великий человек, сохранивший удивительную память. — У нее должно быть меньше платонических наклонностей, чем у той.

И вдогонку выходящему Питману сказал:

— Пусть будет девственницей. Или могущей сойти за таковую.

— Но, товарищ генерал...

— Вы — чекист: выкручивайтесь.

Входящий дневальный широко открытыми глазами уставился на них.

Алле Кузнецовой было двадцать четыре года, у нее было звание капитана и красивые серые глаза. Она происходила из крестьянской семьи. У нее была статная осанка и свойственное русским женщинам суровое изящество. Она часто мечтала, любила музыку, а также охотно лазила по деревьям. Смесь честолюбия и врожденной стыдливости помешала ей уделять слишком много времени мужчинам.

Александр выбрал ее, как принцы выбирали принцесс: внимательно разглядывал ее фотографии, изучил предоставленные ему данные о ее здоровье, образовании и характере. Он никогда не хотел вести заурядный образ жизни, и ему

направилась возможность так сказать бросить платок на колени своей избранницы. Он также оценил особое к нему отношение со стороны своих хозяев.

Абдулрахманов пожелал увидеть кандидатку и, пощупав крепость ее мышц, заявил:

— Королевский кусок. У мошенника хороший вкус.

Питман промолчал: каждая привлекательная женщина вызывала в нем волну нежности, почти страсти к его толстой Эличке.

Были соблюдены все предосторожности, чтобы встреча осталась в тайне. Псарь сказал всем, даже своей преданной секретарше, что едет в путешествие в Норвегию, купил билет на самолет в Сенегал, а сам, взяв под чужим именем напрокат машину, поехал в Югославию.

ГБ отлично все устроила. Подполковника и будущую подполковничиху ждал поэтичный и комфортабельный домик с двумя ванными комнатами. Обвитый виноградной лозой, окруженный цветущим густым садом, отделенный от дороги решетчатым забором под напряжением, домик был построен на холме на Адриатическом побережье. В гостиной, выложенной плитам, с неровными стенами с пробитыми в них бойницами, нагромождались ковры (Абдулрахманов: „Побольше ковров, это очень важно, они располагают к сердечным излияниям”). В углу напротив камина стоял рояль, а у дивана, заваленного вышитыми подушками, стоял проигрыватель, окутанный той особой тишиной, которая свойственна выжидающим действия музыкальным приспособлениям (Питман: „Музыка очень важна, она душещипательна”). В холодильнике среди прочего было четыре сорта икры и двенадцать сортов водки (Абдулрахманов: „И чтоб они ели каждый день устриц”). Питман: „Я прикажу приготовить для них посылку с халвой”). Бар был набит коньяками, кавказскими для патриотизма и французскими для вкуса (Абдулрахманов: „Не забудьте о ликерах”). Питман: „Непременно нужна бутылка сливовицы”).

Не было забыто и внутреннее убранство дома. В спальню Абдулрахманов велел повесить „Украденный поцелуй” Фра-

гонара. Пользуясь своим привилегированным положением, он взял его на время в Эрмитаже к неудовольствию некоторых туристов (которые еще помнят пустое пространство на стене). Питман украсил стены гостиной романтическими русскими гравюрами. Чтобы любовники не забывали, что выполняют задание, на камине был помещен портрет Дзержинского: аскет-палач словно устремлял свой взор в освещенное горящими поленьями светлое будущее. Поверх портрета можно было прочесть его знаменитое изречение: „У чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки”.

Оба сообщника, устраивая любовное гнездышко своим агентам, по-отечески позабавились.

Питман с чувством сказал:

— Надеюсь, что они будут счастливы.

Абдулрахманов с хищной улыбкой заключил:

— Иначе не будет им прощения.

Прибыв на место, Александр встретился со старой крестьянкой, которую наняли для уборки и стряпни. Она когда-то служила у русских эмигрантов и с удовольствием довольно хорошо говорила по-русски. Александр был тронут, когда увидел, что для этой средиземноморской славянки, путающей в своем русофильстве царей-покровителей православия и комиссаров-мстителей за простой народ, миф о „старшем брате” был реальностью. Он быстро привык к почтительно-нежному обращению: „Ваше превосходительство товарищ подполковник”.

Александр не знал Югославии, и то немного, что он увидел, его удивило. Он всегда думал, что славяне и средиземноморцы принадлежат к двум противоположным мирам. Теперь же он убедился в обратном: эта страна принадлежала одновременно к Центральной Европе и к античному миру, к востоку и западу; она была маленькой Россией на берегу Средиземного моря, синтезом двусмысленности, характеризующей ее собственную судьбу.

Александр набил машину цветами и поехал на вокзал.

Алла, в синем жакете поверх белой блузки с большим воротником, вышла из вагона и пошла по перрону широкими, почти мужскими, шагами. С гордо вскинутой головой, сознавая свою красоту, она была полна решимости не придавать ей значения, — ее серые глаза выражали готовность, с которой всякий офицер должен предстать перед старшим по званию. Но угадывалось, что глаза эти могли быть также насмешливыми, мечтательными, меланхоличными, грозными. Пока они с трудом скрывали наполняющее ее любопытство. Она лихо представилась:

— Кузнецова.

— Вы точно, как на фотографиях.

— Вы — нет. — Искра кокетства сверкнула в серых глазах.

— Нет?

— Вы моложе.

Он хотел взять у нее чемодан.

— Оставьте. Я могу сама.

— Я знаю, что вы можете, но я вам запрещаю.

Ее пальцы выпустили ручку чемодана, и их руки соприкоснулись.

Они шли молча, пока Александр не спросил:

— Вы устали? Хотите поехать домой и поспать до утра?

Она, прищурившись, посмотрела на него:

— Я хочу того, чего хотите вы.

Он остановился:

— Алла, давайте условимся. Когда я захочу, чтобы вы сделали то, чего хочу я, я вам скажу. Но когда я спрашиваю, чего хотите вы, отвечайте просто и понятно.

— Ясно.

Он был шокирован заурядностью этого „ясно“.

— Итак, какими будут ваши пожелания?

— Я не устала. Я хотела бы... осмотреть город, пожалуй. Прогуляться. С вами, конечно.

Раздражение Александра быстро улетучилось. В Алле уживались услужливость приветливой собаки (Эта улица? Отлично. Этот сад? Замечательно.) с достоинством бюрократа, то и другое было трогательно. Она сознавала, что при-

надлежит к элите, к людям, умеющим вести себя в обществе, отдавать жизнь за родину, объяснить историю человечества борьбой классов. Она знала, что уважаема, с уважением относилась к себе сама и умела других заставить себя уважать. Александр с улыбкой подумал: „Еще немного, и это я покороблю ее каким-нибудь фамильярным словом или, неловким жестом”.

Отдав должное иерархической стеснительности, Алла стала сама собой и уже время от времени бросала на Александра волнующие взгляды. Она не стремилась соблазнить его, не жеманилась, она вела себя, как ведут себя женщины, привыкшие быть желаемыми. И манера слегка поднимать правую бровь, с появлением ямочки на левой стороне губ, делала ее особенно привлекательной.

Они отужинали на террасе ресторана в грабовой аллее, глядя, как море Одиссея у их ног становилось фиолетовым. Довольная Алла рассмеялась:

— Как это романтично.

Александр наблюдал за ней не просто как за женщиной, — с этой точки зрения она уже прошла экзамен на отлично; впрочем, Александр считал, что в какой-то мере все женщины стоят друг друга. Он оценивал ее как будущую жену, а главное, — как мать будущих маленьких Псарей. Эффективность, с которой он служил мировому коммунизму, ни в коей мере не уменьшала в нем гордости от того, что он принадлежит к клану вождей. Напротив, она росла по мере того, как он верил, что коммунистическое общество лучше всякого другого способно оценить и поощрять врожденные достоинства личности. Поэтому он рассчитывал, что его потомство поднимется до высоких правительственных постов и вновь займет в родной стране место, приличествующее роду Псарей. В этом чувстве не было ни капли светского снобизма. Александр вовсе не был бы разочарован, что его жена имеет крестьянское происхождение, но она должна была принадлежать к старому роду в глубоком смысле этого понятия — и увековечить в его потомстве определенные качества. Знатная же фамилия — только символ, но не гарантия.

Он украдкой, как ему казалось, рассматривал ее широкие, но гибкие запястья, вслушивался в характерные советские грамматические ошибки, в сочный, лишенный мелкобуржуазного напева, выговор. Отмечал: отсутствие драгоценностей, манеру опускать голову, поднимая глаза (она могла быть, но не была жеманной эта манера), коротко остриженные ногти, усердие, с которым она старалась не говорить с полным ртом, уверенность в своей правоте, когда речь шла о важных проблемах, покорную улыбку, когда разговор касался чего-то второстепенного, ее ноги, большие, но легкие, умеренность во всем и вместе с тем чревоугодие, изумительную шею. По этому поводу он прочел отрывок из юмористической поэмы Алексея Толстого:

Шея девы — наслажденье;
Шея — снег, змея, нарцисс;
Шея — ввысь порой стремленье;
Шея — склон порою вниз.
Шея — лебедь, шея — пава;
Шея — нежный стебелек;
Шея — радость, гордость, слава;
Шея — мрамора кусок!..

Алла, со своей стороны, наблюдала за Александром, готовая выполнить свой долг, но, застигнутая врасплох игривостью положения, в которое попала, не теряла при этом собственного достоинства. Позднее она сказала ему:

— Вы все время насмехаетесь надо мной.

А он, наоборот, считал, что обращается с ней с чересчур подчеркнутым почтением.

После ужина они пошли послушать песни. Александр был поражен контрастом между славянскими словами песен и сопровождающей их арабской мелодией. Поздно вечером они возвращались домой. На каждом повороте дороги фары освещали каскады цветов — Алла знала все названия, хотя и не могла видеть в темноте их окраску; она беспрерывно восхищалась красотой цветов, возможно, чтобы наполнить ти-

шину. Александр, по обыкновению равнодушный к внешнему миру, — да он никогда и не мог отличить фиалку от гладиолуса, — думал об алхимии, которая объединит его потомство и потомство этой женщины.

Алле очень понравилась дача, куда более обширная, чем двухкомнатная квартира в доме ГБ на Сретенке, где она жила с матерью.

— Вы знаете Сретенку, Александр Дмитриевич?

Он объяснил, что никогда не был в Советском Союзе. Она не поверила своим ушам.

— Но вы же замечательно говорите по-русски! У вас проskalъзывают некоторые устаревшие выражения, но все равно вы замечательно говорите...

— Вам не сказали, что я эмигрант?

Так они впервые коснулись обстоятельств их встречи.

— Я думала, вас вывезли маленьким.

Он было отпрянул; он испытывал ко второй эмиграции двойное отвращение: для советского в нем ее представители были предателями, для старого эмигранта, который тоже сидел в нем, они были невеждами. Он ответил:

— Я уехал до того, как появился на свет.

Она села на узбекский ковер, и они начали, несмотря на позднее время, говорить о себе, он неохотно, а она запросто. С поджатыми под себя ногами, она держалась свободно, не скованно. Рассказывала об учебе, о своих честолюбивых замыслах, которые, к счастью, сочетались со страстным желанием быть полезной.

— У нас женщины все могут. Может быть, когда-нибудь я стану генералом. А вы, — добавила она из деликатности, — маршалом. Хотите чаю? Или кофе? Вы же француз. Я готовлю.

Она пошла на кухню решительно и не без хозяйственной хватки. Она думала, что он добавит виски в кофе, но он отказался. Наконец они смогли открыто поговорить о своих отношениях. Она пила чай, снова сидя на ковре:

— Я пью чай правильно, но должна признаться: так и не смогла отучить маму пить чай вприкуску.

Он, растянувшись на диване, впервые вбирал в себя плотный дух кавказского коньяка и думал, что хороша все-таки французская культура.

Их объединяла любовь к родине и уверенность, что коммунизм победит во всем мире. Эта уверенность вызывала в Алле чувства, исключительно радостные и целомудренные: все будет, как в сказке, которая хорошо кончается. Для Александра все было сложнее, но он не меньше желал победы сил, на которые сделал ставку. Они договорились:

— Мы — служим.

Алла знала, что браки между работниками ГБ поощрялись, и не имела ничего против, чтобы выйти замуж за человека, которого ей представили как героя и которого она сама считала красивым, вежливым, приятным, умным, хотя и предпочитала более мужественных — не то чтобы в Александре была женственность, но и Гераклом его не назовешь. Что же касается заранее организованного брака, эта здравомыслящая девица приняла его так же спокойно, как до нее миллионы женщин в течение веков.

— Первые несколько лет, — сказал Александр, — мы не часто будем видеться.

Это его не очень огорчало. Пеленки вызывали в нем смесь страха и отвращения, и он даже радовался тому, что познакомится с сыном, когда тот будет нуждаться в мужском авторитете; в общем, когда с ним можно будет уже играть в оловянных солдатиков. Конечно, все это время он не увидит и Аллу: Питман не уточнил число встреч, на которые они имеют право, но даже предположив, что необходимость сохранять тайну вовсе исключит встречи, Александр знал, что сумеет выдержать разлуку. Со своей стороны, Алла будет терпеливо растить сына, ожидая завершения его задания и возвращения в семью. В этом плане ничего не изменилось со времен князя Игоря.

В эту ночь они спали раздельно. Александру, утонченному человеку, казалось, что целомудренный период помолвки, пусть совсем короткий, все же необходим. Если Алла сделала неблагоприятные для Александра выводы, она вско-

ре убедилась в их ошибочности. На рассвете они спустились к маленькому пляжу у подножья холма и голыми искупались. Затем он обнял ее, словно священнодействовал.

— Впервые я не чувствую, что совершаю прелюбодеяние.

— Потому что мы когда-нибудь поженимся?

— Нет. Потому что ты русская.

То, что она была русской, придавало акту любви новую суть: будучи ранее необходимостью или просто удовольствием, он теперь превратился в таинство. Презрение, которое он испытывал к своим любовницам (я пользуюсь тобой), уступило место почитанию (я полон тобой). Чувство, что он исполняет волю судьбы, упорядочивает мир, удваивало его силы. Он был удивлен, слыша, как шепчет слова любви этой малознакомой ему женщине. Однажды ночью он прошептал:

— Как будто я уже вернулся.

Свадьбы-сделки бывают иногда весьма поэтическими.

Алла была тронута нежностью и уважением человека, который был старше ее на двадцать лет. Она ожидала совсем другого; подружки рассказывали ей, посмеиваясь, о своих любовных похождениях, но ни одна не поведала ей, что мужчина может быть таким доверчивым и беззащитным. Она таяла от этой безоружности. Одновременно она говорила себе, что все было бы иначе, будь он настоящим большевиком, а не „бывшим”: отсюда его вежливость, его торжественность, чувствовавшаяся даже в порыве любви. Когда, много позже, она рассказывала подружкам, одновременно саркастическим и сочувствующим, о своем любовном опыте, она говорила, странно расширяя глаза:

— Он целовал меня, как икону... Ни одного похлопывания... Стучал, прежде чем войти в нашу спальню... И хотел знать, счастлива ли я. Мне кажется, настоящий мужчина не должен об этом думать. Невежливо это, да и какое ему до этого дело?

Но пока она была влюблена и бросалась в объятия Александра с радостью и страстью. Она звонко рассмеялась, когда он предложил ей на выбор двенадцать флаконов духов;

она смеялась, когда застала его за чисткой ногтей; она смеялась, когда он схватил ее на руки и бросил на клумбу гвоздики; она смеялась, увидев, что он плавает хуже ее; она смеялась, когда он сказал, что она неправильно делает пирожки и что революция погубила русскую кухню; она смеялась, когда он проявил несовершенное знание марксизма-ленинизма; она смеялась каждый раз, когда он заговаривал о будущем: сколько у них будет детей, как они их назовут, где они будут проводить отпуск. Она смеялась каждый раз, когда вновь и вновь читала в его взгляде желание; однако это он, не большой любитель смеха, чуть не задохнулся, когда однажды, прежде чем броситься в его объятия прямо на ковре, она, голая, подошла к портрету Дзержинского и повернула его к стене:

— Не хочу, чтобы старик на нас смотрел.

Но она заплакала, когда пришло время расставаться:

— Саша, я твоя.

Он проводил ее на вокзал, посадил в вагон, подарил цветы и коробку шоколадных конфет.

— Да, вот еще безделица.

В футляре был самый крупный бриллиант, какой она когда-либо видела. Она вновь расплакалась, на этот раз из благодарности.

— Я только выполнила свой долг. Не стоило меня так благодарить, — сказала она наивно сквозь слезы.

Он ответил, серьезный и вместе с тем до смешного расстроженный:

— Я благодарен тебе не потому, что ты выполнила свой долг, а потому что ты получила, может быть, удовольствие от этого.

Бриллиант, сказал Александр себе, покидая вокзал, ничего не значит. Вернувшись в Париж этот кооптированный подполковник Комитета госбезопасности купил перстень с печаткой, отнес его граверу и заказал воспроизвести на печатке герб Псарей, от вида которого содрогнулся бы любой западный специалист по геральдике: собачья голова и метла.

Он пошлет его Алле еще до свадьбы, как только родится сын.

Прежде чем окончательно засесть в своей берлоге и ждать там смерти, генерал-полковник в отставке Абдулрахманов поехал принимать в Сочи солнечные ванны. Там, через девять месяцев после югославской идиллии, он встретился с Питманом. Впервые подчиненный увидел у своих ног огромное, почти обнаженное тело своего начальника. Он был удивлен, обнаружив коричневый цвет его кожи (череп сохранил бледнооливковый оттенок), удобу ключиц, шеи — пришла мысль о трупe с содранной кожей в анатомичке.

— Мохаммед Мохаммедович, я сожалею...

Он чувствовал себя ответственным.

— Родилась девочка.

Генерал-полковник, подтянув свои красные трусы, поглядел в бесконечность. В открытом море шел парусник. Абдулрахманов процитировал Лермонтова: „Белеет парус одинокий...”

Затем начал что-то бормотать. Питман стоял около него, в мундире, в ботинках, полных песка. Поодаль тихо качали листьями пальмы.

— Плохи дела, Яков Моисеевич, эмалевый мой, совсем плохи.

Этот человек родился вместе с веком, служил во времена Ленина, Сталина, Маленкова, Хрущева и Брежнева, был под непосредственным руководством Дзержинского (смешен), Ягоды (расстрелян), Ежова (повешен на суку в психушке), Бери (ликвидирован), Семичастного (отстранен), Шелепина (отстранен) и Андропова (как этот кончит?). Он изобрел абсолютное оружие современности. Если напишут историю его жизни и деятельности, выяснится, что он был европейским Сунь Цзы. Этот человек, может быть, тайно владывал над миром. Питман, не дошедший до высших должностей в Управлении, мог только гадать об этом. И вот перед ним, оказывается, было всего-навсего большое коричневое тело, поджаривающееся на солнце.

Питман сказал:

— Конечно, они могут повторять операцию столько раз, сколько будет необходимо...

Но он знал, что его предложение не может быть принято: новая встреча была бы угрозой для успешного выполнения задания Александра, кроме того, неизвестно, способен ли он вообще иметь сыновей. А дочь вряд ли сможет удовлетворить его желание пустить корни.

Питман, вероятно, не осмелился бы прибегнуть к самому простому средству решения проблемы... Но для Абдулрахманова все было ясно: не зря он всю свою жизнь фальсифицировал действительность. У него было воинское звание, и он служил в органах безопасности, но по своему призванию был колдуном. Абдулрахманов закрыл глаза. Его широкая грудная клетка с четко обозначившимися ребрами, приподнялась, и из нее вырвалось на выдохе:

— Пусть будет сын.

Это был не столько приказ, сколько заклинание.

Будь это приказ, Питман не был бы обязан его выполнять: в принципе Абдулрахманов был уже в отставке. Но на том уровне, где они находились, не было, собственно говоря, иерархии, актива, резерва — было только Управление, которое покидали лишь после смерти (да и это еще неизвестно), было что-то вроде совета святых. И между этими святыми царило настолько полное профессиональное доверие, что Абдулрахманову даже в голову не пришло спросить, не узнал ли отец раньше его самого о рождении ребенка.

Сына лейтенанта Ермакова из Второго отдела регулярно фотографировали, а капитан Кузнецова получила точные указания относительно ее дальнейшей переписки с любовником. Разумеется, все ее письма поступали на одобрение к Питману. Она подчинялась без всяких угрызений совести. Бабушка воспитывала маленькую Екатерину; что касается Аллы, она начинала сердиться на этого господина средних лет, которого когда-то любила, но долго тосковать по которому считала обременительным.

Александр, как положено, дезинформированный о случившемся, пошел преклонить главу на могилу отца на Сент-Женевьев. Он сел, подставив обнаженную голову палящему солнцу:

— Теперь, папа, есть новый Дмитрий Александрович.

Он думал, что в некотором смысле уже исполнил последнюю волю лейтенанта флота: часть его самого уже вернулась на родину.

Глава 3

ОДИН ДЕНЬ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА

День в день ровно через тридцать лет после вербовки на башне Нотр-Дам Александр Псарь проснулся в своей квартире на одиннадцатом этаже шикарного дома в Сюре. Взгляд его еще не совсем осмыслился, как все существо интуитивно пронзила мысль:

— С сегодняшнего дня начинается возвращение.

Комната была просторной, прозрачные занавески создавали иллюзию стены из стекла, в мягком ковре нежно утопали пальцы ног, сочетание темно-синих и серо-бежевых тонов выдавало декоратора, которому можно довериться. Ни в спальне, ни в гостиной не было и следа мелких поправок, указывающих на несогласие хозяина с декоратором. Даже в ванной мыло без пены, расчески без застрявших волос и механическая бритва без щетинок указывали не на черты ха-

рактера хозяина, а лишь на то, что это человек со средствами, любящий порядок. То же самое с книгами в гостиной: как будто никто никогда не перелистывал выстроившиеся на полках полные собрания сочинений. Единственным предметом, не соответствовавшим общему фону хорошего вкуса, была большая электронная шахматная доска с фигурками из ценного дерева. Ее сигнальная красная лампочка регулярно мигала через определенные интервалы.

— Ты еще не нашел?

Александр спросил по-русски; он всегда говорил по-русски со своим ночным компаньоном-компьютером.

Он встал, оделся.

Решение было принято так давно... и он не собирался от него отказываться. И все же не так легко сорокадевятилетнему человеку изменить жизнь, вот так, сразу, будь то даже в мелочах. Там у него не будет этого благосостояния, этой непринужденности, не в материальном отношении — его обеспечат всем необходимым, — а в отношении привычки и знания окружающего мира. Он потеряет своего портного, к которому привязан (кстати, существуют ли там портные?), у него будет другая машина, свою не возьмешь из-за отсутствия запчастей. Вся сеть знакомств и связей, которую он терпеливо создавал годами, исчезнет, как паутина от взмаха метлы; надо будет начинать все сначала с людьми совсем другой породы, одурачивание которых не станет его заданием. Исчезнет некоторая независимость — до сих пор ему давали столько свободы движений, сколько он хотел. А теперь он сам будет просить, чтобы стянули узел. Он даже не знал, как будет переносить тамошний климат. Но все это было чепухой по сравнению с главным — нужно сделать то, что он решил тридцать лет назад.

Бреясь, он вспомнил странную сцену, произошедшую на высотах Нотр-Дам в один из пыльных дней того исключительно жаркого июня. Этот не был таким.

Когда он выходил из ванной, компьютер, перестав мигать, указал, что нашел наконец ответный ход.

— F6 — я так и думал.

Еще вчера вечером Александр нашел ответный ход:

— Теперь в твоём распоряжении весь день на размышление.

Он спустился в бетонный гараж. Он был привязан к своему автомобилю, к своей Омеге, которую недавно купил из юмористического символизма — двадцать пять лет назад у него была Альфа. Тогда он купил поддержанную Альфу, теперь же новенькая Омега, ровно дрожащая под его руками, не была для него серьезной финансовой обузой.

Он остановил на мгновение машину на пешеходной дорожке. Знакомая продавщица протянула ему в спущенное стекло „Эмпарсьял”. Все остальные утренние газеты он найдет на своем рабочем столе в бюро, но эту, которая принадлежала его „оркестру” (не зря „Эмпарсьял” означает „беспристрастный”), он любил просматривать за рулем в заторах. Правя, он искал правой рукой литературную страницу. „Эмпарсьял” еще не опубликовал статью о „Словаре диктатур”, и Александр, который добился издания этого труда благодаря запасным фондам издательства „Люкс”, не поленился позвонить главному редактору:

— Жан-Ксавье, выборы позади, вот-вот начнутся отпуска. Это — сегодня или никогда! Не будут же люди читать на пляже серьезно документированный труд. Вы должны были заметить, что словарь этот как раз по вашей части. Следовательно...

Жан-Ксавье де Монтины выдавал себя за левого, руководил газетой, считающейся правым листком, так что неизбежно путь его был зигзагообразным.

Его спрашивали:

— Как вам удастся это совмещать?

И он отвечал с великолепной наглостью:

— Я не совмещаю, я примиряю.

И он в это верил. Почти верил.

На упреки Псаря он ответил, вздохнув:

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Мы несем на своих плечах, вы и я, тяжкое бремя прошлого.

Это означало: говоря, что это „по моей части”, вы нанесли мне удар ниже пояса. Вы сами, как и я, являетесь отпрыском эксплуататорских классов.

Вообще-то Жан-Ксавье де Монтиньи был бы весьма огорчен, если бы забыли, что он является отпрыском эксплуататорских классов.

Но он дал честное слово, а будучи главным редактором, данное слово всегда выполнял. Как компенсацию за опоздание, статья о „Словаре диктатур” получила целый подвал. „Необычная формулировка, — писал Юг Минкэн, молодой и серьезный журналист. — В предисловии автор кодифицирует параметры диктаторских режимов. Например: подчинение судебной власти исполнительной, монопартизм, дискриминация, физическое воздействие во время допросов, юриспруденция, касающаяся свободы мнения как правонарушения. Словарь является и своего рода каталогом, в который вписаны тридцать три страны, могущих считаться, с точки зрения аавтора, диктаторскими. Никто не обязан соглашаться с его выбором, но невозможно не приветствовать его скрупулезный объективизм. В самом деле, всем обличенным режимам отведено одинаковое количество страниц (знаю, сам подсчитал). По этому поводу, нужно признать, что СССР получил сполна...”

Тень улыбки прошла по большому лошадиному лицу Александра Псаря. Замечательным в его профессии иллюзиониста было то, что всегда хватало подмастерьев, готовых с радостью перенять эстафету. К тому же, как это ни странно, искренних подмастерьев. Автор словаря верил в свою объективность, посвящая СССР — материальной и технической базе коммунизма, 240 миллионов жителей, с запрограммированной целью: навязать всему миру свою доктрину, — и Парагваю (3 миллиона жителей, цель: выжить) одинаковое внимание. Разумеется, Минкэн преспокойненько попал в ловушку, расставленную для него и ему подобных. В сущности, нужно всего лишь дать свободу действия минкэнам. Яков Моисеевич непременно процитировал бы Сунь Цзы: *Извлечь выгоду из ситуации так, словно сталкиваешь*

шар с крутого склона: приложенное усилие минимально, результат же — неизмерим.

И Александр со снисхождением подумал:

— Да ведь я снова увижу ласкового, хитрого Питмана.

В сердце его проснулась сдерживаемая в течение многих лет теплота.

Он продолжал перелистывать газету, мять страницы, распрямлять их ударами ладони, как вдруг в глаза бросился один заголовок. Александр стал инстинктивно выявлять истинную сущность автора. Было забавно обнаруживать работу коллег, которых он не знал и, вероятно, никогда не узнает — правила конспирации неумолимы; кроме того, будучи французами, они не пожелают „вернуться”. Но сегодня Александр не нашел в статье следов работы агента-проводника влияния. Он обычно находил их легко, что лишало удовольствие остроты.

Все же одна заметка привлекла его внимание. Речь шла о рукописи, носящей название „Русская правда”. Несколько листов попали в издательство „Муэт” в Риме. Автором был как будто узник камеры 000 в спецсикхтурьме Ленинграда, куда обычно сажали инакомыслящих. Анонимность автора, таинственность обстоятельств, при которых редкие листы, вырванные из рукописи, достигали Запада, а также их содержание — все это соблазняло прессу, которая окрестив автора „Железной Маской”, сделала его если не модным, то уж во всяком случае довольно известным. Действительно, были в судьбе этого человека без имени и личности, сидящего среди душевнобольных, подвергающегося насильственному лечению, весь ужас и жалость, необходимые не только для древнегреческой трагедии, но и для современной мелодрамы. Александр, правда, интересовался Железной Маской скорее из профессиональных соображений.

„Исходит ли это из нашего Управления? — думал он. — И если да, то какова цель этой операции?”

К сожалению, в газете не было текста последнего послания „Железной Маски”. Было только известно, что речь в нем шла о „наказанном колоколе”.

Агентство Александра Псаря было расположено на улице Вернэй, и арендный договор предусматривал право парковать автомобиль во дворе старого аристократического здания. Александр недолюбливал знаменитый левый берег Сены, где уж слишком нагло выглядела смесь культуры с торговлей, но ему нравилось подниматься по лестнице XVII века, едва ощутимые под ногами ступени которой возносили его до нужного этажа.

Маргарита, конечно, уже ждала его в приемной, выдержанной в лучшем обветшало-антикварном вкусе, украшенной серыми панно в стиле Трианон, внутренними ставнями, деформированными временем, великолепным, но небезопасным паркетом.

Маргарите было сорок лет, и она провела в агентстве половину жизни. Александр с отвращением вспоминал нелепых секретарш, менявшихся в течение первых лет в агентстве, еще носившем тогда название „Чистая Правда” и находившемся в двух комнатках для прислуги на бульваре Бомарше. Он тогда думал, что дело рухнет, и причиной была не парижская интеллигенция, которая, наоборот, бросалась на приманку, как акулы на кусок мяса, а финансовая сторона. Питман хотел, чтобы предприятие приносило доход, к которому Александр испытывал чисто военное презрение. Тогда Питман гениально заметил:

— По-вашему, не нужно вести дела роты или эскадренного миноносца?

И Александр в конце концов серьезно занялся делами, и даже получал удовольствие после какой-либо выгодной операции. Появление Маргариты совпало с финансовым процветанием дела, с его переездом в литературный квартал и превращением „Чистой Правды” в Литературное агентство Александра Псаря, что звучало гораздо солиднее.

— Все в порядке, Маргарита?

— Добрый день, месье.

Она всегда встречала его стоя и почтительно улыбалась.

— Почта еще не пришла. Вам звонил месье де Монтиньи: он хотел узнать, довольны ли вы.

— Будьте добры, свяжитесь с ним, мне нужно с ним поговорить.

Он прошел в свой кабинет, более продолговатый и узкий, чем приемная. Александр приказал содрать обшивку стен, и старые панно с ритмическим чередованием овалов и треугольников заиграли в тепло-розовом великолепии настоящего дерева. На лепном орнаменте карнизов можно было разглядеть следы слишком поспешной работы, сделанной три века назад.

Александр бросил на стол стиля ампира свой черный портфель, потом перчатки. Скоро он покинет всю эту декорацию, в которой жил с удовольствием, но которой не хотел удовлетворяться.

Первый взгляд он бросил на икону, которую повесил не в углу, как это принято, а, чтобы умалить ее значение, на стену. На иконе был изображен Спаситель в серебряном позолоченном окладе.

Александр обратился к Нему:

— Нужно было тогда помочь нам немного.

Это была его утренняя молитва.

Он сел в кресло, обтянутое английской кожей. Он получал удовольствие от отсутствия единства стиля в его кабинете. Диван был обтянут тоже красной кожей, абажур и портьеры были темно-зелеными, книжные полки — из красного дерева, дефект паркета скрывал кавказский ковер, на стене висели два черкесских ятагана, один маленький, другой большой. Так мог бы выглядеть кабинет его отца на Кавалергардской, если бы...

Александр пролистал записную книжку.

10.30: Мадемуазель Жозефина Пети. (Психоанализ террора.)

11.30: Месье Алексей Левицкий. Диссидент. (Есть идея. Отказался дать детали.)

13.00: Обед в ресторане „Виль де Петроград”. По приглашению месье „Диво”. Вы согласились принять приглашение.

15.10: Просмотр фильма „Топаз”.

Вы сказали, что к вечеру вернетесь.

Александр взглянул на часы, подписал два ожидавших его письма. Затем включил диктофон.

— Месье Валерию — Маргарита, обратите внимание на орфографию, проверьте по оригиналу — Мягкосердечному. Датировано сегодняшним днем. Месье. Рукопись „Декабристы“, запятая, которую вы имели прекрасную идею прислать мне, запятая, чрезвычайно меня заинтересовала. Нет. Без чрезвычайно. Просто заинтересовала. С абзаца. Я не думаю, запятая, что она подойдет к коллекции Белой Книги, запятая, о которой Вы пишете и которая посвящена актуальным проблемам. Но мне кажется, запятая, на первый взгляд, запятая, что она может выйти в коллекции Генезис Революций в том же издательстве. Точка. Вы знаете, запятая, что я руковожу... нет, не руковожу... что я... оказываю влияние на выбор рукописей, запятая, публикующихся в этих двух коллекциях. С абзаца. Я просто огорчен тем, запятая, что Вы описали героев Декабрьской революции — ладно, пусть Декабрьской будет с заглавной буквы — темными красками. Если верно, запятая, как Вы утверждаете, запятая, что они проявили трусость в тюрьме и ссылке, запятая, если, запятая, с другой стороны, запятая, их личные амбиции вдохновили их деятельность, запятая, то не было бы более достойным не описывать так подробно не лучшие стороны этих событий, запятая, вызвавших к себе такую волну симпатий. С абзаца. Не лучше ли бы было яснее подчеркнуть все несправедливости, запятая, которые эти молодые люди стремились устранить, запятая, а не возвращаться беспрерывно к их недостаткам, запятая, которые, запятая, согласитесь, запятая, не умаляют благородство цели. С абзаца. Наконец, запятая, мне кажется, запятая, что наказание — пять смертных приговоров через повешение! восклицательный знак — требует более драматичного описания. Хорошо было бы также уделить больше места самоотверженности женщин, запятая, последовавших за своими мужьями на каторгу. Ни к чему описывать условия жизни, комфорт, количество слуг и т. д. С абзаца. Я отсылаю Вам рукопись для переработки в надежде увидеть ее снова у себя в ближайшее время. С уважением... и т. д.

Загудел телефон.

— Месье, вас спрашивает месье де Монтиньи.

— Хорошо. А когда я закончу, соедините меня с мадам Бойс, — Александр взглянул на часы. Он постоянно время от времени смотрел на свои часы.

По обыкновению толстый Монтиньи был не в духе.

— Ну что, подходит? Я сделал что мог. Стараюсь всем угодить. — Это было правдой. — Кстати, я сам пролистал вашу книгу. Ужасно, правда? Гаррота в Испании. Мы живем в ужасное время.

— Я разделяю ваши муки, Жан-Ксавье. Станет лучше, когда переменится погода.

— Вам, может быть, — потому что голод в мире вас не трогает. Из трех человек два подышают, Александр, потому что им нечего жрать. Как хотите, а мне это мешает спокойно жить.

— Не будем обострять. Не слишком мешает.

— Послушайте, вы — казак, врожденный реакционер. Не ваша вина, что у вас нет сердца, а мы...

— Жан-Ксавье, я благодарю вас от всего несуществующего сердца. Минкэн хорошо поработал. В особенности мне понравилось, как он описывает политические психбольницы.

— Конечно, вы думаете только о советской тирании. Но есть и другие, и Минкэн был в высшей степени объективен.

Разговор закончился взаимным обещанием встретиться и пообедать до отпуска. Еще одна обуза.

— Вы доставите мне удовольствие, — добавил Александр, — если приведе с собой Минкэна.

Минкэн мог быть легко завербован, разумеется, чтоб он об этом не мог даже догадаться.

Маргарита равнодушно сообщила:

— Мадам Бойс на проводе.

Хамство, состоящее в том, что именно секретарша вызывала по телефону его любовницу, было нарочитым. Александр не сомневался в надежности Маргариты, но он привык отшлифовывать конспиративные методы.

— Жесика?

— А, это вы? — Явно голос курильщицы. Тут Питман допустил незначительную профессиональную ошибку...

— У вас все в порядке?

— Чудесно. Голова с перепоя болит. Вы смеетесь, хулиган? А ведь это по вашей вине.

— Не я заставляю вас пить.

— Нет, вы.

— Да я уже десять дней у вас не появлялся.

— Именно: я пью с горя.

— Недолго вам осталось страдать. Я могу зайти к вам сегодня вечером?

— Желание моего господина — закон.

— Мы с вами выпьем. Это замечательное средство, которое по-русски называется „опохмелиться”.

— Ну и слово! Принадлежать к народу, выдумавшему такой язык и кнут!

— Слушай, Жесика, ты не серьезно больна?

Он словно случайно перешел на „ты” и проявил внезапное беспокойство...

— Не волнуйся. Вечером буду в полной форме.

Александр повесил трубку. Свершилось, первый шаг, ведущий на Восток, был сделан, механизм завертелся. Внешне ничего непоправимого не произошло, но на деле процесс стал неумолимо развиваться.

— Возьму с собой ятаганы, — подумал Александр.

Маргарита принесла газеты. У нее были полноватые бедра и грудь, но походка была столь изящной, что любой мужчина, кроме ее патрона, заметил бы это. И она отлично одевалась (Александр платил ей довольно высокую зарплату), а главное, слава Богу, никаких брюк.

— Мадемуазель Пети пришла немного раньше назначенного времени.

— Как она выглядит?

— М-м-м... Двадцать семь лет. И по виду знает, чего хочет.

Александр потянул к себе большую папку из серого картона, на которой крупными красными буквами было написано: „Психоанализ террора”. Слишком чистая рукопись

указывает, что автор верит, что его книга обязательно будет опубликована, слишком уж неразборчивая рукопись — автор играет в непризнанного гения. Жозефина Пети не совершила ни одной из этих ошибок. Ее вычеркивания были сделаны толстым слоем так, что уже нельзя было прочесть оригинальный вариант текста. Рукопись начиналась так:

„Существует испытываемый и устанавливаемый террор. Они неравномерно связаны между собой, но не следует их путать. Устанавливаемый террор может исходить сверху, т. е. быть установлен деспотическим государством, или снизу, т. е. теми, кого называют террористами. Это две разновидности террора. Террор испытываемый может царствовать в низших слоях общества, как это происходит в тоталитарных странах; в декадентских либеральных режимах террор властвует в высших слоях общества...”

Ясность мыслей и изложения одновременно очаровали Александра и смутили его. Очаровали как любителя литературы и смутили как агента-проводника влияния. Жонглирование, которое было в сущности его профессией, предпочитало переплетение путаницы и тарабарщины. Он сам писал в одном из своих первых отчетов, когда уже считал себя теоретиком, но еще не был исполнителем: „Меня учили, что для покушения на свободу, нужно нападать на мысль, но я пойду еще дальше: чтобы напасть на мысль, нужно напасть на язык.

В самом деле, несмотря на удары массовых средств информации, мысль, в худшем случае, остается в безопасности в защищенной крепости индивидуального ума, в то время как язык, будучи всеобщим достоянием, уязвим, так сказать, на поле сражения. Ибо если мысль не находит для выражения достаточно сильный и ясный язык, она высыхает и погибает. Следовательно, нам нужно поощрять методы, ведущие к загниванию языка, на который мы нападаем, что неминуемо приведет к загниванию и мыслей. Для этого необходимо обрести как можно больший контроль над писательской средой, с одной стороны, и преподавательской, с другой”. В конце Александр со свойственным ему тогда юношеским задором изобрел хлесткую формулу: „Когда наши

противники станут безграмотными, станет ясно, что победа близка”.

Все же, несмотря на ясный язык мадемуазель Пети, Александр сказал себе, что „Психоанализ террора” мог бы иметь нужное влияние на публику. Как и в „Словаре диктатур”, автором был неосознанно использован метод „равномерного подбора”. У мадемуазель Пети было либеральное мышление, у которого сам принцип террора вызывал живейшее отвращение: стремясь разнообразить примеры террора, она географически и политически расплыла свое возмущение. В результате горстка греческих полковников, правящая в течение шести лет, казалась не менее опасной, чем интернациональная партия, насчитывающая миллионы членов и находящаяся у власти в России уже более шестидесяти лет. Кроме того книги, в названиях которых было слово „террор”, хорошо продавались, и Александр уже не отмахивался от таких деталей. Правда, по одному пункту Александр вынужден будет потребовать изменений: на этот счет имелись строгие указания Управления. Но он не видел в этом трудности: несмотря на все их фанфаронство, авторы по-настоящему желают только одного — быть изданными. Александр вспомнил, вздрогнув от отвращения, что сам когда-то хотел стать писателем. Какая вульгарность!

— Здравствуйте, мадемуазель. Мадемуазель, не так ли?

Она была маленького роста, немногим выше карлика. Брюнетка с короткими жесткими волосами, лицо квадратное с квадратными ноздрями, сильным ртом, не лишенным тонкости. Брови были густые, жесткие, черные умные глаза смотрели на мир с бескомпромиссностью. Мадемуазель Пети была странно одета (странно для Александра): кружевная блузка, длинная узкая джинсовая юбка, доходившая до голубых носков.

Он поднялся, протянул руку, усиленно стараясь изобразить симпатию и надежду на то, что, мол, мы пойдем друг друга. Она без улыбки смотрела на этого рокового человека, во власти которого решить, будет или нет принадлежать она к этому особому племени — издающихся писателей.

— Это ваша первая рукопись?

Сколько уже раз принимал он начинающих писателей, мужчин и женщин, и каких только не было: наглых, умоляющих, компанейских, суровых, в галстуках и декольтированных, играющих в уверенность или в скромность, отказывающихся от авторских прав и имеющих друзей среди академиков, не евших три дня, сумасшедших, тех, кто сразу внушает доверие, потому что знают, чего хотят от вас, а вы — от них.

— Да.

— Могу я полюбопытствовать, почему вы обратились в литературное агентство, а не прямо в издательство?

— Я не знала, что вы литературный агент. Я пришла к директору Белой Книги.

Он любил знать подробности и, хотя решение было им уже принято, не хотел отказываться от своих рабочих методов. Вдруг он задумался: „Что они сделают с агентством? Заменят меня или ликвидируют его?“

Александр снова сел. Затем встал, молодежавый, уверенный в себе.

— А, Белая Книга! Конечно.

Эта коллекция была его большой удачей. Он взглянул на книжные полки из красного дерева, на которых Белые Книги, издание за все эти годы, выстроились в боевом порядке (в прямом смысле слова).

Белая Книга о расизме.

Белая Книга об использовании естественных богатств Латинской Америки.

Белая Книга о Женщине.

Белая Книга о народном образовании во Франции (ставшая настольной книгой революционеров 1968 года, она принесла Александру кооптацию в ГБ и первое офицерское звание. Не в награду за неудавшуюся революцию, а за „практическое выведение из строя французских университетов и лицеев“ приблизительно на время, равное жизни одного поколения).

Белая Книга о неоколониализме.

Белая Книга о французской армии.
Белая Книга о католической церкви.
Белая Книга о тайных полициях.
Белая Книга о тюремной системе во Франции.
Белая Книга о ЦРУ.
Белая Книга о возрождении нацизма.
Белая Книга о гонке вооружений.
Белая Книга о концентрационных лагерях в мире.
Белая Книга о ядерной энергии.

Он взял одну наугад: это была не слишком большая, тяжелая, компактная книга с белой обложкой, на которой черными латинскими буквами выделялись название и имя автора. Можно было подумать, что это государственное издание. Быть опубликованным в этой серии означало, как говорили, получить пропуск для проникновения в так называемую серьезную прессу или политические клубы, а оттуда уже, разумеется, в высшие бюрократические круги. Сколько авторов продали бы душу дьяволу, лишь бы прочесть свое имя на этой известной обложке матового цвета, вышедшего из моды! А сколько ее уже продали! Александр бросил толстый томик на стол и облокотился о стол.

— Поймите, мадемуазель, Белую Книгу на базе первой рукописи...

— Какое это имеет значение, если она хорошая?

Беседовали они долго, он воздвигал одно препятствие за другим, затем убирал их. Эта девица, говорил он себе, не годится для работы посредника: в ее суждениях слишком много независимости. В ней было равномерно равновесие гордости и смирения. Конечно, он может отказать ей. Но тогда она отнесет рукопись кому-нибудь другому, и тот другой получит всю выгоду от книги, а главное, она будет издана без нужной ему поправки.

Она, глядя на него, не выглядела обольщенной или отталкиваемой его внешностью, которая была весьма необычной. Отлично сложенный, он казался выше, чем был на самом деле. Его густые вьющиеся волосы подчеркивали энергичность длинного костлявого лица, придавали ему лишенную грубо-

сти мощь, как это бывает у чистокровных скакунов. Под впечатлением о нем говорили: „Сразу видна порода”. Или более скромно: „Да, он что надо!”. Одевался он со старомодной элегантностью, одновременно броско и сдержанно: темно-серые костюмы, почти темно-коричневые или же почти сиреневые, всегда с плечиками и всегда застегнутые на все пуговицы. Иногда на нем был жилет, белая рубашка с накрахмаленным воротничком, тяжелые золотые запонки. И при этом отличная спортивная форма: он регулярно посещал спортзал.

— Так что, месье, да или нет?

Он не любил, когда его торопили.

— Я не отрицаю, мадемуазель, что ваш труд хорошо написан и отлично документирован. Быть может, в нем слишком много теории для читателей Белой Книги, которые больше привыкли к фактам. Могу я узнать, какая у вас профессия?

— Я преподаю математику.

— А! В таком случае у вас, очевидно, нет особых причин настаивать на слове „психоанализ”. Да и все наши названия... Пусть будет Белая Книга о терроре.

Она подумала:

— Вы правы: слово „психоанализ” может ввести в заблуждение.

— Хорошо. Я передам вашу работу нашему художественному совету (такового не существовало). Да, вот еще. (Он счел, что вселил достаточно надежды, однако, без окончательной уверенности, чтобы заговорить об интересующем его важном пункте.) Вы посвятили много места тому, что называете ленинским террором. Книга только выиграет, если вы замените это выражение „сталинским террором”.

— Почему? — Взгляд черных глаз стал более жестким: — Это Ленин сказал, что террор есть метод правления, и это он считал, что с политическими врагами нужно обращаться как с „вредными насекомыми”. Это он советовал Горькому не хныкать и не жалеть „гнилую интеллигенцию”. Это он писал народному комиссару юстиции, что необходимо

как можно шире применять расстрелы. А Владимир Буковский писал, что Сталин и его ужасы прямое последствие, органическое, можно сказать, ленинских идей, самой идеи социализма. Ведь не случайно именно Ленин стоял во главе партии. Я все это доказываю в своей книге и подтверждаю цифрами.

Она указала на рукопись.

— Я это знаю, мадемуазель, но вас ведь в первую очередь интересуют не люди, а принцип. Поэтому было бы предпочтительнее использовать более обиходное прилагательное.

— Не вижу причин называть сталинским террор, организованный Лениным.

Александр не мог раскрыть истинной причины, сказать, что существует указание Управления: „Отдаем Сталина на растерзание, валите ему на голову столько дерьма, сколько хотите. Но Ленина — не трогать! На Ленине не было и не будет ни пятнышка”. По этому поводу Питман говорил со своей добродушно-хитрой улыбкой: „Одним из выдающихся изобретений моих предков было изобретение метода козла отпущения”.

— Мадемуазель, средний западный читатель видит в Ленине освободителя, а не тирана. Что касается меня лично, — он бросил выразительный взгляд на икону и ятаганы, — то вряд ли меня можно заподозрить в снисходительности к разрушителю цивилизации, наследником которой я являюсь. Между тем, я вынужден признать, что Сталин уничтожил больше людей, чем Ленин.

— Потому что он оставался у власти тридцать один год, а Ленин — всего семь.

— Да, но вы не сравниваете оба террора. На деле вы просто хотите сказать „большевистский террор”, который принято называть сталинским.

— Я хочу сказать: террор, организованный вождем большевиков. Вещи нужно называть своими именами.

Обычно Александр удачно справлялся с оппозицией — топил ее в банальщине и в добрых намерениях. Но с этой девичей ничего не получалось. Он сухо ответил:

— Вы убеждаете убежденного, но издатели скажут вам, что слова „ленинский террор” вызовут нападки прессы и снизят продажу книги.

— А если я им отвечу, что мне все равно?

— Они вам скажут, что им-то это — не все равно.

Александр положил руку на синюю папку так, словно хотел вернуть рукопись.

Мадемуазель Пети поднялась, подошла к окну. Другие авторы в подобных обстоятельствах пытались скрыть происходившую в них борьбу. Она — нет, она крепко сжала локти руками и пристально рассматривала снующих двумя этажами ниже антикваров и букинистов, даже спина выдавала напряженное размышление.

— Согласна. Пусть будет „сталинский”, — она резко повернулась.

— Вы предпочитаете „сталинский” — „сталинистскому”? Как хотите. Я вам дам знать, как только художественный совет примет решение. Вы можете оставить мне свой адрес?

Этим обычно занималась Маргарита. Почему ему понадобилось записать адрес мадемуазель Пети в свою записную книжку? Быть может, предвидя скорый отъезд, он хотел ускорить выполнение уже принятых решений? Лихорадочность последнего задания? Он решил тщательнее следить за собой.

Она вышла, не улыбнувшись. Странные они, эти современные молодые люди, претендующие на легкость и раскованность, а на деле чувствующие себя в жизни, как не в своей тарелке. Вероятно, нельзя безнаказанно отбрасывать традиции и вытекающий из них образ жизни.

Затем Александр принял месье Левицкого. Это был толстогубый молодой человек в очках с позолоченной оправой. Он начал аудиенцию с болтовни о знании, вернее незнании, Западом всего, что касается, как он выразился „русско-советской темы”. Его наблюдения были неглупыми, но плохой

французский язык, на котором он излагал их, раздражал Александра.

— Мы можем говорить по-русски, если вам это удобнее.

— Нет уж, спасибо. Ваш троглодитский русский с его „превосходительствами” и „глубокоочтимыми” я считаю устаревшим, лучше будем беседовать по-французски, на языке, на котором я говорю с удовольствием. Понимаете ли вы, что Запад создал русско-советский миф, который мы должны доить? Вы знаете, что я имею в виду?

— Нет. Сожалею, но совершенно не понимаю.

— Не прикидывайтесь дурачком. На Западе вообразили, что в России ничего не меняется. Ничего, оказывается, не произошло ни в 1917, ни в 1905, ни 1861. Все та же конспирация. И у меня есть относительно этой конспирации замечательная тема. Я пишу по-французски. Если хотите, можете найти кого-нибудь для обработки текста, в конце концов платите ведь вы.

— Месье Левицкий, вы должны сначала понять, что я не издатель...

— Я знаю, чем вы занимаетесь. Вы получаете определенный процент. Но я подсчитал, что это оправданно, ибо вы знаете все ходы-выходы.

Александр взглянул на часы.

— Да, так что же это за тема?

— Я ее запатентовал, так что могу вам ее спокойно выложить. Можете проверить. Так вот, вы, конечно, думаете, что знаете, что произошло 22 декабря 1849 года в семь часов утра?

— Не имею ни малейшего представления.

— И вы еще себя считаете специалистом по литературе! У нас последний школьник вам скажет, что в этот исторический момент Федор Михайлович Достоевский был привязан к столбу для казни, но казнь была заменена каторгой и он прожил еще после этого сорок два года. Но этот последний школьник — ошибается. Достоевский был задушен в своей камере, и его место занял агент Охранки. Это ему генерал Ростовцев объявил, заикаясь, что царь его помиловал. И это

он, чтобы затем оправдать свою политическую метаморфозу, пробыл на каторге четыре года. Это он написал такие прославляющие царский режим произведения как „Бесы”, „Дневник писателя” и т. д. Заметьте, эти произведения резко отличаются от „Бедных людей”, „Неточки”, „Белых ночей”, написанных настоящим Достоевским.

— Но позвольте, а как же свидетельство Герцена, который, если не ошибаюсь, присутствовал...

— Выбрали агента, похожего на Федора Михайловича.

— А как же его семья? Его брат Михаил...

— У Михаила были долги: его заставили молчать.

— И, значит, этот агент был гениальным писателем?

— Почему же нет... А Марло, Бомарше, Грин... Ясно, Никитай не выбрал безграмотного.

— Предположим. А что же вы, месье Левицкий, намерены написать на эту прекрасную тему? Памфлет, подрывающий контрреволюционный авторитет Достоевского или исторический роман вроде „Монте-Кристо”? Диссертацию?

Позолоченные очки заблестели, пухлые маленькие руки раскрылись в выразительном жесте:

— На выбор.

— У вас достаточно материала, чтобы...

— У меня есть все необходимое. Конечно, на границе у меня украли царские архивы, которые я конфисковал в Ленинской библиотеке и в некоторых монастырях. Но у меня остались мои записи, и кроме того, память у меня феноменальная.

Левицкий лгал, не надеясь, а может быть, желая, чтоб ему поверили. Не все ли равно? Архивы, если нужно, можно сфабриковать и „вернуть” ему „под давлением международного общественного мнения”. Малейший удар, нанесенный по престижу Достоевского, мог быть полезен. Идея сама по себе хорошая, но может быть, следовало бы подsunуть ее какому-нибудь французу, который, поверив, что архивы настоящие, сделает работу гораздо лучше, чем Левицкий. Да, следует сказать об этом деле Ивану Ивановичу. Даже если из этого ничего не выйдет, идея позабавит Питмана.

Пообещав подумать, Александр проводил Левицкого. Тот не забыл предупредить:

— Не думайте слишком долго. Вы не единственный литературный агент в Париже.

Затем Александр продиктовал еще два письма, снова посмотрел на часы. Ему не хотелось обедать с Диво, но он не мог ему отказать. Сменив свои замшевые туфли на пару черных ботинок, он уже собирался выйти, как в дверь просунула голову Маргарита:

— Месье, мадмуазель Пети просит вас на минуту. Я ей сказала...

— Я уйду, но...

Мадмуазель Пети едва ли не под рукой Маргариты проскользнула в кабинет. Большими шагами, насколько ей позволяла узкая юбка, она подошла к столу, поспешно схватила синюю папку, крепко прижала ее к груди и, немного успокоившись, выставила свой маленький квадратный подбородок:

— Месье, я передумала.

И быстро вышла.

Александр и Маргарита переглянулись. Какая муха ее укусила? А впрочем... Авторы — все сумасшедшие, и те, кто с ними имеют дело, к этому привыкли. Тут взгляд Маргариты остановился на черных ботинках Александра. И она поняла, что он врал, когда говорил, что вернется в кабинет после обеда: выйти вечером не в черных ботинках — да он бы лучше застрелился. Раз уж он переобулся, значит из кинотеатра пойдет прямо к любовнице.

В ресторан „Виль де Петроград” Александр пришел вовремя, но Диво его уже ждал. Диво ничего не мог делать так, как делают другие. Например, он приглашал Александра один раз из двух, а ведь будучи автором, мог вполне, когда им приносили счет, поглядывать куда-нибудь отсутствующим взглядом. Правда, эти два франко-русских существа испытывали друг к другу живейшую антипатию еще с тех

времен, когда они вместе учились в лицее. Да и встречались они только для обсуждения литературных планов, которые никогда не осуществлялись.

— Блины, икра, идет? Мне, правда, больше нравится красная, но если ты предпочитаешь черную, то, как говорится, действуй. Водку будешь или у тебя на старости портится вкус?

Диво не менялся. Все те же шуточки, все та же кривая улыбка, все те же беспокойные романы, те же полу-успехи и таинственные доходы.

— Как там твои подопечные? О чем следующая Белая Книга?

— У меня их две. Одна о Боге, другая о полиции.

— Ничего себе компания! Полиция — это для того, чтобы подготовить чистку, да? А Бог, он-то что тебе сделал?

Иногда Александру казалось, что Диво раскусил его и открыто насмехается над ним. Иногда, наоборот, он думал, что Диво отвратительно простодушен.

— Белая Книга о Боге будет, вероятно, самой интересной из всех. Жанна Буйон и Патрис Дюгест сделали отменную работу по рассеиванию мистификации.

Диво присвистнул.

— Развеять миф о Боге? Ты не находишь, что это наивно. Нет, нет, мадмуазель, целый графинчик: за кого вы нас принимаете?

— Почему наивно? Я уверен, что книга будет хорошо принята частью духовенства. Все больше и больше священников считают, что рай может быть создан на земле.

— В таком случае нужно признать, что в инквизиции было много хорошего. Для меня попытка развеять миф о Боге — верх снобизма и наивности одновременно. Ладно, у меня нет подобных амбиций, но есть одна тема для романа, которая могла бы тебя заинтересовать. Для этого я и просил тебя прийти. Выпьем.

Они осушили свои стопочки как знатоки, откинув голову, но почти не поднимая локтя, только резким движением запястья.

— Диво, у тебя есть издатели.

— Да, но имея в виду Великий Страх двухтысячного года, приближающийся гигантскими шагами... Самокаждение будет заменено самоцензурой... Есть у меня, как ты говоришь, издатели: для каждого романа новый. И это не неверность с моей стороны, скорее, с их стороны осторожность. Я думаю, ты мог бы направить меня к какому-нибудь смельчаку. Я знаю, что ты в Париже у всех на виду и все такое, ты то, что я называю переспелым сыром, но твой отец все же служил под стягом Святого Андрея: следовательно, ты не можешь быть до конца испорченным. Выпьем за стяг.

— Переспелый сыр? Что все это значит?

— Прости. Нет, ты лучше перспелого сыра. Скажем, то-кайское вино: знатная гниль, — ты ведь понимаешь. Но дело не в этом. Хочешь, я расскажу тебе мой сюжет?

— Будь добр.

Они разговаривали, как во времена отрочества, на забавной смеси русского и французского. Кроме того, Диво дурачился, произнося русские слова на французский лад, а французские — на русский.

— Это, видишь, политическая фантастика. Представь страну, допустим Конфедерацию Путаных Коммун, которая стремится осчастливить весь мир, дав ему свой политический режим. И представь другую страну, стратегическое положение которой чрезвычайно важно для осуществления этого плана: назовем ее Галатией. В течение пятидесяти лет Конфедерация покровительствует, угождает и финансирует, подталкивает вперед Путаную партию Галатии. Но галаты, как бы ни были они легкомысленны, не дают этой партии на выборах больше 15%. Кроме того, вследствие определенных факторов популярность путаников падает с каждым годом.

— Каких факторов?

— Один писатель, изгнанный из Конфедерации, публикует книги об ужасах существующего там террора. В общем, он не открывает ничего нового, но ему удастся быть услышанным, а это — главное. Группа философов, бывших путани-

ков, начинает работать против режима. Международное положение вынуждает Конфедерацию вести военные операции в разных точках планеты, что шокирует простаков, а их — всегда большинство. Короче, эти 15% падают до 14, 13... и руководителям Конфедерации становится ясным, что, если демократия останется всесильной, они никогда не победят в Галатии.

— Ну?

— И мудрые головы Конфедерации разрабатывают следующий план. Они ставят во главе Путаной партии Галатии этого разгневанного шута, который каждым своим телевыступлением наносит очередной удар популярности партии. Теперь это уже 12%, 11, 10,5... Результат двоякий: с одной стороны, „путанизм”, который еще недавно ввергал буржуа в ужас, вызывает у них смех; а с другой стороны, популярность другой левой партии, назовем ее Эклектической (ты ведь знаешь, что путанизм есть лишь особое состояние эклектической мысли), резко возрастает. Приближаются выборы. Чтобы быть уверенной, что президент страны не будет переизбран, Конфедерация заявляет, что желает его победы — это, разумеется, лишает президента определенного количества правых голосов. И в результате на выборах с триумфом побеждает кандидат от Эклектической партии.

Дадим этому кандидату фамилию Пушкин. Это — авантюрист средней руки. О нем мало что известно, разве что он время от времени организует покушения на самого себя. Что он делает, став президентом? Он милует убийцу полицейского. Правые простофили потирают руки: Пушкин настроил против себя полицию. Они не понимают, что моральный упадок полиции дестабилизирует республику и, следовательно, облегчает подрывную деятельность в стране. Вторая акция Пушкина: эклектики получили большинство в высшем законодательном органе страны, а путаники — наименьшее количество голосов за всю их историю: под предлогом обретения контроля над Путаной партией президент назначает четырех министров из этой партии, и на деле реабилитирует ее одним махом. Чувствуешь тонкость маневра:

партия считалась серьезной и опасной, ее осмеяли и свели на нет, но Пушкин этими четырьмя министрами вернул ей ее вес, не считаясь с волей 90% населения страны. Да здравствует демократия. Пушкин идет еще дальше: он начинает играть в националиста и как бы отходит от путаников. Поэтому посты, которые он дает представителям этой партии, вовсе не Министра внутренних дел или Министра обороны. Это незначительные как будто министерства, среди которых — министерство транспорта; разумеется, в кризисной ситуации человек, контролирующий транспорт, держит в руках всю страну.

Третья акция Пушкина касается только терминологии, но она ярко раскрывает преследуемую им цель. Видишь ли, Галатия обладала прекрасно функционирующей административной системой, состоящей из уважаемых чиновников, называемых преторами. Так вот Пушкин не только ограничил их полномочия, что неизбежно привело к увеличению беспорядка в стране, но и дал им новое, типично путанистское звание, отрицательно звучащее для большинства населения. Он назвал их... скажем, инквизиторами.

Следующая акция: в то время как две трети галатов требуют восстановления смертной казни, эклектик Пушкин, открыто идя против воли народа, отменяет ее. Цель одна: поколебать авторитет власти. Но этой цели никто не видит, ибо Пушкин сам является представителем этой власти.

Пятая акция, если не ошибаюсь: в Галатии существовал спецтрибунал, занимающийся преступлениями против государства, то есть против общества. Как ты догадываешься, Пушкин поспешил его упразднить.

Шестая акция: так как национальная денежная единица Галатии достигла завидной стабильности, Пушкин ее девальвирует, не считаясь с интересами собственной страны и международными договорами.

Седьмая и пока последняя акция... А, эта акция для писателя наиболее плодотворная и вдохновляющая! Пушкин сознательно саботирует галатскую атомную промышленность. И не для всеобщего разоружения нации, а для того,

чтобы Галатия стала зависимой от Конфедерации, которой выгодно продавать излишки своего колониального газа, а главное, контролировать энергетику страны, стратегическое значение которой имеет мировое значение. Эта последняя акция, мой дорогой, является тем, что философы называют первопричиной всего маневра. Ну что, Алек, как ты находишь сюжет моего романа?

Александр мягко ответил:

— Диво, романы без героев плохо продаются.

Диво расхохотался:

— Да ты ничего не понял. Мой герой — это Пушкин. Выпьем за Пушкина. Пушкина, которого читатель знает сизмальства, в которого он перевоплощается, за которого беспокоится, с которым бродит по склепам великих предков, с которым делит муки эстетических операций, вместе с которым прикарманивает постколониальные прибыли, бок о бок с которым доводит Галатию до безысходной керенщины!

Диво, смеясь и продолжая пить, впился взглядом в темно-коричневые глаза Александра и пытался угадать его мысли.

— Ты хочешь сказать, — медленно произнес Александр, — что Пушкин тайный агент?

Они не отрываясь смотрели друг другу в глаза. Диво улыбался краешком губ. Александр почувствовал поднимающуюся в нем слепую ярость, свойственную людям, постоянно заглушающим в себе настоящие чувства.

„Жаль, прошли старые добрые времена. Я бы знал, куда и кому доложить о тебе, дружок. Не то чтобы ты был опасен, просто раздражаешь меня в высшей степени”.

А все же, кто знает? Возможно, он много бы дал в этот момент, чтобы быть Диво, а не самим собой.

Вслух он равнодушно сказал:

— Я не знаю, публикует ли „Секунда” фельетоны: там у тебя был бы шанс. У издателя — сомневаюсь. А может... все может быть. Кто знает, может, на этот раз ты откапашешь свой бестселлер. Как ты назовешь свою политическую фантастику?

— Я думаю „Военное действие”.

— Красиво.

Слово „война” напомнило Александру то, что он сказал Питману тридцать лет назад: „Но я хочу воевать”.

„Не беспокойтесь, будете”, — ответил Питман, и его глаза за маленькими круглыми очками заискрились.

Для чего нужна была Диво эта встреча? Они расстались, а Александр так и не понял. Может быть, этот полунеудачник действительно рассчитывал, что агентство Псаря поможет ему издать эту белиберду. В школе, Алек помнил, Диво был одновременно блестящим и простодушным мальчиком.

День был не из самых лучших для Александра, особенно если учесть, что это был первый день „возвращения”. Сначала эта дура, потом этот иронический свидетель всей его жизни... Неважно: впереди был счастливый час.

Он вошел в свой любимый кинотеатр на Елисейских Полях. Шел „Топаз” Хичкока. Он видел его уже два раза. Сел у двери. Прошло пять минут. В зал никто не вошел. Александр встал, направился к запасному выходу и оказался на маленькой кривой улочке. Посидев пять минут на террасе первого попавшегося кафе, он спустился в метро. Когда поезд тронулся, прыгнул, подождал следующего и повторил ту же процедуру. Прибыв на вокзал Сен-Лазар, он был более или менее уверен, что за ним нет слежки, но тем не менее принял еще меры предосторожности: он купил билет в Версаль, хотя ему нужно было в Понтуаз, и вскочил в поезд в последнюю минуту. То, что ему нужно было сделать, касалось его одного, и он испытывал удовольствие использовать против своих хозяев, которых считал способными следить за ним, приемы, которым они же его обучили.

В газете „Голос”, купленной на вокзале (она принадлежала к его „оркестру”), полстраницы было посвящено статье Жанны Буйон „Разоблачить тайну Железной Маски”. Посредине страницы жирным шрифтом значилось: „Нака-

занный колокол. Отрывок из тайного труда анонимного узника”.

Александр начал со статьи. Жанна Буйон была, без всякого сомнения, „резонирующим ящиком”, усилителем, вдалбливающим без устали французам то, что он, Александр, решил — вернее, что ему приказали — им внушить. „Нас беспокоит популярность Папы, его утверждение о первичности духовного. Нет ли у вас какой-нибудь идеи на этот счет?” — так говорил Александру приставленный к нему офицер-попечитель. И Александр, пригласив как-то Жанну Буйон пообедать, говорил ей:

— Жанна, я думаю о вас как об авторе Белой Книги. Думаю, вы без труда поставите Господа Бога на свое место.

Но на этот раз мадам Буйон явно проявляла инициативу. У Александра не было причин ей в этом мешать, она не была обычной пропагандисткой, и польза от нее была прямо пропорциональна свободе ее действий. Но все же было бы не лишним следить за качеством ее работы.

„В течение уже многих лет анонимный узник камеры № 000 спецпсихбольницы, находящейся на улице Арсенала в Ленинграде (СССР), пересылает на Запад — каким образом? — блестящие политические заметки, позволяющие приравнивать его к Солженицыну или Зиновьеву. Может быть, у него даже есть преимущество по сравнению с этими двумя блестящими инакомыслящими — он предлагает позитивные решения советской неразберихи, вместо того чтобы погрязнуть в хулении настоящего или восхвалении прошлого. Его записки, вероятно, являются отрывками важного труда, носящего название „Русская Правда”. Разумеется, возникает вопрос, где находится этот труд и каким образом психиатры и палачи режима (в данном случае это одно и то же) не сумели еще наложить на него руку. Так возникла легенда вокруг того, кого пресса назвала Железной Маской. Восхитительный персонаж, безусловно, но тем более важно выяснить в конце концов, кто же он такой.

Прежде всего, стоит ли воображать какие-то невероятные тайники, где спрятан труд? Возможно, что его и не существует на бумаге: он полностью зарегистрирован в недожженной памяти узника, откуда и пытаются его извлечь. Мы знаем от Солженицына, какой необыкновенной может быть память заключенного.

Тогда возникает вопрос: кто он, эта романтическая Железная Маска?

Г-н Энцо Груччи, стоящий во главе римского издательства „Муэт-та“, специализирующегося на издании материалов Самиздата, утверждает, что знает обо всем этом не больше читателей, хотя именно его таинственный узник выбрал своим адресатом и переслал ему с 1975 года все семь опубликованных до сих пор посланий. Два недавних эмигранта, отсидевшие в зловещей спецпсихбольнице, подтвердили существование отдельной камеры, носящей номер 000, в которую имеет право входить только не принадлежащий к персоналу больницы психиатр гигантского роста. Они подтвердили, что в этой камере сидит узник, которого никто никогда не видел и которого называют Железной Маской — Александр Дюма, оказывается, знаменит и за железным занавесом. Кроме гиганта-психиатра, в камеру также имеют доступ два санитары, редко появляющиеся на других участках больницы.

Между тем по психушке ходят слухи, что в камере № 000 стоит шикарная мебель, над ней торчит телевизионная антенна; кто-то видел, как один из санитаров, почистив ковер, отнес его в камеру этого узника-невидимки; часто из камеры доносится классическая музыка; от еды, которую приносят узнику, исходит запах, не имеющий ничего общего с запахом, распространяемым пищей, которую получают все остальные пациенты.

Сопоставим эти наблюдения с рядом других фактов.

13 июля 1971 года некий Михаил Курносов (родился в 1926 году в Костроме), переодевшись в милиционера, открыл огонь по автомобилю, в котором, как он думал, находился Брежнев. В действительности Брежнев сидел в другом автомобиле, и в результате покушения был только легко ранен водитель. Курносов был арестован, и весь мир ждал, какая же чудовищная кара постигнет этого несчастного... Несколько позже стало известно, что Курносов был передан для обследования в Институт им. Сербского в Москве. Репутация этого института не нуждается в пояснении: это научно-опытная лаборатория чудовищной Лубянки.

Курносов был посажен тогда в одиночную камеру, находящуюся в ведении изолятора Четвертого отдела. Так как психиатры дали заключение, что только сумасшедший мог посягнуть на жизнь благодетеля всего человечества, то Курносов не предстал перед судом и, следовательно, избежал расстрела. Но что с ним произошло потом? Западные журналисты не раз задавали этот вопрос. Московский сфинкс хранил молчание.

А ведь — и это, может быть, основное — выписки из психиатрической экспертизы, опубликованные в прессе, гласили, что „Михаил Курносов страдает параноическим психозом и доктринальной манией. Одно из отклонений от нормы заключается в том, что он воображает себя создателем политической доктрины, цель которой — установление идеального политического строя в одной стране, что, как известно, полностью противоречит концепциям истинной марксистско-ленинской идеологии, носящей интернациональный характер”.

Так в чем же дело? Почему же все более и более упорные слухи, исходящие из хорошо информированных кругов, не могут быть ясными и определенными. Почему заключенный камеры № 000 не может быть Михаилом Курносовым?

Действительно, нельзя не удивляться, по какой причине советские власти опекают таинственную Железную Маску, вместо того чтобы отправить его гнить в Сычевку, если уж никто не осмеливается организовать его убийство „при попытке к бегству”. Если же Железная Маска и есть Курносов, то причина может быть следующей.

Все больше и больше очевидцев убеждают нас в том, что СССР единственная страна в мире, где никто уже не верит в марксизм-ленинизм. Это должно чрезвычайно беспокоить номенклатуру, которая тоже не верит, но не хочет терять свое теплое местечко. Поэтому весьма возможно, что высшие номенклатурные чины создали сверхсекретное политбюро и поручили ему разработать новую доктрину, предназначенную заменить в нужный момент разоблаченную коммунистическую. И в этой тайной политической лаборатории готовят место весьма оригинальному мыслителю Михаилу Курносову.

Гипотеза существования такой „шарашки” (тюрьма-лаборатория для мыслителей, сходная с тюрьмами-лабораториями для ученых, о которых мы знаем благодаря Солженицыну) логично объясняет, почему скорое на расправу правосудие не покончило с тираноубийцей-неудачником”.

„Не думаю, что объяснение так просто, как думает Жанна, — подумал Александр, — особенно если в этом деле замешан Питман”.

Плоский стиль, которым так гордилась Жанна Буйон, всегда раздражал Александра. Но на этот раз он почувствовал еще и зашевелившуюся в нем профессиональную зависть, в которой предпочитал себе не признаваться: „По какому праву этот „резонирующий ящик”, зависящий от него,

повторяет слухи, исходящие от „хорошо информированных кругов”, о которых он сам никогда и не слыхивал? А, все равно. Скоро он „возвращается”.

Он прочел послание в рамке: перевод с итальянского на французский.

ЧТО ДУМАЕТ РУССКАЯ ПРАВДА О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? или НАКАЗАННЫЙ КОЛОКОЛ

В былые времена колокола церковей благословлялись, их покрывали елеем. Пока они были послушными, их почитали. Если они начинали себя плохо вести, пеняй на себя, тетка, становись под порку.

Маленький царевич Дмитрий был зарезан в Угличе в 1593 году. По-видимому, это Бориска Годунов подослал своих людей с ножами. И можно почти поверить в то, что большой колокол Углича стал сам бить в набат: „Злодейство! Злодейство!”

Борис рассердился. По его приказу колокол был снят, спущен и высечен розгами. Ему отбили ушко, как отрезали бы человеку, и сослали в Сибирь, в Тобольск. Он звонил сначала на рыночной площади в соборе Спаса Всемилостивого. Затем он отсчитывал часы на колокольне собора Святой Софии, и насчитал много. Приблизительно два миллиона двести сорок две тысячи пятьсот шестьдесят часов.

В году 1849 угличане решили, что колокол достаточно наказан и попросили его вернуть.

Впрочем, прежде всего нужно было доказать, что действительно угличский колокол отсчитывал время своей ссылки в Тобольске. И только после этого амнистированный колокол смог вернуться домой. Он вернулся 20 мая 1892 года, три века без одного года после приговора. 21 мая – готово! Он вновь, голубок, звонит перед собравшимся народом на своей родной колокольне.

Это история судебной ошибки. Но допустим, что – нет.

Без удалой тройки не было бы русской души. А без колокольников не было бы тройки. Их называют валдайскими колокольчиками. Почему?

Великий Князь Московский Василий III, покорив Псков, послал туда своего управляющего: „Послушай, Долмашка, привези-ка мне вечевой колокол”. А этот колокол был, как сказали бы теперь, символом буржуазной независимости.

По дороге, в селе Валдае, вечевой колокол разбился. Жители подобрали осколки, расплавили и сделали колокольчики.

А если бы угличский колокол разбился на полдороге в Тобольск, и выплавили бы из него колокольчики, то колокольчики те зазвонили бы: „Злодейство! Злодейство!”

Вот что думает русская правда о средствах массовой информации.

„Ни уму, ни сердцу, — возмутился Александр. — Русская правда ни о чем не думает. Эту параболу можно интерпретировать как угодно. Эта Железная Маска, будь он Курносый или нет, все равно шарлатан”.

Прибыв в Понтуаз, он вновь удостоверился, что за ним нет хвоста, сел в такси и поехал в тир.

— А месье Александр! Давненько не появлялись.

С помощью слегка подделанного удостоверения личности — он его затем для удобства потерял — Александр записался в Общество стрельбы под именем Александра Рсря, что имело двойное преимущество: ввести возможных сыщиков, проверяющих обычно списки в алфавитном порядке, в заблуждение, и заставить членов Общества называть его только по имени, так как фамилия была практически непроизносима.

Тиром, одним из самых современных в Европе, руководил игривый полковник в отставке. Он считал, что открыл в Александре настоящего стрелка, и поэтому оказывал ему различные любезности и во всем шел навстречу. Возможно, впрочем, что он ошибался, и месье Александр был всего лишь неудовлетворенным воином. Ему не хватало этой холодной страсти к оружию, характеризующей членов самых серьезных и одновременно самых безумных обществ стрельбы. Он не пользовался оружием необычной формы и калибра, не делал баллистических расчетов, не знал наизусть заряды и их скорость, не считал себя оружейником и не разбирали спусковые системы. Он даже не был снайпером и никогда не участвовал в соревнованиях. Но он ощущал при

стрельбе сдержанное, но бросающееся в глаза наслаждение; он строжайше соблюдал все меры безопасности; он с уважением обращался с оружием. Короче, все указывало на то, что если бы он не был преуспевающим дельцом, он мог бы стать отличным офицером.

Зал для стрельбы из пневматического оружия был тих, как аквариум. Два стрелка упражнялись, но каждый был слишком занят собой, чтобы мешать соседу. Раздающиеся время от времени п-ф-ф-ф тревожили тишину не более, чем движения плавников на большой глубине.

Александр сосредоточился: подготовка к стрельбе включает нечто напоминающее упражнения буддизма дзен и подготовку актера по системе Станиславского. Рука, невозмутимо сжимающая приклад, палец, жестко замерший в спусковой скобе, полосатая пулька, с точностью введенная в патронник, мышцы, умышленно расслабленные... Все это — практическая необходимость и вместе с тем обряд, приводящий в нужное душевное равновесие. И вот вы готовы, вы поднимаете глаза к мишени: вы и она, и больше ничего в мире не существует.

Александр стрелял медленно, с суровостью, подобающей стрельбе из пневматического оружия, по сравнению с которым стрельба из боевого оружия все равно, что симфония по сравнению с тиканьем часов. После каждого выстрела он нажимал на ручку управления, и мишень, пробежав по нитям всю длину стенда, как на фоникулере, замирала перед ним. Он мрачно рассматривал ее: „Почему это отклонение? Дрогнул палец?” Затем он отсылал мишень обратно, чтобы вновь поразить ее. Он глубоко вздыхал, выдыхал, снова вздыхал наполовину и, задержав дыхание, поднимал руку, медленно опускал ее, вытянутую, но не во всю длину, наводил мушку и, наконец, мягко сжимал руку, словно выжимал губку. Каждый раз глухой шлепок заставлял его врасплох.

Оставшись довольным результатом стрельбы, — прежде чем начать стрельбу из боевого оружия, он всегда накладывал на себя эту епитимью (так православные постятся перед

Рождеством), — он вернулся к своему шкафчику и взял наушники. В глубине шкафчика блестел „Смит энд Весон”. Каждый раз, беря его в руки, Александр испытывал волнение, которое не мог до конца объяснить. Видеть в оружии сексуальный символ казалось ему смехотворным; он также отказывался видеть нечто священное в этом предмете, который использовался исключительно для тренировки, то есть в сущности для игры. Но, возможно, когда-нибудь это состояние исчезнет? Александр был потомком воинов, способных жить полной жизнью только с оружием в руках, как другие — с пером, крестом или рублем.

Александр сказал по-русски:

— Поехали.

Почему он предпочел пистолету револьвер? Может быть, потому, что он так же мало интересовался механикой, как и снабжением, и, несмотря на свои преимущества, пистолет казался слишком зависящим от спусковой и других пружин, от избытка человеческой изобретательности. Револьвер же был прост, ясен, верен. И у его отца всегда был только наган. И может быть, пистолет существовал в его подсознании в мире, в котором „бывшие” проиграли, в котором растворились.

— Силуэты, месье Александр?

— Начнем с мишени, дорогой полковник.

Он прошел в зал боевой стрельбы. Там был лишь один стрелок. Александр стал как можно дальше от него.

Его „Смит энд Весон” мог использовать мощные и более слабые патроны. Для стрельбы по мишеням Александр предпочитал слабые — пули были стрелчатые, свинцовые, в нейлоновой „рубашке”.

Он стал напротив мишени, дал оружию свободно повиснуть на конце руки. Со своим длинным стволом это скорее боевое (несмотря на большие размеры) оружие весило заряженным больше килограмма. Он дал телу привыкнуть к этому дополнительному органу. Затем взвел ударник.

Для стрельбы по мишеням Александр всегда прибегал к одному и тому же методу. Он с удовольствием ощутил

свой палец на ударнике, ударник сопротивлялся, затем поддавался, курок обретал напряженную неподвижность.

Он поднял руку торжественно, как для благословения, и одновременно опустил левое веко. Казалось, его тело расплющилось и стало существовать лишь в одном, вертикальном, плане — перпендикулярно мишени. Рука стала медленно опускаться сверху вниз, подобно лопасти ветровой мельницы.

Прорезь прицела, точно установленная, нашла мушку, треугольник которой словно врезался в черный круг центра мишени. У Александра были большие руки, и он едва ощущал вес оружия. Отыскивая, как учит американская техника стрельбы, независимость указательного пальца, стараясь не потревожить созданное архитектурное строение, он выстрелил, иными словами, потянул курок к себе.

Оружие заговорило.

Он продолжил. Внутренний счетчик (психосоматический?) как бы регистрировал сделанные выстрелы. После шести выстрелов можно выбросить гильзы. Он остался доволен результатом стрельбы. И чувствовал себя хорошо. Он повернулся к сопровождавшему его полковнику:

— Теперь можно силуэты.

Зал для стрельбы по силуэтам был, в общем, предназначен для полицейских, офицеров в отставке, для тех, кого невозможно было заподозрить в том, что они записались в общество стрельбы, чтобы научиться как можно лучше обчищать своего ближнего. Но Александру доступ сюда был открыт. Для стрельбы по силуэтам он предпочитал патроны с мощным зарядом. Он медленно, один за другим, опустил патроны в „ножны” барабана — теперь эти тяжелые зерна смерти в конце ствола обретут скорость в пятьсот метров в секунду.

— Готовы?

— Готов, полковник.

Силуэты появляются не настолько быстро, чтобы он не мог использовать простого действия, куда более точного, но двойное действие казалось ему более подходящим для

этой игры. Инстинктивная стрельба по силуэтам по сравнению со стрельбой по мишеням все равно, что платоническая любовь по сравнению с любовью.

Появилась одна, тщедушная, слева. Выстрел. Другая, высокая, справа. Выстрел. Он был спокоен: первых двух уложил. Одна возникла прямо перед ним. Выстрел. Его палец был в слишком большом напряжении. Он догадался, что попал этому только в плечо, и, прежде чем силуэт исчез, всадил в него вторую пулю на уровне пупа. Тут его охватила волна ярости:

— А! Думал, перехитришь?! Получай!

Одна справа. Выстрел. Другая слева. Выстрел. Полковник, сам себе улыбаясь, увеличивал скорость появления силуэтов. Еще одна слева. Ударник упал в пустоту. Психосоматический счетчик на сей раз плохо сработал.

— А, месье Александр, не хотите вы меня слушать. Я всегда вам говорил, что пистолет...

— Знаю. Этот последний меня бы прикончил.

Он с ненавистью смотрел на насмешливо торчащий силуэт. Перезарядил. Возобновил стрельбу. Это превратилось в настоящую оргию. Остановился, только обессилив. Уставший палец почти отказывался служить. „Интересно, какие там тир. Наверное, не хуже...”

— Э, месье Александр, вы прикончили с полсотни вьетнамчиков. Снимайте-ка наушники и пошли выпьем.

Он вошел в кинотеатр через запасной выход, дверь которого плохо закрывалась. Именно поэтому он пересмотрел все фильмы, идущие в этом кинотеатре. Сегодня у него было время посмотреть „Топаз” два или три раза, так войти в зал можно было в любое время, фильм шел без остановки. Но это не беспокоило его: в этом кинотеатре привыкли к тому, что он может просматривать понравившийся ему фильм несколько раз кряду. Посидев немного, Александр вышел через главный вход и, не подойдя к своему автомобилю, пошел пешком к Жессике Бойс.

Июньские вечера очень длинные. Он не спеша прошелся по длинным буржуазным бульварам восьмого округа Парижа. Они ему нравились. Кем построены все эти огромные здания, почти дворцы? Не аристократами, а торговыми агентами, банкирами, еще умевшими жить по-настоящему. Широкие лестницы, коренастые поджии, решетки из кованого железа (Александр любил кованое железо). Садики, видимые только через отворяющиеся ворота домов. Плющ, переваливающий через пятиметровые стены-заборы. Суровое величие боковых аллей, на тротуарах которых скрипит под ногами щебень. Гуляя, Александр как будто угадывал привидения рыцарей, контуры колясок. Его дед гулял по этим местам в лиловых перчатках, возможно, под этими вот деревьями. Восемьдесят лет назад. Тогда существовал союз, и французские республиканцы относились без предвзятости к боярам. Или скрывали ее из симпатии к русскому рублю. Потом его отца занесла сюда судьба, и он, голодный, пытался просить помощи, но безрезультатно. А теперь он, Александр, прощается с этими местами, и скрипит песок под его ботинками работы лучшего итальянского сапожника Парижа. Он шел, высоко подняв голову, с подчеркнутой вежливостью уступая дорогу всем женщинам — от богатой обительницы этого квартала до португальской горничной.

Жессика жила неподалеку от Муэт в уродливом и очень комфортабельном доме, построенном незадолго до войны. Свесившись с балкона, можно было увидеть Булонский лес. В двух шагах было советское посольство.

— Ну что, мадам Бойс, наводите красоту?

Разговаривая с ней, Александр не мог побороть в себе грубости, которую вызывала именно эта женщина.

Жессика была худой брюнеткой, пожалуй, красивой, пропитанной табаком и всегда одетой в черное. Сегодня она была в прозрачном кружевном пенюаре, слегка стянутом на талии пояском.

Она проводила Александра в гостиную. На одном ее конце стоял черно-белый диван, охватывающий полуколосьем шкуру зебры, на другом — стеклянный стол с серебряной

посудой, большими модными тарелками; из ведерка со льдом выглядывало позолоченное горлышко. Стол был накрыт на двоих.

— Я по-прежнему готова выполнить все условия договора. Она играла пояском пеньюара.

— Вы не передумали?

Он плюхнулся на диван. Ему хотелось ответить грубостью, но он сдержался.

— Ну что? Иван придет только через двадцать минут. Скажите мне откровенно: я вам не нравлюсь или вы — импотент?

Она говорила с легким американским акцентом.

— Дорогая Жессика, — вяло сказал он, — опыт доказывает, что не следует смешивать удовольствие и выполнение долга.

— Но когда выполнение долга — удовольствие, это ведь замечательно, не так ли?

— Но когда удовольствие становится выполнением долга, это уже скучно. Если когда-нибудь вы перестанете быть моей связной, посмотрим. А пока... не говорите мне, что у вас мало поклонников.

Ей было наверняка лет сорок, но в ней была явно изюминка.

Жессика закурила. Он не сделал и намека на вежливый жест. Да, Питман совершил ошибку, назначив ему эту женщину: можно было бы заметить, что он терпеть не может курящих женщин. С другой стороны, Питман мог сделать это нарочно: тайное сообщничество между ним и ею могло бы повредить делу. Впервые за весь день он подумал о Алле, и его сердце дрогнуло.

Обычно он запрещал себе думать о Алле и еще меньше о маленьком Дмитрие. Даже сегодня утром, думая о своем возвращении, он сознательно отогнал мысли о них: „Питман держит меня в своих руках, не надо, чтоб он держал еще крепче...” Но иногда в конце какой-нибудь фразы, когда он думал совсем о другом — словно рушилась плотина: „Моя жена! Мой сын!” Он упрекал себя за эти мгновения слабо-

сти. „Нужно скрывать”. Он посмотрел на свои ногти. У него были красивые ногти, и он усвоил старомодную привычку тщательно за ними ухаживать.

Жессика заметила его взгляд и захихикала:

— Не импотент, не пресыщенный, но педик педиком? Так, наверное, говорят о вас в литературных кругах?

Александр, не почувствовав раздражения, ответил:

— Это как раз те круги, где такая репутация не может мне повредить. Я знаю совершенно нормальных авторов, которые, чтобы привлечь к себе симпатии, притворяются гомосексуалистами. Запад совсем сгнил, Жессика, и это вовсе не пропаганда.

Канадка, родившаяся в Канне, вышедшая замуж за итальянского графа, затем за американского импрессарио и еще нескольких, Жессика попала в так называемый международный свет, оставаясь по сути в нем чужой. Время от времени она показывалась с Александром в „Максиме”, одном из самых знаменитых ресторанов Парижа, или заезжала за ним к какому-нибудь издателю на своем белом шикарном автомобиле: этого было достаточно, чтобы удовлетворить любопытство парижан относительно личной жизни Александра Псаря. Каким образом удалось Питману завербовать Жессику? С помощью денег? Шантажа? Александр предпочитал не докапываться. „Подглядывать в замочную скважину — не наше дело”. Зачем следить за кем бы то ни было, даже противником, когда гораздо проще давать ему инструкции. Питман любил повторять:

„Змея не следит за лягушкой”.

Раздался звонок. Жессика пошла открывать, принаравливая походку к своему туалету, подражая стилю пантеры, модному в двадцатых годах.

— Рад тебя видеть, Иван Иванович.

— Как дела, Александр Дмитриевич.

Иван IV был коренастым человеком лет пятидесяти: приглаженные редкие светло-рыжие волосы не могли скрыть плешь, лицо в оспинах, светло-голубые глаза часто принимали нежно-невинное выражение. На нем были бело-голу-

бая полосатая рубашка, коричневый костюм и грубые ботинки.

Они крепко пожали друг другу руки. Иван Иванович оглядел своего агента.

— Хорошо выглядишь, Александр Дмитриевич. По-прежнему красив, как бог.

— Ладно, Иван Иванович, хватит доказывать, что ты можешь мне оторвать руку, если захочешь. Давай лучше выпьем по сто грамм.

Старая шутка: Иван Иванович, к своему великому сожалению, водку не переносил.

— Ладно, ладно, товарищ подполковник, нехорошо издеваться над страдающим диспепсией.

Александр был кооптированным подполковником, Иван Иванович — кадровым майором.

— Ну что, сегодня не будет КПМ?

Александр любил показать, что знаком с жаргоном ГБ: пьянка называлась культурно-политическим мероприятием.

— Во даешь! Если дамочка запаслась шампанским...

Жессика прервала его. Сказала на ломаном русском языке:

— Шампанское? Есть, есть шампанское, я свою работу знаю. Ладно, господа, я вас покидаю, работайте. Если что, позовете. Но мне кажется, вам будет хорошо вдвоем. Если захотите плясать голышом, задерните шторы: у меня соседи.

Она вышла. Иван Иванович подмигнул:

— Она, стерва, с удовольствием бы осталась!

— Если душа просит, то — не стесняйся.

— О, душа, душа...

Иван Иванович засеменил к накрытому столу:

— Икорка! Омарчики! Гусятинка! Э, за чей счет этот пир?

Они сели. Иван Иванович развернул тяжелую накрахмаленную салфетку и воткнул ее в пространство между двумя пуговицами своего старенького пиджака. С возгласом „ха” он протянул руку к бутылке. В нем чувствовался человек хорошего настроения, который с удовольствием будет разгрызать зубами клещи омара и гусиные кости. Александр

со смесью жалости и удовольствия подумал, что придется испортить ему аппетит.

— Иван Иванович, не только для того, чтоб угостить тебя омарами, послал я тебе „запрос о немедленной связи”. У меня есть разные мелочи, например, клеветнический исторический роман о Достоевском, но это может подождать. Что мне действительно немедленно нужно было тебе сообщить, это — все, я закончил.

— Закончил что?

— Работать для Управления. Во всяком случае во Франции.

— Ты... что? Да ты меня без ножа режешь, Александр Дмитриевич.

— Это уж твоё дело. Я — возвращаюсь.

Светлые глаза Ивана Ивановича покрылись нежностью.

— Саша, Сашенька... Ты не можешь мне такую свинью подложить. Я привык к Парижу, жена тоже... Да и как же можно прервать задание! Подумай о ГБ, о родине! Александр Дмитриевич, признайся, успокой меня: ты шутишь, голубчик, да?

— Иван Иванович, я согласился на тридцатилетнее задание. Прошло тридцать лет. Мне пора возвращаться.

— Согласился, согласился... Тебе не с чем соглашаться, дорогой, ты должен подчиняться, как все мы.

— Ошибаешься, Иван Иванович. Когда я согласился, именно согласился, принять предложение, которое было мне сделано...

— Где? Когда? Какое предложение?

— Когда? Я тебе уже говорил: тридцать лет назад. Где? Если хочешь знать, это произошло на башнях Нотр-Дам, более точно — на галерее Химер, между двумя башнями. Приняв предложение, я поставил одно условие: вернуться до того, как мне стукнет пятьдесят. Это условие было принято. Сам Яков Моисеевич дал мне слово: ты, может быть, не знаешь, но это именно он меня завербовал.

Иван Иванович схватил салфетку и бросил ее на стол:

— Это черт знает что! Это чудовищно! Я отказываюсь верить! Мы будем продолжать, как раньше.

Александр пристально посмотрел на него:

— Иван Иванович, я к тебе очень хорошо отношусь, но кто ты такой: всего лишь приводной ремень, не больше. Так что, давай передавай!

Когда Александр вернулся к себе, было еще светло, хотя часы уже пробили десять вечера. Но в это время года парижские вечера напоминают петербургские ночи.

Синеватые сумерки плыли по комнате. Электронная шахматная доска не мигала: нашла решение. Александр сел, подыскивая удачный ход. Но голова не соображала. Перед глазами проходила картина за картиной. Маленький белокурый мальчик, фотографии которого, заученные им до мельчайших черт, пришлось уничтожить. Умиравший в больнице старик: „Я не вернусь, но ты, Алек, вернешься вместо меня”. И рука, упавшая, не успев дотронуться до щеки сына. Молодая женщина с выразительными и насмешливыми глазами. И затем огромный собор, словно корабль, плывущий в открытом небе, а на нем два маленьких человечка — юноша и его искусьитель.

Как бы ни был расстроен Иван Иванович, все, что он смог сделать, это передать по радио просьбу Опричника о возвращении. Сообщение оказалось на столе генерал-майора Якова Питмана.

В пятьдесят семь лет Питман был самым молодым членом Шапок-Невидимок. Самая простейшая его обязанность заключалась в выработке заблуждений, в которые Советский Союз заставит поверить мир в ближайшие двадцать лет. Другие функции, более секретные, открывались перед ним постепенными посвящениями, но высшая правда уже приоткрылась ему, и он был уверен, что если его жизнь не будет бесполезной человечеству, то только благодаря непроницаемым тайнам бывшего отдела Д, ставшего Управлением А.

Если бы Управление А строго следовало уставу, генерал-майор Питман давно бы перестал заниматься таким пустяком, как какой-то агент-проводник влияния. Но заражен-

ный микробами Сунь Цзы, он добился для себя права размотать до конца свой личный „божественный клубок”, тех семи французов, которых он в юности завербовал. Читая донесение Ивана Ивановича, он вспомнил сцену в галерее Хи-мер... и протянул руку к вертушке, доступной, как известно, только сильным мира сего.

— Можно приехать?

— Жду.

Служебная машина была уже подана. Питман сел на заднее сидение. Он не одобрял демагогию некоторых вождей, сающихся рядом с водителем, но не осмеливался требовать того, чем пользовался, не требуя, Абдулрахманов: чтобы перед ним открывали дверцу.

— В Волково.

Абдулрахманов жил в гебистском дачном поселке в ста километрах от столицы. Около четырехсот гектаров были обнесены колючей проволокой и постоянно охранялись вооруженными солдатами со сторожевыми собаками. В самом поселке был мир почти дикой природы. В озере ловили рыбу, в лесу охотились и собирали грибы.

Дача Абдулрахманова находилась на самом берегу озера, и большая веранда словно висела над ним. Построенная сразу после войны, деревянная, со стертыми ступенями и резными стрельчатым фасадом, она уже приобрела старорусский вид.

Абдулрахманов жил один со своим немым денщиком. Ни гарема, ни семьи. Питман нашел его на веранде у шахматной доски, на которой стояли блесевшие от длительного употребления старинные большие фигуры, рядом лежал потертый лист с шахматными задачами. Солнце садилось за деревья и, словно ведя арьергардные бои, стреляло между стволами своими лучами. Маленькие взрывы света вспыхивали на ветках. Озеро было гладким, бесцветным.

— Кентий, самовар!

Но Иннокентий, вероятно предупрежденный охраной, уже нес на вытянутых руках пузатый, изрыгающий пар серебряный самовар. Затем принес калачи, бублики, варенье, мед,

малосольные огурчики, колбасу. Носил с низко опущенной головой, что-то ворча, не поднимая глаз ни на хозяина, ни на посетителя.

— Я всегда думал, Мохаммед Мохаммедович, что у вас есть определенные планы относительно Опричника.

Абдулрахманов не горбился, но его плечи округлила старость, весь его силуэт напоминал гигантскую сахарную голову. Он откусил кусок огурца. Он сохранил все свои зубы, которые только пожелтели от старости. Питман подумал: „Старый людоед. Людоед, которому больше восьми-десяти”.

— Опричник? Ты помнишь, ваше превосходительство, как ты не хотел его вербовать?

Питман охотно признал свою тогдашнюю слепоту, и они начали вспоминать один за другим все успехи Опричника. Первым было издание романа Эмманюэля Блюна „Верный друг”, от которого отказались все издатели. Псарю удалось, заручившись поддержкой нескольких позабытых именитых старцев, добиться вручения автору известной литературной премии. Книга Блюна была переведена на многие языки и получила в СССР премию, носящую имя одного из самых кровавых палачей в истории человечества. Вместе с тем Блюн продолжал слыть либералом, несмотря на то, что верный друг героя его романа был активным, но остающимся в тени членом коммунистической партии, и всегда вовремя спасал героя от опасностей, которые часто накликал на себя его строптивый и великодушный характер.

Затем у Псаря появилась идея издавать Белые Книги. Надо было даже запрещать издавать некоторые, например, посвященную войне в Алжире. Александру напомнили: „Вас не должны считать левым. Вы — честный человек, не могущий отрицать очевидность, но ваши симпатии, естественно, на стороне правых...” Была, разумеется, и другая причина, о которой он догадался: война в Алжире была поручена другому агенту.

— Но его Белая Книга о народном образовании! Французы пока увидели только цветочки, ягодки впереди!

— Белая Книга о Женщине тоже совсем недурна, Мохаммед Мохаммедович.

— Точно. Интересно, сколько из-за нее не появилось на свет будущих французских граждан.

Абдулрахманов намазывал масло на хлеб и аккуратно клал сверху ломтики тонко нарезанной колбасы.

— Был еще сильнейший удар „Русского языка для каждого“, Мохаммед Мохаммедович.

Да. „Русский язык для каждого“, пособие, рассчитанное на четыре года, был составлен в Советском Союзе и в каждом тексте, в каждом упражнении — яд пропаганды! Великолепная операция! Политическая выгода была огромной, если судить хотя бы по выгоде финансовой!

— А „Словарь синонимов“, в котором капитал является синонимом эксплуатации, а революция — пролетариата!

— А „Словарь изречений“: двадцать восемь изречений Жореса и только три Пеги.

— Тут допустили небольшую ошибку. Было бы умнее использовать Пеги, при необходимости укорачивая его изречения.

— Не стоит винить в этом Псаря: у него тогда было недостаточно опыта.

Оба эти человека любили вспоминать приключения, отметившие юность одного и зрелость другого.

— Были еще подложные пророчества Вильгельма Постела. Правда, потом пришлось их опровергать, но, как отмечает Vademecum, опровержения забываются, а ложь остается.

Да, во всю глотку хохотали тогда на площади Дзержинского, когда при чтении Апокалипсиса этого мага паника овладела французами: „Солдатня выронит свои алебарды, бомбарды взорвутся, галеры потонут сами собой, мешки с золотом высыплют свое содержимое в грязь в тот день, когда Красный Всадник, приложив руку ко лбу, появится в лучах восходящего солнца... и случится это в году 7488 от сотворения мира...” Можно ли было подумать, что результатом Великого Страху будет утечка капиталов за пределы нацио-

нальной территории? Может быть, и нет, но в любом случае психологический успех был упоительным.

Вдруг генерал-полковник нахмурился и сменил тему разговора.

— Ну-с-с... я ощущаю во Франции некоторое скольжение, я бы не сказал, что вправо, скорее — к политическому цинизму, к пессимизму, стремление видеть в фактах только факты, а не осуществление идей. Это пахнет реакционностью. Не в упрек тебе будет сказано, ваше превосходительство, но мне кажется, что в мое время нам удалось навязать марксизм как мощную доктрину, нечто вроде абсолюта. А теперь мне говорят, что во Франции уже не смешно не быть марксистом. Это правда?

Питман подносил ко рту холодный пирожок. Не донес, положил на скатерть. Всю жизнь он больше всего боялся сердить вышестоящих. А этот к тому же был благодетелем. Так не хотелось его разочаровывать.

— Мохаммед Мохаммедович, от вас ничего не скроешь. Не знаю, виновен ли я в недобросовестности, могу вас только уверить: я делаю все, что в моих силах. Действительно, согласно полученной информации, мы не владем умами французской интеллигенции так, как это было под вашим руководством. Может быть, мы недостаточно бдительны? Во всяком случае, над Парижем веет мятежный ветер.

Абдулрахманов медленно вздохнул, как это обычно делают старые люди. За тридцать лет дружеских отношений, постоянного внимания с его стороны, подарков для этой идиотки Элички, ему все же не удалось излечить Питмана от соскальзывания в самокритику, парализующей тоталитарную бюрократию.

Он проворчал:

— Это меня уже не касается. Я уже не у дел.

На деле Управление никогда не выпускало человека.

— Между тем, на вашем месте, я бы не недооценивал этого мятежного духа, в возникновении которого немалую роль сыграли наши диссиденты. Французское общественное мнение еще обладает большим весом в мире. Надо его снова

взять в руки. Крепко. А сами наши диссиденты тоже заслужили наказания. Обе операции можно провести одновременно.

— Можете ли вы нам что-нибудь посоветовать, товарищ генерал?

Солнце исчезло. Озеро на короткое время покраснело. Вдалеке подпрыгнула в воде рыба и упала с глухим всплеском. Морщины, все более широкие и менее ясные, пробежали по воде. Питману показалось, что он слышит их глухие удары о сваи, поддерживающие веранду.

Абдулрахманов не ответил. Он смотрел прямо перед собой. Быть может, он пытался услышать этот шум или другой, такой же неуловимый, поднимающийся из будущего.

Наконец он сказал:

— Что ты собираешься сделать с Опричником?

— Я пришел к вам за советом, Мохаммед Мохаммедович. Опричник в некотором роде ваше детище.

Абдулрахманов опустил голову и долго держал ее так.

— Слушай, ты делай, что хочешь. Что касается меня, я всегда любил деление без остатка и рубашки, на которых пуговиц столько же, сколько и петель. Ты не знаешь, что делать с Опричником... ты не знаешь, как навести порядок среди французов и диссидентов... Нужно просто-напросто подобрать нужный болт к нужной гайке... Царь Иван хотел сжечь Псков, чтобы научить псковитян уму-разуму. Может быть, нужно провести операцию Псков... Зная молодого Псаря, я думаю, он мог бы сыграть определенную роль в одной изысканной операции. Хочет ли твое превосходительство узнать подробности?

Г л а в а 4

ПОСЛЕДНЯЯ УСЛУГА (операция „Псков”, фаза № 1)

Скоро в Ленинградском университете начнутся каникулы, но Гемма не вернется в Италию, она продолжит взятую на себя миссию: бороться против угнетения.

Она объявила коммунизму войну; во времена фашизма она попыталась бы убить Муссолини, в XIX веке — бросала бы бомбы во властителей и их министров, во время Французской революции зарезала бы Марата. Объятая этим духом, она сама выучила русский язык и, будучи страстной подпольщицей, для отвода глаз стала студенткой филфака в Советском Союзе.

У нее было красивое лицо (она была родом из Тосканы), но грязные волосы; слишком большая грудь выпирала из мешковатой вязаной фуфайки, брюки, казалось, трещали по

всем швам при каждом ее шаге. И все же она пользовалась успехом: студенты, считающие себя более или менее диссидентами, вертелись вокруг нее, но безрезультатно: Гемма, недоступная, жила только для борьбы.

В ожидании более кровавой деятельности она создала сеть по вывозу из СССР самиздатских текстов и пока этим удовлетворялась.

Ее организация существовала уже более двух лет. Организация возникла в тот вечер, когда, возвращаясь от друзей, она не смогла найти такси, чтобы вернуться к себе на улицу Марата. (Атеистка, но суеверная, потенциальная тираноубийца, она считала хорошей приметой жить на улице с таким названием, да еще в городе, где жилищный кризис был острейшим.) Было холодно, толстый слой снега налипал на калоши; Гемме объяснили, что за пару рублей ее подвезет до дома любой частник. Она остановила первый же автомобиль. Это был огромный грузовик. На нем белыми буквами на синем фоне было написано Совтрансавто и номер телефона, который Гемма, готовящаяся к подпольной борьбе и потому тренирующая свою память, сразу запомнила: 2213653. Гигант-грузовик закрипел, бурно задышал и остановился. Гемма влезла в сильно натопленную кабину.

— Куда?

— К Московскому вокзалу.

— Пятерка.

Она вытащила деньги, не торгуясь.

— Хорошо говоришь по-нашему, но ты — иностранка.

— Итальянка.

— Вот это да! Я только что из Италии!

Водитель был крупным молодым парнем с квадратным лицом и маленькими, полными подозрения, всегда воспаленными глазами, как бы от постоянного папиросного дыма. Он вывез из СССР груз хрома и возвращался из Европы с грузом спиртных напитков.

— Настоящий почтовый голубь.

Она сняла его руку со своего колена и, очертя голову, бросилась обвинять СССР в бесстыдном нарушении Хель-

синкских соглашений. Водитель бормотал ничего не значащие „м-да” и „хм”. На улице Марата он неуверенно спросил:

— Может, еще встретимся?

Гемма, воображая все услуги, которые он может ей оказать, согласилась. В ближайшее воскресенье они отправились в Петродворец. Вячеслав был огорчен: фонтан, в котором, как ему говорили, механическая собака гонится за искусственными утками, замерз. Гемма возобновила свою пропаганду и на этот раз получила кое-какое неуверенное подтверждение:

— Я как культурный человек не чувствую себя несчастным, но правда и то, что, когда человек зарабатывает семьдесят пять рублей в месяц, а пара хороших сапог стоит сто пятьдесят...

В следующее воскресенье они поехали в Павловск. Вячеслав с любопытством разглядывал знаменитую лестницу, которая, будучи более широкой внизу, кажется выше, чем на самом деле.

— Мы, русские, не ждали коммунистов, чтобы поумнеть.

Разговор показался Гемме достаточно зрелым, чтобы попросить его время от времени брать с собой одну-две рукописи. Он согласился, ничего не потребовав взамен.

— Я сделаю это, как говорится, из любви к свободе.

Гемма вылетела в Рим первым же самолетом. Она была знакома с Энцо Груччи, предприимчивым издателем, издающим книги в основном за счет авторов. Она сделала ему деловое предложение, получила согласие и оставила ему то, что называла „требником” — перечень мест встречи, паролей, шифров, обозначающих дни и часы. Довольная своим профессиональным поведением, она сразу вернулась в Ленинград. Недостатка в рукописях не будет: Самиздат стал наркотиком советских студентов.

Неделю спустя Гемма позвонила „дяде Энцо”, сообщила ему о своей первой „встрече” с молодым советским парнем, о том, что читает в настоящее время книгу, изданную в „1825”, орфография которой вызывает трудности, и что „во вторник или в среду” она должна сдать экзамен.

Сеньор Груччи, скептически настроенный, заглянул в „требник” и в четверг в 18 часов 25 минут потащил свое грузное тело под арку Тита. Не дождавшись никого в этот день, он все же поплелся на место встречи и в пятницу. Он сразу заметил здоровенного парня с коротким торсом и длинными ногами, который ходил взад вперед с пакетом в правой руке. Отдавая отчет в нелепости положения, но чувствуя будущую выгоду, Груччи подошел к незнакомцу и четко произнес известный призыв к убийству:

— Strage! strage! sterminio, vendetta!

Человек прищурил глаза и молча передал ему пакет. В пакете был конверт, в конверте ругательный рассказ, который, переведенный в еще более ругательном тоне на итальянский язык, позволил издательству „Муэт” выкарабкаться из финансовых трудностей месяцев на шесть.

Дело продолжалось. Не считая больших успехов, — а они были, — сеньор Груччи всегда мог продать свою продукцию верной клиентуре: русским эмигрантам, университетским библиотекам (в особенности американским), разведкам, службам пропаганды; одни предпочитали оригиналы, другие — переводы. Издательство „Муэт” стало основным распространителем экспортируемого Самиздата, и все это благодаря маленькой Гемме, которая, ничего для себя не требуя, обеспечивала благополучие издателя. Авторы, разумеется, не часто требовали гонорары, а когда такое случалось, то сеньор Груччи тянул с выплатой, увиливал, находил тысячи причин, а тем временем деньги работали на него. Таким образом процветал странный союз между девственницей-анархисткой и дельцом, наживавшимся на подрывной деятельности.

Каждый день, отправляясь в университет, Гемма проверяла „тайники” тех, кого она называла „членами своей организации”. У нее было два тайника на Невском проспекте, один на Марсовом поле, один на Дворцовой площади, один в парке Горького и один в сквере Декабристов. В это утро — был июнь, и солнце, как влюбившийся в первый раз подросток, не ложилось всю ночь — она нашла на скамейке в парке

Горького начерченный мелом ромб. Вечером она пошла в пивную на Невском.

Дундук, широкий, рыжий, в белом халате, выглядывающем из-под плаща, который он глупо накинул, чтобы как раз скрыть его, уже ждал ее. Но перед ним на столе не было „Правды”. Гемма свою „Правду” принесла, и, нормально, они должны были бы ими обменяться. Но может быть, он не принес очередную „Русскую правду”? Для чего же он просил о встрече?

Она села за его стол. Перед ним стоял уже почти пустой графинчик.

— Так что, газет ты больше не читаешь? Что в мире происходит, тебе наплевать?

Она говорила резко: русских надо подгонять. Ведь славянин означает раб.

Он бесшумно рассмеялся и опрокинул в широко открытый рот еще одну стопку.

Гемма встала:

— Пьяницы — не нужны.

Он продолжал беззвучно смеяться, как в немом фильме. Затем прошептал, пришепетывая согласные, как в театре:

— Если б ты знала, что у меня есть, ты бы не ушла.

— Что у тебя есть?

Он приоткрыл плащ, халат, пиджак, рубашку и вытащил бумажный пакет коричневого цвета.

— На этот раз мы их — во как!

„Их” — значит партию, правительство, сильных мира сего.

— Что ты хочешь этим сказать? Что у тебя в этом замусоленном пакете?

Он все смеялся.

— Ох и изворотлив! Знаешь, где он ее прятал? В телевизоре. Там есть место. В телевизоре, который ему дали, чтоб он сидел спокойно. Теперь он закончил. Поставил последнюю точку. И сказал мне: „Дундук, я знаю, что ты любишь нашу матушку Россию. Возьми”. Это, Гемма, единственный оригинал, во всем мире нет ни одной копии! Это „Русская правда”, которую я, Дундук, держу в руках!

Одной рукой он прижимал пакет к себе, другой вознаграждал себя еще одной стопкой.

Гемма хотела схватить пакет. Потом вспомнила ею же установленные меры предосторожности.

— Если увидят, что ты передаешь его мне...

Дундук встал, зашатался, согнулся в глубоком поклоне:

— Красавица моя, вот вам подарок: две гнилые селедки идохлаямышь.

Он сунул ей пакет. Расшаркался. Кругом раздался смех, один парень заржал:

— Если этот косой ханыга тебе надоел, могу заменить.

Гемма смотрела на эту штуку в своих руках: „Русская правда” займет в мировой истории место, не уступающее таким вещам, как „Майн кампф” или „Капитал”, она была в этом уверена. В ней забурилась признательность к судьбе: это она, благодаря пьянчуге-антикоммунисту Дундуку, передала на Запад первые главы „Русской правды”; естественно, на ней лежит ответственность и за передачу на Запад всей рукописи целиком.

Она вышла из пивной более пьяной, чем Дундук. Если ей удастся, то жизнь не прожита даром.

Первым делом нужно было размножить экземпляр. Как Бог, в которого верят католики, размножил Адама. Копировальные машины были под строгим надзором, но Гемма прятала у себя необходимую фотоаппаратуру. Она прошла специальные курсы по фоторепродукции и покупала в небольшом количестве фотопленку в разных магазинах, а также получала из Италии.

На улице Марата, запершись в своей комнате, обставленной старой продавленной (а ля Достоевский) мебелью, она вытащила драгоценную рукопись из пакета. Дундук всегда держал свое слово. Однажды он пришел к ней:

— Ты та самая итальянка? Мне говорили о тебе. Все, что я в силах сделать против них... они прикончили мою мать, моего отца... Есть один великий мыслитель, которого они объявили сумасшедшим. Тебя это интересует? Я его санитар, и он мне доверяет.

С тех пор благодаря Вячеславу семь посланий уже попали на Запад.

Листы рукописи были такими же, как те, которые она получала раньше: тонкие, как папиросная бумага, исписанные синим наклонным убористым почерком, мелким-мелким, иногда почти без пробелов, — только чтобы выиграть побольше места. Чувствовалось, что человек, писавший это, с удовольствием бы оставил широкие поля, двойной промежуток между строчками, побольше абзацев. Вместо этого — пружина, сжатая до предела.

Гемма читала по-русски так же легко, как по-итальянски. Она прочла введение.

ЧТО ДУМАЕТ РУССКАЯ ПРАВДА О РУССКОЙ ПРАВДЕ?

Недаром у германских народов есть два глагола, означающих „делать”: *tun* и *machen*, *to do* и *to make*; у испанцев — два, означающих „быть”; у эллинов было три слова, чтобы выразить чувство любви: *agaë*, *ëros*, *filë*; у нас же, у скифов-варваров, есть *свобода* и *воля*, *правда* и *истина*. И я не считаю случайностью, что мы единственный в мире народ (насколько мне известно), обладающий словом, которое означает не фальшь, не ложь, не ошибку, а, дословно, противоположность правды — *кривда*.

Да, господа или товарищи, мы все, русские, опьянены правдой. (М-да, и свободой тоже, но свобода есть лишь способ осуществить правду: правда сделает вас свободными, сказал Христос, и Солженицын учит нас „жить не по лжи”, потому что это и есть единственная свобода.) Прежде чем быть народом-богоносцем, о чем мечтал Федор Михайлович, мы — народ-правдоносец, народ, который носит правду в себе, питается правдой. Мы несем правду одновременно как крест (на спине) и как ребенка (в животе).

А поскольку черт хитер, было предвидено, что несущий нечто несет и его противоположность, поэтому мы есть величайшие разносители кривды в мире. Таковы выпукло-вогнутые законы Апокалипсиса.

Наша газета называется „Правда”, потому что она содержит изнанку правды. Стоит лишь прочесть ее отражение в зеркале, чтобы понять Правду-Матушку.

В середине XI века сборник законов Киевской Руси назывался „Русской правдой”. Они были мудрыми и умеренными. И все мы слышали народные сказки, в которых царь зовет Иванушку-дурачка и посылает его: „Пойди по белу свету и принеси мне правду”.

Золушка — это христианская правда. Фауст — немецкая. Дон-Кихот — испанская. А русская правда — это Иванушка-дурачок в поисках правды.

Ибо Иванушка-дурачок, дорогой мой читатель, это — Вы и это я, да поможет нам Бог!

Вот что русская правда думает о русской правде.

Гемма была столь же чувствительна к стилю сказок „Тысячи и одной ночи”, как и к проявлениям независимости мысли: анонимный узник не цитировал ни Маркса, ни Сартра, ни Хайдеггера; он признавал свои корни (русские: фольклор, христианские: св. Иоанн) и, идя от них, свободно размышлял, подтверждая интуитивное знание Геммы, что настоящая свобода может возродиться только в тоталитарной драме, но не в демократической оперетке.

Она опустила шторы, задернула занавески, в комнате стало темно. Пусть парни барабанят в дверь, она останется в лучшей компании.

А он? — спрашивала она себя, расставляя прожекторы и треножник. — Он, мудрый безумец, в своей обшитой камере, под охраной доброго Дундука и другого, злого, что он делает сейчас, зная, что труд всей его жизни находится в руках иностранки? Она прошептала по-итальянски:

— Не бойся, нет на свете человека, который был бы тебе предан, как я.

Снаружи был не вечер, не ночь, не рассвет, какое-то омрачение. Гемма подумала, что смерть должна быть похожа на это: омрачение, и даже не знаешь, что ты — умер. У нее была своя ночь, черная, независящая от остального мира, прорезаемая только конусами прожекторов. Ее ночь для его света. Один за другим она переворачивала страницы, фотоаппарат щелкал, и „Русская правда” шла к своему бессмертию.

Когда последняя страница была сфотографирована, Гемма приготовила все для проявления. Она сделает три экзем-

пляра каждого снимка. Видя появляющийся текст, еще и еще, на блестящей мокрой фотобумаге, она ощутила почти материнскую нежность. Так появились перед Моисеем Десять заповедей, выбитые на камне невидимой рукой.

— Я воспроизвожу, — сказала Гемма, — и у меня будут тройняшки.

Затем она взяла паяльник. Прежде чем броситься очертя голову в эту авантюру, она научилась многое делать сама, думая, что это пригодится ей в подполье. У нее был маленький шкафчик, набитый пустыми консервными банками. Она всунула в три банки экземпляр „Русской правды”: это будут консервы правды. Запаля крышки, расправляя металл в синем урчащем пламени.

Затем взяла толстый том „Полного собрания сочинений” Ленина, вырезала страницы и вложила второй экземпляр, приклеив обложку так, чтобы том случайно не раскрылся. Третий экземпляр она, отодвинув один из плитусов в своей комнате, положила в тайник, давно ею оборудованный в стене: там уже лежали несколько рукописей. Гемма прятала их туда не для того, чтобы скрыть, а наоборот, чтобы скомпрометировать себя: если ее арестуют, во время обыска властям станет ясно, какие мощные удары нанесла она режиму.

Оригинал — она всегда его отсылала, чтобы не было сомнений в подлинности рукописи — вложила в конверт, конверт просунула между журналами „Огонек” и крест-накрест перетянула бечевкой пакет.

Все это время ей и в голову не пришло, что ее могут арестовать в любую минуту. А теперь в течение нескольких минут „Русская правда” будет в двойной опасности, и Гемма открыла дверь с довольно изысканным отчаянием.

Коридор был пуст, соседи Геммы по коммунальной квартире спали праведным или неправедным сном, храпели или не храпели, во всяком случае им было не до нее. Гемма пошла в уборную и спрятала том Ленина за бачок: если проведут обыск в ее комнате, есть шанс, что этот экземпляр останется. Она вернулась в свою комнату, бросила пакет „Огоньков” в угол, вложила консервные банки в авоську и вышла.

Свет, не подвластный цвету дня и ночи, тихо колыбался на углах домов и дворцов Растрелли. Улицы были пустынные, только несколько пьяных валялось у подъездов.

Гемма дошла до канала Грибоедова, укрощенные воды которого текли между двумя набережными с напористой устремленностью, по-чиновничьи. У Банковского моста она остановилась и осмотрелась. За ней не следили. Она опустила банки, одну за другой, в воду. Едва виден был их железный отсвет сквозь коричнево-серую воду. Если все пройдет, как предполагалось, этот экземпляр будет в тине ждать дня, когда будут чистить канал или даже, быть может, Судного дня искусства.

Гемма вернулась к себе, взяла „Ленина”, к которому никто не притронулся, и пошла в университет. Она не спала, не завтракала и чувствовала себя опустошенной и легкой.

Там ее ждали поклонники; они окружили ее, как делали каждое утро. Один принес ей ландыши, другой — свое стихотворение, третий, увидев „Ленина”, усмехнулся:

— Ты же не обязана! Для чего ты глотаешь эту муть?

Она их всех прогнала:

— Настроения нет валять тут дурака с вами.

Между двумя лекциями она пошла в библиотеку. Николай Герасимов сидел в своем обычном углу. Большинство студентов считали, что Герасимов не любит Гемму, так как она не прячет своей враждебности к режиму, в то время как он делал карьеру в комсомоле. Она наклонилась к нему.

— Вот твой „Ленин”. Скука смертная. Ладно, спасибо.

Не взглянув на нее, он что-то промычал.

Теперь наступил черед Николая не спать. Он был блаженным обладателем пишущей машинки, и теперь, поставив ее на сложенное одеяло (чтоб не услышали соседи), будет всю ночь перепечатывать. Завтра первая глава „Русской правды” пойдет к самиздатскому читателю. Через неделю будет распространяться уже огромное количество экземпляров.

После занятий Гемма позвонила из будки:

— Вячеслав?

— Я. — Какая удача! Он не был в рейсе.

— Погуляем?

— Завтра в Пушкино?

— Нет, завтра я занята.

— Ладно. Тогда созвонимся.

Это означало, что они встретятся сегодня в шесть вечера у Медного Всадника.

Вячеслав пришел первым. На нем была элегантная итальянская кожаная куртка, делавшая его туловище еще более коротким и плохо сидевшая на его плечах грузчика. Откинув голову, руки в боки, он разглядывал памятник.

— Этот тоже был грузчиком. Пушкин прав: если такая машина начнет за тобой скакать, точно свихнешься. Привет, Гемма.

— Привет. Когда отправляешься?

— Завтра.

Все устраивалось как можно лучше.

— Хочешь что-нибудь почитать в дороге?

Она передала ему пакет с „Огоньками”. Он скривился.

— Слишком большой. Найдут, если будут кабину шмонать. Не могу, старуха.

— Вячеслав, ты уже делал это раз двадцать.

— Вот именно.

— Еще раз, Вячеслав, я тебе умоляю. Ты же знаешь, что это — из любви к свободе.

— Свобода, свобода... Своя рубашка ближе к телу. Не только наши шмонают, будто блох ищут. Поляки есть. Немцы. Тебя немец когда-нибудь шмонал? Пару листов, ладно, но полное собрание сочинений твоего дружка — не пойдет.

Гемма почувствовала, что слезы подступили к глазам.

— В карман? Под сиденье? В мотор?

Он покачал головой:

— Нет, девочка, не выйдет. Они знают все уловки. Иногда даже в запасное колесо заглядывают.

— Ну тогда в кузов! Он же громадный!

— В кузов? Да они его опечатывают. Вскрывают только в Риме, так я все границы спокойно проезжаю.

Она отвернулась, чтобы он не увидел ее слез. Он сказал, не глядя на нее:

— Разве что... Это из любви к свободе, да?.. Я, знаешь, на все руки мастер.

— Да, Вячеслав?

— Щипцы для печатей я могу сварганить. Я сниму печати, суну твой пакет в кузов и снова запечатаю — комар носа не подточит. Как это я раньше не догадался.

Гемма, всегда такая сдержанная с мужчинами, прыгнула ему на шею. Правда, после первой попытки Вячеслав к ней больше не приставал. Гемма была горда тем, что умеет заставить уважать себя.

— Пароль будет на этот раз: *Armi, furore e morti*. Повтори.

Он повторил несколько раз. Произносил слова грубо, по-трудовому.

— Когда ты будешь в Риме?

— Не знаю. Может быть, в пятницу.

— Ты знаешь Пьяццу Навоне? Площадь, овальную с двух концов. Стой на середине, у фонтана. Если не успеешь в пятницу, придешь в субботу. Пакет держи в левой руке.

Она позвонила „дяде Энцо”: она как раз была на странице „23” книги, которую он ей прислал, ей было трудно читать Петрарку. Что касается истории, она увлеклась князем Михаилом Тверским, который княжил в „1305” году. „В среду или четверг” она пойдет в оперу.

Груччи, посасывая сигарету, скрупулезно все записал. Он не подозревал о важности этой посылки, но в любом случае он ее примет. Он открыл „требник” на 23 странице: так, встреча состоится на Пьяцца Навоне, вот и пароль. Романтично? Ну и что же? Менее романтическая сеть стоила бы ему дороже. На этот раз он решил сам пойти на встречу: чаще всего он посылал одного из своих сыновей, больше из лени, чем от страха.

В это время Вячеслав тоже говорил по телефону:

— Порфирий Митрофанович?

— Слушаю.

— Витя говорит. Пакет у меня.

— Где и когда будет встреча? Пароль? Так. Ты сделал вид, что отказываешься?

— Да. Не забудьте передать мне щипцы.

— Ты их получишь сегодня вечером вместе с конвертом. Вячеслав?

— Да, Порфирий Митрофанович?

— Приди на условленное место минут на двадцать раньше условленного времени. В остальном действуй, как обычно.

— Ясно.

Сеньор Груччи был бы удивлен, более того огорчен, если бы узнал, что часть услуг его „романтической” сети по переправке Самиздата осуществляется Комитетом госбезопасности. Не имея возможности остановить хлынувший за границу самиздатский поток, Второе главное управление, по предложению Управления А и с согласия Первого главного управления, решило превратить этот поток в наводнение. Нужно было любой ценой избежать появления нового Солженицына. Поэтому лучше всего было способствовать массовому экспорту посредственных произведений Самиздата, среди которых талантливые рукописи могли проскочить незамеченными. Когда после первой встречи с Геммой он донес на „шпионку” в ГБ, ему предложили стать сексотом и приносить, так сказать, для цензуры, все переданные ему рукописи, а затем передавать в Рим по назначению. Благодаря этому стратегическому маневру все были довольны. Авторы — печатались, Гемма — торжествовала, Вячеслав — зарабатывал, Груччи — богател, наконец, Управление А наблюдало, как с каждым днем уменьшался престиж диссидентов в так называемом свободном мире.

Группа, которой руководил „Порфирий Митрофанович”, работала так хорошо, что генералу Питману пришла в голову мысль использовать ее для проведения операции „Псков”. Так как он наметил заменить одного получателя другим, что могло вызвать подозрения Геммы, в сценарий ввели щипцы для печатей: если бы Вячеслав хотел предать ее, зачем ему нужно было выражать опасения и трудиться над изготовлением щипцов? Будучи добросовестным любителем,

Гемма сочтет это логичным, и весь механизм будет продолжать действовать по-прежнему.

Через три дня после того, как Александр потребовал возвращения, Иван Иванович назначил ему встречу в пивной около Версальских ворот.

— Ты будешь доволен, Александр Дмитриевич.

— К делу, Иван Иванович, к делу.

— Чего ты нервничаешь, Александр Дмитриевич! Кто, глядя на тебя, мог бы догадаться, что ты второй Зорге? А ведь в один прекрасный день, извини за выражение, мы приклеим твою физиономию в виде почтовой марки на конверты.

— Давай, выкладывай.

— Так вот. Все согласны. Твоя просьба об отставке удовлетворена. Ты возвращаешься. От тебя требуется последняя маленькая услуга.

— Какая?

Иван Иванович наклонился, его глаза потеплели.

— Это, Саша, даже не услуга. Настоящая изюминка! Лучшее твое дело. Операция... пальчики оближешь.

Он сжал пальцы правой руки и звонко поцеловал их.

— Ну? — только и произнес Александр.

Откинувшись, Иван Иванович для пущей важности несколько раз моргнул своими рыжими ресницами:

— Железная Маска. Слышал?

— Я читал Александра Дюма, как все.

— Какой там Дюма! Я говорю тебе об анонимном узнике, как они его называют.

Александр немедленно бросился в атаку:

— Тот самый, который промахнулся по Леониду Ильичу?

Иван Иванович заерзал:

— Не знаю. „Что думает Русская правда?“ — тот самый. Нужно будет опубликовать его книгу.

— Он снюхался с итальянцами.

— Ничего, устроим.

— Значит, наши балуются?

— Говорят.

— Но он же против нас!

— Это всезнайки из твоего Управления должны все знать.

А мы люди маленькие.

За исключением стрельбы в тире, Александр никогда ничего не скрывал от своих хозяев. Недоверие к ним было для него вульгарным и неприемлемым: это годилось для продажных слуг трухлявого капитализма. Если была причина для опубликования „Русской правды“, она должна быть серьезной. Но подполковник Псарь хотел знать ее.

— Я не прошу, чтобы ты понимал, олух. Я прошу объяснить.

— Речь идет о диссидентах, Александр Дмитриевич. Они здорово начинают действовать нам на нервы, эти клеветники. К тому же мы заметили, что те из них, которых мы отпускаем за границу, обладают меньшим авторитетом, чем те, которые продолжают коптить небо нашей родины. Так вот, представь себе теперь настоящего диссидента-невъезжанта, который публикует на Западе книгу, антисоветскую конечно, в которой сводит счеты со всеми Солженищерами в мире.

— Ты хочешь сказать, что это мы напишем книгу? И одновременно бьем в барабан, чтоб все узнали о таинственном писателе — Железной Маске?

Иван Иванович пожал плечами:

— Она написана, эта книжка. Кем? Тайна. Во всяком случае ты едешь за рукописью в Рим.

— Под носом у Груччи?

— Не в первый раз издатели воруют друг у друга рукописи диссидентов, ты же знаешь.

Иван Иванович уточнил: встреча назначена на Пьяцца Навоне, в пятницу в 12 часов 45 минут, пароль *Armi, fuoco e morti*, долговязый блондин, лет тридцати, с пачкой журналов „Огонек“ под мышкой.

— И сразу исчезай.

— Груччи тоже придет?

— Через двадцать минут после тебя.

Они вместе посмеялись — подложат свинью итальянскому издателю.

— Затем ты подписываешь контракт на французский перевод рукописи с издательством „Люкс”. Сразу.

— Сразу после того, как я получу рукопись?

— Нет, до. Они все равно ни черта не поймут в рукописи. Вот тебе образец. Переведи и скажешь, что у тебя все остальное.

— Так срочно?

— Наверное.

— А русское издание?

— Нет, пока только для заграницы. Ведь русские издания затем снова переходят границу.

— Ясно. Ты сказал — „Люкс”. Может, другого издателя подцепить?

— Об этом не может быть и речи.

Александр не предвидел никаких осложнений с „Люксом” или другим издательством: пресса была заинтригована Железной Маской; какой бы она ни была, успех книге обеспечен.

— Иностранные права? Я сохраняю их за собой?

— Отдай тому, кто больше заплатит. Главное — аванс, проценты не играют роли.

— Я так всегда и делаю. Ведь невозможно контролировать продажу за границей.

— И ты должен успеть все сделать до открытия Франкфуртской книжной ярмарки.

— Подожди. Нужно же перевести рукопись. Она большая?

— Четыреста страниц мелким убористым почерком. Если перевод не будет забит перифразами, выйдет что-то около трехсот пятидесяти страниц.

— Как? Рукопись еще не отправилась в дорогу, а мы уже высчитали...

На конопатом лице Ивана Ивановича появилась улыбка, одновременно хитрая и нежная.

— Как видишь, ребята у нас не дремлют.

Он вытащил из кармана два помятых конверта.

— Сначала подпиши квитанцию. Порядок есть порядок.

Доходы агентства шли, разумеется, Управлению. Но Опричник получал вознаграждение за свои услуги: половина его зарплаты шла на московский банковский счет, вторая вручалась ему из рук в руки наличными. Александр дал расписку и положил конверт в свой черный портфель.

— Вот еще для тебя. Открой.

Во втором конверте были две машинописные копии. Одна была озаглавлена: „Что думает Русская правда о средствах массовой информации? Второе размышление”. Вторая: „Что думает Русская правда об антисемитизме?”

— Это, — сказал Иван Иванович, — чтобы ты мог доказать подлинность рукописи. Чтобы показать „Люксу”, что ты опередил Гручи.

— Короче, вы могли бы дать мне всю рукопись без того, чтобы я летел в Рим?

— Так более романтично. И ты сможешь потом рассказывать о своей встрече. Не стесняйся: КГБ преследовал тебя по галереям Колизея! Ты прятался, и все такое. Этим ты спасешь сеть Гручи.

— Ты хочешь сказать, что она с самого начала работает на нас?

— Я ничего не хочу сказать. Не забудь: „Люкс” должен оплатить тебе билет. Советую, лети первым классом.

Вернувшись в свой кабинет, Александр положил перед собой толстый лист хорошей бумаги и легким, прямым почерком написал: Операция Железная Маска.

Тактическая подготовка к операции всегда возбуждала его. Он испытывал удовольствие, выписывая фамилии (всегда одни и те же, поскольку это были его агенты), подобно тому, которое испытывают штабные офицеры при вычерчивании стрелок, синих и красных кружков на оперативных картах.

Эта последняя операция будет особенно пикантной: прячь пропагандную капиталистическую машину в телегу, построенную до последней доски на площади Дзержинского! Это блестящий пример операции по распространению влияния, который в качестве иллюстрации нужно приложить к пособию Vademecum.

Александр предполагал, что до возвращения его попросят о „последней небольшой услуге”. И он был рад, как намекнул Иван Иванович, что ему предложили самую блестящую операцию за все годы его карьеры. Он покажет Управлению, на что он способен. И, кто знает, может быть, еще до возвращения он поднимется на одну ступеньку в таблице о рангах? А если, верх честолюбия, он останется на службе и после возвращения, то что помешает ему в один прекрасный день стать Шапкой-Невидимкой?

Он вызвал секретаршу:

— Садитесь, Маргарита.

Она, как обычно, села на краешек стула, чтобы показать ему, что не собирается в будущем злоупотреблять этой редко оказываемой ей честью.

— Маргарита, мы начинаем крупную операцию. Вы читали статьи о Железной Маске? Так вот, у меня скоро будет его рукопись, „Русская правда”.

— Но, месье, я думала, что итальянское издательство...

— Это все в прошлом.

Она, приоткрыв рот, вздохнула, показывая этим свое восхищение. Он показал ей фотокопии.

— Это оригинал рукописи неизвестного узника?

— Это фотокопия оригинала, за которым я поеду в пятницу. Закажите мне, пожалуйста, билет.

— В... Москву?

— Нет, в Рим. Туда и обратно в один день. Я должен прилететь в Рим до полудня. Теперь посмотрите: Операция Железная Маска! Вы представляете, какой это будет цирк!

Он умел приобщать своих подчиненных к своим планам и увлечениям.

— Мне придется платить вам сверхурочные.

Маргарита, довольная, что хозяин шутит, улыбнулась одновременно губами и глазами.

— Всегда рада, месье.

— Будем действовать как обычно. Не обрабатывать сразу всю прессу, а нанести сначала несколько точных ударов — чтобы вызвать зависть. Как можно быстрее назначьте мне встречу с месье Фурвере.

— Вы зайдете в „Люкс” или пригласить его отобедать?

— Как он захочет. И наметьте ему, что у меня сенсация.

Что касается прессы, я уже кое-что обдумал.

Он показал составленный список.

1. Утренняя газета — „Эмпарсьял” — Ж.-К. де Монтиньи.

2. Вечерняя газета — „Голос” — Жанна Буйон.

3. Политический журнал — „Объектив” — Балландар.

4. Популярный журнал — „Выбор” — Мадам Шустревич.

5. Серьезное обозрение — „Возражение” — Месье Иоганес-Граф.

— Есть предложения?

— Может быть, „Ле Монд”? У нас были там всегда хорошие статьи. Или „Экспресс”?

— Потом, Маргарита, когда дело уже будет на мази.

— А на телевидении никого? — Раньше она всегда говорила „телик”, он попросил ее отказаться от просторечья.

— Когда будет опубликована книга. Теперь нужно собрать группу переводчиков. Чтобы книга поспела к Франкфуртской ярмарке, даже если „Люкс” выпустит ее вне очереди, рукопись нужно сдать не позже августа. Подберите четыре или пять переводчиков, работавших над „Антологией русских либеральных мыслителей XIX века”. Я потом сам проверю. И вот что мы еще сделаем: спросим у известных диссидентов, что они думают о Железной Маске. Сократим и прилепим на обложку.

Какое наслаждение готовиться к бою! Да, Александру не терпелось вернуться на родину, увидеть Аллу и познакомиться с Дмитрием, но после стольких лет еще три месяца не имели большого значения.

Месье Фурвере, восседая за столом стиля Людовик XIII, положил руку на сердце и закатил глаза:

— Видит Бог, нет для меня большей радости, чем служить Ему, помогая гонимым приобретать гласность. Но все же подписать контракт, не имея всей рукописи целиком...

— Если это вас не удовлетворяет...

Александр положил перед ним перевод скопированного фрагмента.

ЧТО ДУМАЕТ РУССКАЯ ПРАВДА ОБ АНТИСЕМИТИЗМЕ?

Мы, русские, считаемся антисемитами, хотя эта зараза никогда не достигала у нас немецких размеров. Особенно царизм часто обвинялся в одобрении погромов. Статистика опровергает это обвинение, поскольку евреи составляли 4,1% населения Российской империи, тогда как сейчас они составляют всего 1,48% населения СССР.

Как бы то ни было, Русская правда думает, что антисемитизм есть чудовищное недоразумение.

Если бы вы спросили у русского человека XIX века, почему он не любит евреев, он ответил бы: потому что они ростовщики. Подобное отношение к евреям царствовало тогда в большинстве европейских стран; французский писатель Бернанос это отмечал. Напротив, Италия является одной из наименее антисемитских стран; антисемитская политика Муссолини не имеет ничего общего с антисемитской политикой Гитлера. Почему? Просто потому, что в Италии у евреев не было монополии на ростовщичество: ломбарды представляли для них, как я называю это, очистительную конкуренцию.

Посмотрим, как развивалась наша матушка История.

1. Церковь постановляет, что христианам запрещается заниматься ростовщичеством. 2. Христиане, желающие во что бы то ни стало залезть в долги, вынуждают евреев стать ростовщиками, поскольку они не зависят от Церкви. 3. Перекалдывая ненависть, вызванную профессией, на расу или религию, христиане начинают ненавидеть евреев за ошибку, которую сами же заставили их совершить.

Необходимо было запретить ростовщичество: я об этом писал. Но нужно было одинаково заклеить как должника, так и займодавца.

Евреи такие же люди как все; ростовщики же, каким бы ни было их происхождение, должны быть задушены.

Вот что думает Русская правда об антисемитизме.

Фурвере читал. Поверх благородно склоненной головы крупного либерального издателя Александр смотрел на верхушки растущих во дворе рахитичных ясеней, ветви которых царапали окна кабинета.

— Интересно, — сказал Фурвере. — Интересно и в отношении фольклорного стиля. Я знаю, что вас очаровывает в этой странице: фраза о старом режиме в России, который несправедливо обвиняется в антисемитизме. Вы, дорогой Псарь, неисправимый реакционер. В конце концов это не так важно — немного симпатии не поможет возрождению погибшей тирании, а я первый признаюсь, что бессердечный левый режим не лучше правого догматического. С другой стороны, я всегда нервничаю, когда автор начинает говорить о евреях: если у него не все евреи святые, гении или герои, всегда найдется какой-нибудь бумагомаратель, готовый увидеть в этом антисемитизм. Видит Бог: мое сердце разрывается от жалости к евреям, но в каком-то смысле чем меньше мы о них говорим, тем лучше для нас. Хотя в данном случае с такими выражениями, как, например, ошибки, которые их заставили совершить... мы можем быть спокойны.

— Если вы сомневаетесь, дорогой Фурвере... Я как раз собирался зайти в „Прессу”. Разумеется, это не изменит наших отношений, но я могу отнести „Русскую правду” Бернару.

— Что вы, дорогой Псарь, ни в коем случае! Кстати, как вы думаете, права Жанна Буйон, что Железная Маска есть не кто иной, как Курносов, стрелявший в Брежнева? Ладно, я вижу, что вы принимаете таинственный вид. Но, признайтесь, это была бы превосходная реклама!

Красивое строгое лицо Фурвере вспыхнуло мистическим огнем.

— Я просмотрю тогдашнюю прессу: если были фотографии покушения...

Жан-Ксавье де Монтиньи пригласил Александра пообедать в „Серебряной башне”. Он быстро засеменил навстречу Александру в явно не застегивающемся на солидном животе

пиджаке: он был похож на толстого воробья с подрезанными крыльями.

— Несмотря на то, что вы мне сказали, я не привел Минкэна: он слишком молод и не оценил бы. Вы не поверите, Александр, но для меня жратва — это порок. От этого мне просто дурно становится, конечно, в переносном смысле. А вообще меня беспокоит голод в мире. Представляете, на планете из трех человек двое недоедают. Безобразие, правда? А сколько денег мы тратим, вы и я, чтобы заработать изжогу! Знаете, я люблю здесь обедать потому, что днем кормят не хуже, чем вечером, но днем дешевле: совесть меньше мучает. Вы хотели со мной поговорить о каком-то новом деле?

Новость привела его в восторг.

— Железная Маска! У вас губа не дура. Могу объявить? Вы больше никому не сказали?

— В утренних газетах ничего не будет. Так что торопитесь.

— Скажите... Есть хоть один шанс, что Железная Маска — тот самый малый, который открыл огонь по Брежневу? Еще немного, и он бы его кончил. Это все равно что почти кончил, правда?

— Похоже на то, Жан-Ксавье.

— А это означает, что можно прибавить сверх нормы минимум пятьдесят тысяч проданных экземпляров! Можете себе представить, что было бы, если Солженицын пристрелил бы Хрущева?

Балландар, вечный молодой человек, в жилете, вяло говорящий, положив ноги на стол (он работал в журнале по-американски), пообещал триумф.

— Мы вас поддержим, Александр Псарь. Наш журнал имел репутацию левоватого, но мы его сейчас выпрямляем. Не станем же мы государственным органом печати: это значило бы лишиться чести! Кто я такой? Бедный обормот, старающийся давить своим весом на самую невыгодную чашу весов. Иду налево, когда ветер дует справа; прямо, когда

он дует слева. Дайте нам небольшой отрывок: мы поместим его в номер, посвященный отпускам, в рамке, с повторением всего, что мы знаем о Железной Маске. Что вы сами-то думаете? Это правда?

— Что?

— Что он его в действительности ранил и что с тех пор тот волочит лапу.

В качества отрывка Александр предложил второе размышление о средствах массовой информации.

Ты уже знаешь историю о наказанном колоколе, о разбитом колоколе и о том, что он перевоплотился в колокольчики. Вот еще одно сказание о колоколе.

В году 1667 царь Алексей Михайлович, прозванный Тишайшим, решив побаловать Савво-Сторожевский монастырь в Звенигороде, заказал мастеру Александру Григорьеву сорокатонный колокол. У этого крупного господина был чудесный голос, и в течение веков многочисленные музыканты приходили к нему в гости. Не преминули это сделать Рахманинов и Шляпин.

Замечательно, что город, в котором находился колокол, назывался Звенигород. Но было нечто и покруче. В бронзе колокола была выгравирована криптограмма. Ее долго расшифровывали. Когда наконец это удалось сделать, выяснилось, что это всего лишь была подпись дарителя, обладающая высшей краткостью: „Царь Алексей, раб Божий”.

В 1941 году, когда немцы угрожали Звенигороду, колокол решили вывезти. Но колокол разбился. Его осколки хранятся в музее Звенигорода, который больше не звенит. Колокола не должны бежать от врага.

Нет лучшего символа старого режима, чем Царь-Колокол, весивший двести тонн, который, упав с лесов, оставшись без голоса и без колокольной, противоестественно стоит на земле и молчит вместе с нами, с огромной раной в боку.

Хочешь, чтобы я объяснил свою притчу? Подумай. Современные средства массовой информации и есть наши колокола, бьющие в набат, распространяющие похоронный звон. Если они лгут, им надо выдрать язык! Но когда они издают малиновый звон, они заслуживают прославления и поклонения. Между тем, даже когда они звонят без фальши, неплохо было бы расшифровать подпись дарителя.

Вот что думает Русская правда о средствах массовой информации.

Поверх белокурой плечи Балландара Александр рассматривал росшие вдоль проспекта густые и пыльные каштаны.

Закончив чтение, знаменитый критик сказал:

— Вы не находите, что тут есть что-то враждебное свободе прессы?

— Напротив. Превращенный в колокольчики разбитый колокол — это Псковское вече, символ неистребимой свободы. Звенигородский колокол — свободная пресса, так сказать, объективная и ответственная. Угличский колокол, который нужно наказать, — это лживая пресса.

— Может быть, следует добавить это ваше пояснение в примечании. В любом случае можете на меня рассчитывать. Объявлю о книге на следующей неделе. Все лето буду бросать приманку, а к выходу книги — реклама на полный ход. Можем ли получить какие-нибудь фотографии?

— Фотографии чего?

— Все равно. Например, этой спецпсихбольницы. И чтоб одно окно отличалось от всех остальных — его окно.

— Я вам дам адрес, пошлите фотографа.

Мадам Шустревич принимала в салоне, который она называла будуаром, всегда в пеньюаре, в любое время суток... Она любила намекать, что в молодости (в Вене) была проституткой.

— Александр! Дорогой! Чем может вам услужить такая старушенция как я? Ах, как он целует ручки! Только русские так умеют!

Ну, конечно же, она поддержит Железную Маску, будет его защищать зубами и ногтями.

— Что вы о нем знаете? Сколько ему лет? Красивый мальчик? Могу я сказать, что вы по водосточной трубе проникли в эту психбольницу?

Жанна Буйон уже рассматривала Железную Маску как свое создание. Конечно, нужно будет объяснить странное

совпадение: у нее появилась мысль написать эту статью как раз в то время, когда ее друг Александр заполучил рукопись... Она озаглавит статью „Книга, которая, быть может, изменит историю СССР”.

Александр, развалившись в кресле, рассматривал гигантских насекомых — термиты? богомолы? — поднимающихся на штурм люстры.

— Кстати, Жанна, что это за слухи вокруг Курносова и Железной Маски? Где вы откопали всю эту информацию?

У нее была привычка, когда она смеялась, закрывать рот рукой.

— Вы что, серьезно думаете, что я вам открою фамилии моих осведомителей? Так говорят, вот и все.

Что касается Александра, он был уверен, что слухи распускаются другим „оркестром” Питмана и что они — ложные. Курносов наверняка был расстрелян после неудачного покушения на Брежнева. Это нормально. Но сидел ли действительно узник в камере № 000? Или санитары и психиатр-гигант входили в нее только для того, чтобы питать очередную кампанию по дезинформации Запада? Все было возможным в царстве иллюзий... Он вспомнил об изысканной пище, которую готовили, возможно, зная, что она предназначена для несуществующего „гостя”. Санитары, наверное, пожирали ее по очереди.

Месье Иоганес-Граф восседал в скудном, без окон, подвальном помещении.

— Месье Псарь, позвольте задать вам два вопроса. Первый фактологический, второй — по существу.

Иоганес-Граф носил профессорские очки на вытянутом лице. Когда-то он был пастором, но затем направил свои стопы к мутному миру, в котором литература — политика и политика — литература. Ему ставили это в упрек. И он отвечал: „Я знаю, что эта среда чрезвычайно развращена. Поэтому хорошо, чтобы в ней работал, как бы это сказать, честный человек”.

— Месье Псарь, первый вопрос: рукопись уже у вас и читали ли вы ее? Второй вопрос: можете ли вы подтвердить, что этот труд — искренен? Что автор, нас в данном случае не интересуют извилины его жизненного опыта и лабиринт его мнений, действительно думает то, о чем говорит?

— Месье, разумеется, я не встречался с анонимным узником. Но текст рукописи говорит за себя. Для того, кто, как я, прочел это произведение от корки до корки (рукопись еще не покинула пределы Советского Союза), оно такое же подлинное, как „Записки из Мертвого дома” или „Исповедь” (Иоганес-Граф был поклонником Руссо).

— Видите ли, нас немного беспокоит атмосфера сенсации, которую хотят создать вокруг этого дела... Мы знаем, что надо продавать, но все-таки не лишь бы что. Однако я вам доверяю. Я подозреваю, что вы публиковали вещи, противоречащие вашим глубоким убеждениям, но вы отдали предпочтение вашему, как сказать, уважению к справедливости. Как вы знаете, наш журнал летом не выходит, но осенью, после отпусков, можете рассчитывать на нашу помощь (его пуританские челюсти монотонно сжимались и разжимались). Кстати, что мы можем написать, не прочтя рукопись? Вы знаете, что в отличие от некоторых других, мы читаем, прежде чем писать рецензию. Именно поэтому к нашему мнению прислушиваются в политических кругах, правительственных, университетских, административных, где и находится, как сказать, стоящий читатель.

У каждой жизни есть своя вершина. Александр достиг своей в возрасте сорока девяти лет, в пятницу в 12 часов 45 минут пополудни на Пьяцца Навоне в Риме.

Перед фонтаном прохаживался здоровенный парень в блестящей коричнево-оранжевой куртке. Под мышкой у него был пакет с журналами „Огонек”.

Александр, скрестив руки за спиной, подошел, сказал по-русски:

— Не знаю, какой дурак придумывает эти глупые пароли, но сегодня это *Armi, fuge e morti*.

Вячеслав сузил глаза, словно в них попал табачный дым.

— Не дурак. Дура.

Он протянул пачку и собрался было уйти.

— Подождите.

Александр нащупал в пакете конверт; не вынимая его, ногтем приоткрыл краешек и узнал убористый почерк, покрывающий почти прозрачные листы.

— Можете быть свободны.

„Почти как офицер, — подумал Вячеслав. — Нет, он мне все-таки сказал вы”. Он ушел, посвистывая, руки в карманы.

Десять минут спустя на место встречи пришел сеньор Груччи. Он прождал полчаса. Никого. Нужно будет завтра, в субботу, снова тащиться сюда. А он рассчитывал завтрашний день провести на пляже в Остии!

В такси Александр развязал пакет, аккуратно свернул веревочку и сунул ее в карман. Он не знал, что с ней делать, но веревочка была русской, прибыла оттуда... и он не смог ее выбросить. Журналы и конверт тоже прибыли оттуда, но он, Бог знает почему, не ощутил к ним подобной сентиментальности. Оставил их на сиденье.

Рукопись, которую он держал в руках — триста девяносто девять страниц, без полей, исписанные синим острым, наклонным и убористым почерком, — была сокровищем, но сокровищем двусмысленным: для читателей — воплощенным криком идеалиста, едва не убившего и едва не погибшего; для издательства „Люкс” — золотое дно; для Управления — инструмент новой победы; для Александра — залог его новой жизни. Александр не был мечтателем, и он редко представлял себе эту свою будущую новую жизнь, но время от времени его пронизывали интуитивные порывы. Вот и сейчас в Риме, сидя в такси, он с нежной гордостью подумал, что ему нужно будет воспитывать сына и что он воспитает его в духе служения, чего на Западе уже давно не делают.

Он пролистал страницы необычного формата. Машинально проверил орфографию: да, это был современный русский

язык с его упрощенной орфографией, которая всегда раздражала его. Но тот факт, что он хотел в этом удостовериться, озадачил его: старинный слог, стиль, вдохновленный сказками и былинами, все это не указывало, что автор работает в ГБ.

Александр не смотрел на уходящий Рим, он думал о триумфе, который ожидает его после опубликования „Русской правды”. Перевод на все языки, большая прибыль, дискредитация диссидентов...

Он сел в самолет, пообещав себе, что начнет читать рукопись только после взлета.

Ему показалось, что полет длился не больше одной долгой минуты.

Когда самолет приземлился, Александр уже знал, почему Иван Иванович хотел, чтобы он убедил издателя подписать контракт и добился поддержки прессы до того, как прочтет рукопись.

Эту рукопись издать было не-воз-мож-но.

— Маргарита, позвоните мадам Бойс.

— Месье, мадам Бойс на проводе.

— Мы выпьем сегодня вечером.

И вечером произошла новая встреча Александра с Иваном Ивановичем.

— Кто написал эту грудку преступной глупости? Нет, я не об этом спрашиваю: этого ты не знаешь. Но кто решил это издать? Это не может быть Питман: он бы понял, что это невозможно. Подписан контракт или нет, но „Люкс” никогда не согласится издать рукопись. Да и кто согласится? Я не ставлю знака своего агентства на титульном листе. Если по какой-то безумной причине этот бред должен быть издан, нужно создать издательство для одной этой книги или для других подобных, если у вас их целый склад. Слушай, Иван Иванович: Шапки-Невидимки, может быть, и рехнулись, но парижские издатели — пока нет. Журналисты тоже. Если какая-нибудь правая лавочка осмелится опубликовать это...

— Будет скандал? Но, Александр Дмитриевич, голубчик, скандалы выгодны.

— Ты смешишь меня своим простофильским цинизмом. Не будет скандала. Ничего не будет. Ни малейшего всплеска. Мертвая тишина. Будут говорить о другом, как делают, когда кто-нибудь отрыгнет за столом. Ты не понимаешь, Иван Иванович, мы живем в обществе, в котором роли распределены раз и навсегда: нужно согласиться на свою или стать ничем. Это то, что на Западе называется свободой. Например, советский диссидент должен быть либералом: марксистским, если он хочет, националистом в крайнем случае, но либералом. Нелиберальный диссидент — неприемлемое понятие. Если б я получил рукопись по почте, знаешь, что бы я с ней сделал?

Иван Иванович послунывил палец и пригладил пересекающие череп рыжие волосинки.

— Ты достаточно умен, Александр Дмитриевич, чтобы понять, что, может быть, именно поэтому тебе ее и не прислали по почте.

— Иван Иванович, я знаю, что такое дезинформация: это моя профессия. Но есть границы. Я не могу брать на себя ответственность за опубликование таких фраз, как... Да, были бы только фразы! Можно сократить. Но вся книга пронизана этим образом мысли.

— Каким образом?

Александр прочел вслух абзац, очерченный им красным карандашом:

— „Каждый раз, когда коммунистическая партия, не обладающая тайной поддержкой СССР, сталкивалась в рамках отдельной страны с либеральной, буржуазной, аристократической, консервативной или реакционной партией, она побеждала. Каждый раз, когда она сталкивалась с фашистской, следовательно реформаторской, партией, она проигрывала”. И он дает исторические примеры! Ты хорошо понимаешь, что в свободном обществе такие провокации так просто не делаются.

— Даже при наличии такого феномена как новые правые?

— В особенности при наличии такого феномена как новые правые. Фурвере за последние годы несколько отошел от левых, потому что все левое стало хуже продаваться, это общеизвестный факт. Но рискнуть стать союзником противной стороны... Издать „Русскую правду” невозможно. Почему тогда не переиздать „Протоколы сионских мудрецов”, „Майн кампф” или Морраса. Хотя нет, Моррас к этой компании не подходит: настоящий монархист не может быть фашистом. Слушай, я тебе открою одну вещь: это мое Управление придумало гениальную идею приписать фашизм правым, на самом деле фашизм левее, чем мы. Нет, я отказываюсь участвовать в этой обреченной на провал операции. Ты уверен, что здесь нет саботажа? Проникнуть в операцию по распространению влияния противника и заставить ее работать на себя — вот это искусство!

Взгляд Ивана Ивановича смягчился:

— Ты меня огорчаешь, Сашенька, очень огорчаешь. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь открыто не подчинялся.

— Глупости. Я напишу Питману подробный отчет, который ты отправишь по радио. Увидишь, произошла ошибка.

Ответ пришел на следующий день.

„Настоящим подтверждаются данные вам устно указания. Считайте этот текст приказом. Необходимо, чтобы рукопись была опубликована издателем, фамилия которого вам была дана. Ни в коем случае книга не должна быть издана правым издателем. Предупреждаю: текст не должен быть смягчен во время перевода. Любое отклонение такого рода будет расценено как недисциплинированность. Если издатель потребует текст по мере перевода, — откажите. Перевод рукописи должен быть вручен целиком. Ни одного дополнительного отрывка не будет передано прессе. Продолжайте направлять все усилия, чтобы книга стала международным явлением. Подпись: генерал-лейтенант Питман”.

Иван Иванович любил кафе, расположенные в черте старого города, это была его мания, из-за которой выходящие на связь второстепенные агенты рано или поздно попадались. Сидя в одном из таких кафе, Александр читал и перечитывал

машинописную страницу, на которой в изобилии было указано „срочно”, „строго секретно”, дата-время и прочие телеграфные пометки.

Иван Иванович снисходительно улыбнулся и протянул руку: послание, разумеется, должно быть ему возвращено.

На краешке стола Александр нацарапал свой ответ. Да, он все выполнит. Но он отказывается нести ответственность за операцию: „Ни „Люкс”, ни другое уважающее себя издательство не опубликует „Русскую правду”. В том невероятном случае, если произведение будет все-таки опубликовано, пресса с отвращением от него отвернется, и оно не станет не только международным, но и частным событием. Автор рукописи, кем бы он ни был, явно нарушил данные ему указания. Предлагаю, чтобы текст был прочитан на более высоком уровне”.

Между тем известные диссиденты, к которым обратилось агентство Псаря, начали реагировать. Те, которые остались марксистами, выразили свое сомнение относительно существования специфической русской правды, но хвалили народный стиль анонимного узника, довольные тем, что он ссылается на Псковское вече, символ древней независимости общин, а следовательно, коммунистического призвания страны. Они, конечно же, присоединялись к осуждению ростовщичества, что было равносильно осуждению капитализма. Один из них написал длинную статью, в которой указывал, что анонимный узник вдохновлялся его произведениями, которые проникли даже в камеру № 000 спецсихбольницы. Другой уже предвидел выводы, которые сделает автор книги: коммунизм сам по себе хорош: неудачны лишь его попытки претворения в жизнь, следует поэтому возобновить эксперимент, но не отказываться от доктрины.

Один антимарксистский писатель приветствовал литературный стиль анонимного узника: „Хорош, как хлеб: нежный внутри, хрустящий снаружи”. Один критик прокомментировал: „Нашему хору диссидентов грозило переливание из пустого в порожнее, но вот сильный баритон произнес новый глагол, в некотором роде неокрыловский”. Один мо-

ралист открыто радовался тому, что узник камеры № 000 не скоро выйдет на свободу: „Нужно различать перебежчиков, которые, оказавшись в безопасности за границей, яростно выступают против режима, и пророков, которые выступали как свободные люди, еще не будучи ими. Но впервые неукротимая песня свободы поднимается из самых глубин психушки”.

Это последнее утверждение, возможно, и объясняло единому духу, с которым диссиденты, разделенные между собой, заранее приветствовали появление „Русской правды”: одни предпочитали не делить западный пирог на слишком большое количество кусков, другие понимали, что положение узника возвышает его над всеми существующими между группировками разногласиями. Бородатый маг, которым некоторые так восхищались, что начинали ненавидеть, из своей слоновой башни, окруженной колючей проволокой, прокомментировал криптограмму на колоколе: „Железная Маска точно выразила исконно русский итог монархического предания. Мы ждем с отчаянием и надеждой, что наша правда, правда грубая и священная, девизом которой веками было: „Мы русские, с нами Бог”, вдохновит этого витязя нашего времени, единственного среди нас, осмелившегося взять в руки оружие, чтоб защитить свою веру”.

Александр с презрением читал все это. „Терпеть не могу перебежчиков любого фасона”. Эти люди были для него предателями, независимо от того, что ими руководимо: мелкая неудовлетворенная амбиция, маленькая зарплата или не находящая себе покоя совестишка.

Переводчики были собраны. Александр уже не стремился сделать наилучший перевод в кратчайший срок, главное, чтоб этот перевод остался в тайне как можно дольше. Вместо пяти он выбрал двух переводчиков: риск утечки меньше, работа будет закончена позднее, и у Фурвере останется меньше возможностей отказаться от контракта. Были выбраны довольно чопорная пожилая русская дама, проживающая в доме для престарелых, и молодой преподаватель русского языка, который будет работать во время каникул

в Ирландии. Они были выбраны не из-за таланта, но потому, что не смогут общаться ни между собой, ни с парижской интеллигенцией. От остальных трех переводчиков отказались. Это было только начало: Александр знал, что Железная Маска сожжет все на своем пути. К счастью, нагромождение притч „Русской правды” давало возможность разделить работу между переводчиками так, чтобы сделать ее непонятной. После первого чтения преподаватель заявил, что с политической точки зрения рукопись трудно переварить, а пожилая дама столкнулась с непривычными терминами, вроде: „фам.”, „устар.”, „простонар.”, но им объяснили, что обе части, соединенные вместе, создадут ясное и понятное целое, и они успокоились. Да и какое им до всего этого дело, ведь им платили, и платили совсем неплохо. Постепенно Александр оказался околдованным этой миссией, в которую продолжал не верить, как Иван Денисович своими кирпичами.

Прошел июль. Переведенные страницы приходили по почте. Александр исправлял, соединял, возмущался, привыкая к своему возмущению. Ему поручили задание, заранее обреченное на провал, он предупредил об этом. Теперь же он старался сделать все, чтобы выполнить его, и считал оправданным и предвиденным им провал, и подготовленный им успех.

Чтобы выпустить книгу в сентябре, Фурвере, изменив свой издательский план, хотел получить рукопись в конце июля. Александр дотянул до 10 августа. Он должен был провести две недели отпуска с Жессикой и ее друзьями на их яхте, но отказался. Жессика не обиделась: „Вполне обойдусь без подставного любовника”, и взяла с собой атташе одного южно-американского посольства. В это лето заторы на дорогах побили все рекорды. В Париже закрылись любимые Александром рестораны, и он вынужден был питаться в кафе, удивляясь их дешевизне. Он тратил в четыре раза меньше времени, чтобы добраться от дома до конторы. Два издателя предложили издать „Русскую правду” по-русски. Александр отказал. Один из издателей попытался узнать фамилии переводчиков, но безуспешно. В кинотеат-

рах шли только фестивальные фильмы. Места для парковки машин было хоть отбавляй. Маргарита, собиравшаяся взять отпуск в августе, спросила, не лучше ли ей остаться, раз должна быть издана важная книга. Александр думал, что книга не выйдет. В любом случае, если и начнется весь сыр-бор, то не раньше сентября.

— Нет, нет, Маргарита, поезжайте отдохните. Кстати, куда вы собираетесь?

Она ехала к матери в Лизье, так что, стоит ему позвонить, и она сразу вернется. Она уехала. Только через несколько дней ему начало ее не доставать. У нее был такой услужливый, такой почтительный взгляд... Он рассеянно подумал, какого, собственно, цвета у нее глаза, и убедился, что не знает. „Я уже давно живу в футляре. Скоро все это изменится”. Погода была неустойчивой, было не очень жарко. „Этот август менее жаркий, чем тот июнь, тридцать лет назад”. Ему пришлось в голову пойти на галерею Химер, но как только он увидел десять автобусов, выплевывающих свой груз тевтонцев у маленькой лестницы Квазимодо, он передумал. Ему было любопытно, какая сейчас погода в Москве, в Ленинграде. „Если Управление имеет филиал в Ленинграде, я бы хотел иметь квартиру на Фонтанке...”

Наконец перевод был закончен. Несмотря на спешку Фурвере („Типография ждет! Из-за нас она не закрылась на август!”), Александр тянул еще несколько дней. Он вносил последние исправления, перепечатывал самые грязные страницы. В конце концов ему пришлось все же отнести в издательство „Люкс” толстую белую папку с белыми тесемками, прошитыми красными нитками. Александр положил на стол свою бомбу, был засыпан благодарностями и стал ждать взрыва.

Кабинет директора издательства „Люкс” был большим, белым, мебель состояла из стола, трех кресел и витрины с коллекцией испанских крестиков: предметы веры для одних, драгоценные сувениры для других. Стол стоял у окна

так, чтобы посетитель оказывался в полном свете дня, в то время как суровое, но справедливое лицо директора оставалось в светотени. Некоторые думали, что это случайно, но достаточно было прийти к Фурвере вечером, чтобы убедиться, что электрические лампы были расположены нужным образом для того же эффекта.

Рукопожатие. Садитесь. Фурвере поудобнее устроился за столом, сложил руки, опустил глаза. На его аскетическом лице были большие квадратные очки, которые он умел в нужный момент величественно снимать.

Александр ждал. Он был хладнокровным человеком, но необходимость отстаивать осуждаемый им самим проект, ставила его в глупое положение.

Подумав, ме-сье Фурвере поднял голову, красноречиво снял очки и произнес со свирепой улыбкой:

— Значит, нужно быть правым потому, что добрый разбойник был распят справа от плотника из Назарета!

Он сделал паузу и продолжил более громко:

— А когда Он с отвращением отверг золотую монету, сказав, что хлам, принадлежащий Цезарю, нужно отдать Цезарю, то на самом деле Он хотел сказать, что монетный двор должен принадлежать не банкам, а государству! В царской России было, пропорционально, в семь раз меньше полицейских, чем в Великобритании, и в пять раз меньше, чем во Франции! Коммунизм, эта иностранная болезнь, привился в России, как грипп на Гавайских островах, только потому, что старый режим в своей невинности не выработал нужных антител!

Фурвере одел очки и принял суровый вид:

— Скажите мне, дорогой Псарь, над кем мы издеваемся?

Александр заранее приготовился к обороне. Он положил на стол ряд изречений, выбранных им из писем диссидентов. Умно подобранные и расположенные, каждое положительно оценивающее рукопись, — они были блестящими.

— Это для обложки.

Фурвере бросил взгляд на бумагу и отбросил ее.

— Они не читади. Я тоже, пока не прочел...

Он встал, заходил по кабинету, руки за спиной, время от времени освобождая одну руку для аристократичного жеста.

— Мой дорогой Псарь, мне казалось, что несмотря на наши разногласия, нас объединяет одно: интеллектуальная честность. Бог видит, моя репутация известна в Париже, все знают, что я издатель, знают, что прежде всего я добросовестный издатель. Знают, что в силу своих возможностей я всегда старался поставить свое издательство на службу совести, и не потому, что она моя, а просто, я считаю, совесть всех людей доброй воли настроена на один лад. Я христианин; у меня есть неверующие сотрудники; возможно, вернее наверняка, есть среди них коммунисты, но какое это имеет значение, если мы, видя прекрасное произведение или доброе дело, единодушно одобряем их, а видя злое дело или уродливое произведение, так же единодушно осуждаем его. Другие издатели, может быть, думают только о звонкой монете (он произнес последние слова с отвращением, словно они были оскорбительными, и одновременно сделал презрительный жест, будто щупал деньги). Для меня это... Если б я хотел, дорогой мой Псарь, я был бы богатым человеком. Но для меня важнее всего кровоточащее сердце человечества, по которому кровоточит и мое сердце. И в этом страдании одних для других и человека искусства для всего общества я и вижу основное значение всего, что мы старались осуществить в издательстве „Люкс”: люкс равнозначно свету.

Вы... я уважал вас, Псарь (он произнес Пса-а-а-рь, будто этим именем у него был набит рот, и это становилось оскорбительным). Вы уже давно руководите для меня сериями „Генезис революций” и „Белая Книга”, с которыми не могут сравниться никакие серии никаких издательств. Я не думаю, что ваши политические убеждения выходят за рамки благопристойности; в конце концов пока человек не становится экстремистом, он продолжает пользоваться уважением, даже если он правый, во всяком случае я так считаю. Так что я вас спрашиваю (он остановился и снял очки, как вынимают саблю из ножен): что случилось?

Александр смотрел на издателя, не скрывая своей веселости.

— Что с вами, Фурвере? Для чего вы размахиваете великими принципами? Вы не согласны с программой анонимного узника? Кто вам сказал, что я с ней согласен? Разве мы фанатики, публикующие лишь теории, которые поддерживаем? По-вашему, свобода прессы состоит в том, чтобы давать слово только тем, кто мыслит как вы, — или чуть-чуть левее?

Фурвере вернулся к своему столу, начал протирать платком стекла очков, показывая, что его терпение безгранично. Он больше не смотрел на Александра. Иногда поворачивался к нему спиной. Затем сказал, сбавив тон:

— Я, как вы можете себе представить, уже не знаю, что о вас думать. Можете быть довольны, я по вашей вине не спал всю ночь. Я задавал себе вопрос — стали ли вы вдруг слепым, глупым или, простите меня, продажным? Но если предположить последнее, кому вы могли продаться? Связались с какой-нибудь неонацистской организацией? Заплатили вам, чтобы меня обесчестить? Вы должны были бы знать, что я так легко не поддамся! Кстати, какую выгоду мог бы я получить? „Русской правды” не продать и двух тысяч экземпляров.

Хочу вам открыть, что, будучи озадаченным, я пошел к Жозе Балландару, который, как вы знаете, мой старый друг. Попросив держать все в строжайшей тайне, я прочел ему несколько отрывков этого дерьма. И затем спросил его: „Я знаю, что, публикуя это, совершаю дурное дело. Предположим. Какой будет ваша реакция?” Вы знаете Балландара: это воплощенная совесть. Он ответил: „Ради вас и вашего издательства я наброшу на вашу слабость плащ-невидимку. Я буду вести себя так, словно книга не была издана”.

Александр спросил сдержанным голосом:

— Если я вас правильно понял, Фурвере, вы намереваетесь порвать наш контракт?

Вопрос развеселил издателя:

— Не вас, Пса-а-а-рь, учить, что договор с издательством... Я возвращаю вам ваши права, которые даже не ваши, по-

сколько вы не получили от автора нужных полномочий. Только и всего. Но в конце концов сделайте мне честь, объясните, как вы осмелились предложить мне эту грудку чуши и мерзости?

Александр обладал способностью, глядя в глаза собеседнику, отрицать очевидное, благодаря чему добился многочисленных успехов в своих двух профессиях: видимой и настоящей.

— Чушь, мерзость, дерьмо... Это все не аргументы, Фурвере. Все, что я слышу от вас в течение четверти часа, это брань в адрес человека, подышающего в настоящее время в психиатрической тюрьме. Цель же: успокоить совесть издателя, который всегда славился интеллектуальной честностью и который отказывается от контракта, потому что знает, что анонимный узник не сможет ничего против него предпринять. Что вам в конечном счете не нравится в „Русской правде“?

— Эти удары ниже пояса недостойны вас, Псарь, — сказал, вновь усаживаясь за стол, Фурвере. — Либо этот текст вполне можно опубликовать, и я не наносу вам никакого вреда, предлагая отдать его другому издателю, либо его невозможно опубликовать, и вы, заставляя меня это сделать, желаете мне зла.

Он вновь надел очки, как английский судья свой парик, и заглянул в блокнот.

— Насколько можно разобраться в этом бессвязном по форме произведении, оно отстаивает следующий тезис:

1. Несчастья нынешнего мира исходят из капитализма.
2. Поэтому нужно уничтожить коммунизм (!) и
3. Заменить его теократической монархией, основным атрибутом которой был бы выпуск денег. Я ничего не придумываю. На все это ложится абсурдное утверждение-обвинение, что существует мировой заговор ростовщиков. К тому же приводятся так называемые исторические примеры типа: Рузвельт был агентом Сталина, который в свою очередь был агентом Рокфеллера. И после этого вы еще спрашиваете, что мне не нравится в „Русской правде“? Мое серд-

це истекает кровью по России, вы это знаете. Я обвиняю „Русскую правду” в том, что она не русская и не правда. Только и всего.

Александру не оставалось ничего другого, как ответить:

— Разумеется, я не разделяю идей этого сумасшедшего, но я считаю, представьте себе, его безумие интересным, и думаю, что при поддержке прессы...

— Да, милый друг, но этой поддержки мы не получим. Я вам уже сказал, что мне ответил Балландар, авторитет которого вам известен и который всегда хорошо относился к нашему издательству.

Александр встал, потянул рукопись к себе. Фурвере посмотрел на него снизу вверх. Затем снял очки, как снимают маску.

— Пса-а-а-рь, я увидел вас под совершенно другим освещением и, наверное, зря продолжаю вам доверять. Видит Бог: я предпочитаю ошибаться из-за чрезмерного доверия, чем из-за чрезмерного недоверия (когда он говорил „Видит Бог”, он поднимал глаза к небу, затем, опуская их, скользил взглядом по своей коллекции крестов). Если эта вещь будет опубликована в другом издательстве, хотя меня удивит, если вы найдете кого-нибудь, даже среди людей нашей профессии, достаточно гнусного, чтобы рискнуть на это, — я буду вынужден, к моему искреннему сожалению, отказаться от дальнейшего сотрудничества с вами. Напротив, если вы поймете, что были ослеплены и обмануты вашей славянской чувствительностью, и выбросите эту пакость в первую же канаву, тогда... — Он улыбнулся широко: он стал отцом, радостно обнимающим блудного сына. — Тогда „Генезис Революций” и „Белая Книга” по-прежнему ваши. Мы закопаем топор войны и забудем этот маленький инцидент. Конечно, из-за всего этого я потерял не так уж мало денег... но что такое деньги?

Он сделал рукой, держащей очки, щедрый жест. Затем, надев их вновь, проводил Александра до двери. На пороге остановился и взял его за руку. Его благородное лицо стало еще благороднее:

— Я на двадцать лет старше вас, Псарь. И позволю себе дать вам совет, — он закрыл глаза и тихо сказал. — Молитесь.

Он сжал руку Александра обеими руками и продержал ее в этой западне несколько мгновений.

Александр предвидел отказ Фурвере и в общем-то его одобрял. Но от этого было не легче, особенно учитывая завуалированные угрозы и покровительственные советы.

Он позвонил Ивану Ивановичу. Тот не был удивлен отказом издателя и спросил только:

— Если предположить, что книга все-таки выйдет, что нужно сделать, чтобы она имела успех?

— Если разгадаешь эту тайну, переходи на Запад: станешь миллиардером.

— Изучение рынка...

— Ничего не даст. Во всяком случае, вначале. Мы точно знаем, что нужно, чтобы книга, имеющая успех, получила еще больший успех. Но в самом начале книга попадает в водоворот случая, вернее мы отдаем ее на волю судьбы. Большинство тонет; некоторые выплывают, и мы стараемся вывести их в открытое море, но первый бросок делается наугад. Подумай, есть порнографическо-полицейские романы, которые постигает полный крах, и настоящие большие книги, которые пользуются успехом.

— Но все-таки. Поддержка прессы...

— Не самое главное.

— Все же редко бывает, чтобы пресса хором лаяла вокруг книги и чтобы ее никто не покупал.

— Редко.

— И не бывает, чтобы в деревне лаяла одна собака, а другие ее не поддержали.

— Куда ты ведешь, Иван Иванович?

— Кто лучше всех тявкает и способен увлечь других?

— Лучший — Балландар, и он состоит в моем „оркестре”, но я тебе уже сказал, что он думает о вашей лице. И — правильно думает.

— Дело не в этом. Можешь ли ты найти одного-двух, чтоб ему возразить?

— Как только он выскажется, конечно. Две трети журналистов пишут только о книгах, отмеченных Балландаром. Одни повторяют что он сказал, другие — заявляют противоположное. Но повторяю тебе, Фурвере нас не издаст, и даже, если бы он издал нас, Балландар будет молчать. Я вас предупреждал.

— У нас есть возможности. Ты догадываешься, что раз эти два музыканта были присоединены к твоему „оркестру”, значит они должны подпевать, иначе...

— Не будь наивным, Иван Иванович. Мы живем в Париже в конце XX века. Нет у людей тайных грехов, раз все можно. Если, например, твоя жена узнает, что ты заглядываешься на Жессику, она пройдетя по тебе скалкой, но сделает это только потому, что не принадлежит к интеллигенции. Кончились те времена.

Иван Иванович пропустил намек мимо ушей. Он назначил встречу на следующий день. В одном из кафе на окраине Парижа, у Орлеанских ворот.

От Орлеанских ворот Александр, размахивая портфелем, направился прямо в издательство „Люкс”. Было 14 августа, и он нашел издательство на запоре. Фурвере должен был находиться в своем имении в Дурдане. Поехать туда? Соблазн был большой, но все эти заторы... Да и особое удовольствие было в том, чтобы открыть огонь как можно позднее... „Поеду завтра”.

На следующий день в половине двенадцатого Александр прибыл в имение, где часто бывал желанным гостем. Здесь праздновался успех Белой Книги о народном образовании в компании многочисленных профессоров Сорбонны, а также успех Белой Книги о Церкви в обществе нескольких прелатов.

Белый фасад здания в стиле Наполеона III, который в свою очередь подражал стилю Людовика XVI, был как но-

венький. Гравий во дворе был безупречно уложен и нежно скрипел под колесами.

— Все на мессе, месье Псарь, — сказала мадам Эмильен. — Хотите подождать в гостиной? Или подать вам аперитив в сад?

Обычно Александр предпочитал сидеть в доме, но сегодня ему хотелось дышать полной грудью. Он сел под навес. Парк был не больше гектара, и чтобы создать иллюзию большей площади и многоплановости, дорожки были сделаны на английский лад. Большие деревья тянули к небу листву. Пели птицы. Едва видимый туман смягчал свет дня. Александр поставил портфель у ног и время от времени дотрагивался до него носком ботинка. Льдинки позванивали в хрустальном бокале.

Раздался шум, и из наружной застекленной двери появилась гурьба детишек в сопровождении нескольких взрослых.

— Мой дорогой Пса-а-а-рь! Какая приятная неожиданность! Вы, разумеется, пообедаете с нами?

Фурвере улыбался, обнажая все свои зубы, но взгляд оставался настороженным. Он тряс Александру руку, но приглашение его было явно из тех, от которых принято отказываться.

— Еще не знаю. Мне нужно с вами поговорить по срочному делу. Прошу прощения, что пришлось приехать сюда.

— Что вы, что вы, — сказала мадам Фурвере, высокая худая женщина, с наивно-провинциальными манерами. — Мы рады вас видеть. Вы знакомы с моей дочерью мадам Фобер? А вот мои внуки...

У детей были простые имена. Их так хорошо воспитали, что они даже этого не стеснялись. Они вели себя скромно и остались ровно столько времени, сколько нужно было. Александр обошелся без вопросов о школе; только, глядя им прямо в глаза, серьезно поздоровался с каждым. Это им понравилось. Его взгляд задержался на пятилетнем Никола́, белокуром коротко остриженном мальчике:

— Кем вы хотите стать, когда будете большим, Никола́?

— Я хочу стать бирзовым маклером, как папа.

Александр удивился:

— В вашем возрасте я хотел командовать подводной лодкой.

Фурвере взял его за локоть.

— Что это за срочное дело? Вы пришли сказать, что подумали и отказываетесь публиковать это...

— Давайте прогуляемся по парку, — предложил Александр.

Он испытывал жгучее удовольствие, зная, что сейчас сделает, и все-таки не знал, с чего начать. Слава Богу, не из жалости, но глубоко в нем сидящие правила хорошего тона мешали ему: было стыдно унижать этого человека, превратить его в ничто.

Они шли между пожелтевшими от зноя газонами. Гудели пчелы. На террасе Эмильен накрывала на стол. Будет настоящий праздник Успения: с мессой, с дедушкой и бабушкой, обедом в парке, водой, разбавленной вином, для детей постарше, с маленьким происшествием во время десерта из-за пчелы, которую поймает один мальчик и которую захочет обезглавить ножом.

Фурвере остановился, наблюдая за семьей поверх лужайки, дорожки и цветника. Дети мило спорили, выясняя, кто куда сядет. Одна маленькая девочка торжественно помогала Эмильен: „Нет, если месье останется обедать, это смещает один ряд“. Мадам Фурвере и мадам Фобер, держа в руках по стакану портвейна, оживленно беседовали.

Мать настаивала:

— Можешь говорить, что хочешь, а мне жаль, что нет больше платьиц для причастниц. Они никому не мешали, и ты можешь себе представить, какой красивой была бы Мари-Каролин в кружевах!

Мадам Фурвере говорила громко, с отчаянием человека, чей авторитет отошел в прошлое. Мадам Фобер нежно смеялась:

— Мама, вы никогда не изменитесь. Кстати, если бы вы изменились, я первая пожалела б об этом.

Суровое лицо Фурвере осветилось изнутри. Он тихо сказал:

— Христианская семья — это прекрасно.

Этого только и нужно было Александру.

— Да, это прекрасно. Но не всегда этого достаточно.

— Я вас не понимаю.

Они не смотрели друг на друга, глаза их по-прежнему были устремлены на умильные сцены, разыгрывающиеся под навесом.

— Около тридцати лет назад, — продолжал Александр, — у некоторых довольно известных людей, многие из которых имели христианские семьи, были неприятности из-за участия в так называемых „розовых” и „синих” балетах. Для многих это оказалось концом карьеры. Было несколько самоубийств. Эти господа, видите ли, были неосторожны. Их молоденькие жертвы или партнерши, назовите как хотите, были допрошены и все рассказали: „Этот месье делал мне то-то, а этот месье делал то-то”.

— Я знаю об этой истории, — сказал Фурвере, улыбаясь и продолжая смотреть прямо перед собой.

— Спустя некоторое время в одном небольшом городе было создано благотворительное учреждение, имеющее целью приютить сирот и дать им образование. И удивительное дело: это частное предприятие никогда не обращалось за помощью к добрым душам, но когда сиротки стали взрослыми, они покинули его не с пустыми кошельками. Правда, нужно сказать, что эти милые детки не бездельничали во время своего пребывания в приюте и, в частности, обладали одной особенностью, делавшей их в глазах покровителей необыкновенно ценными... Вы никогда не слышали, Фурвере, о благотворительном доме для слепых сирот в Виль-д'Авре?

Фурвере повернулся к Александру. Голос его был взволнован, но он забыл о своей улыбке, оставшейся на лице, о своей благородной и гуманной улыбке.

— Для чего вы мне рассказываете об этой ужасной истории? Эти чудовища, эти гнусные, наверное, люди, наверняка неуязвимы, поскольку их никто никогда не видел.

— А! Вот именно, — сказал с легкомыслием в голосе Александр. — Я знаю, что у этих господ есть псевдонимы, с помощью которых они поддерживают связь с дирекцией, не компрометируя себя, и ключи, чтобы незаметно проникать в дом, и даже в комнаты слепых сироток... Но Бог, дорогой мой Фурвере, Бог, как вы любите говорить, видит все и везде. И не только Бог. Знаете, скрытые в стенах фотоаппараты существуют не только в кинофильмах.

Он щелкнул застежкой своего портфеля.

— Фурвере, вас интересуют порнографические фотографии? На одной даже видна белая трость возле кровати.

Дело слепых сироток началось лет пятнадцать назад. Управление действительно серьезно заинтересовано в издании „Русской правды“, если решилось побеспокоить замешанных в этом деле людей.

Фурвере снова посмотрел на свою жену, дочь, на веселящихся внуков — по ту сторону лужайки и георгинов.

Никола закричал, размахивая ножом над головой:

— А вот и пцолы!

У Фурвере словно обledenели губы, и он с трудом произнес:

— Книга будет издана в указанный срок.

— И вы сделаете все, что нужно, чтобы она стала триумфом. Иначе я ничего не могу гарантировать.

— Я сделаю все, что смогу.

Тогда улыбка заиграла на костлявом лице Александра:

— В таком случае я с радостью принимаю приглашение отобедать в кругу вашей семьи.

После обеда Александр, продолжая роль архангела с карающим мечом, позвонил в журнал „Объектив“. Никто не ответил. Это все растущее безделье работников умственного труда приводило Александра в отчаяние. „Там их хоть заставляют ходить на воскресники“. Он вспомнил, что Фурвере видел Балландара три дня назад. Да и по своему характеру Балландар не был из тех, кто уезжает из Парижа в авгу-

сте: он был снобом и слишком любил летние интрижки. Александр позвонил ему домой. „Конечно, Псарь, приходи-те”. Но в голосе его было колебание: Балландар прочел „Русскую правду” и боялся, что Александр оказался в стане неприкасаемых (заразных), которыми являются правые экстремисты.

Улица Турнон. Здание XVII века, полностью восстанов-ленное в безукоризненно агрессивном стиле. На лестнице бросающиеся в глаза плиты, ковры. Александр не воспользо-вался лифтом: полезно для дыхания, да и лифты вызыва-ли у него приступы клаустрофобии. Он позвонил у большой дубовой двери, на которой красовался лепной орнамент — хорошая подделка под старину.

Сколько начинающих авторов стояли, дрожа, перед этими створками! Сколько публикуемых или нет разыгрыва-ли здесь, иногда искренне, иногда со злобой, комедию почи-тания. „Я вами восхищаюсь, месье Балландар! (Скотина, даже не дал рекомендательного письма для издателя!) Месье Балландар, вы изумительны! (Я готов на все, а он так ниче-го и не попросил.)”. Балландар был из тех людей, о которых ошибочно говорят, что они влияют на литературу. На самом деле влияние его было весьма ограниченным. Чтобы сохра-нить свой авторитет, Балландар постоянно себя ограничивал, цензурировал: „Так не делается... Так сказать нельзя”. У не-го была репутация отважного человека, хотя в действитель-ности он мог пнуть ногой только снежную бабу, рвал только паутину на чердаке да низко кланялся всему, что сопротив-лялось. Как будто достигнув вершины успеха, он жил в веч-ном страхе, что такой-то, женившись, например, на племян-нице такого-то или же сумев оказать влияние на такого-то, отберет у него место, что было довольно легко, потому что, — он это чувствовал, не признаваясь себе самому, — не было у него никакого особенного таланта, одно лишь имя. Поэто-му, создавая себе репутацию молодого интеллектуала, по-кровительствующего другим более молодым (сам он стал молодым, как только перестал быть ребенком, то есть доб-рых сорок лет назад), он тщательно выбирал своих протеже

только из неофитов, также не обладающих большими талантами. Он поддерживал их первую книгу, а затем они становились тем, кем были: страховыми агентами, учителями, и не могли быть Балландару конкурентами. Подумать только: а что мог бы делать Балландар, потеряв свое место и положение? Неудачный писатель может стать критиком. А критик? Но, в общем, Балландар не был ни злым, ни добрым — он был осторожным. Карьера интеллектуала напоминает водные лыжи: нужно только как можно дольше держаться за ручки...

Нажав на красивый медный звонок, Александр подумал, что он тоже во времена, когда считал себя писателем, мог прийти сюда в уверенности, что принес шедевр и что благодаря помощи месье Жозе Балландара станет знаменитым. К счастью, он избежал всех этих унижений. Но, увы, пережил другие. В самом начале своей карьеры, будучи литературным агентом, он обивал пороги то тут, то там: „Прочитайте это, вы меня потом поблагодарите. Вы не хотите хотя бы взглянуть на первую главу? Это произведение ждет бешеный успех: я вам первому говорю. Вы знаете, что автор живьем сжег свою первую жену?” Было не так уж неприятно прийти к одному из этих корифеев литературы и заставить его плясать под свою дудку.

— Заходите, заходите.

Он был любезен, очень любезен, но в этой любезности была нотка превосходства и, разумеется, осторожности. „Разве приходят к людям по делу 15 августа? Он, очевидно, хочет, чтобы я повлиял на решение Фурвере. Но Фурвере прав: к „Русской правде” не стоит прикасаться даже в перчатках”.

Александр вошел. Он мог получить удовлетворение тут же, немедленно: он мог бы потребовать, чтобы Балландар сплясал перед ним на ковре, — и тот бы сплясал. Но он мог потребовать куда больше...

Александр просто спросил:

— Что такое для вас литература?

Балландар, в модной рубашке и белых брюках, ловко скрадывающих излишек жирка в талии, поднял белые брови:

— Литература? Проходите же (он на англо-саксонский манер не пожал посетителю руку.) Чем вас угостить? Сок папайи? Не будете же вы пить виски? Да, я забыл, вы пьете водку с апельсиновым соком, то, что американцы называют „отверткой”. Не хотите? Действительно, виски? Так вы сказали: ли-и-и-тература... Мой дорогой Александр Псарь, вы ставите меня в затруднительное положение. Литература... это... литература революционна по своей сути: Расин против Корнеля, Гюго против Расина. Классическая против современной, вернее, современная против классической... Не так ли?

— Гюго не был против Расина, как и современные авторы не против классической литературы. Они просто пытаются сделать лучше.

— Мда... Это все одно и то же. Литература (он нашел формулировку) есть творческий акт класса или поколения, утверждающегося в борьбе с предыдущим.

— Значит, диалектика?

— Не все плохо в Марксе.

— Диалектика — это Энгельс.

— Не все плохо также в Энгельсе.

— Энгельс был капиталистом, ничего не сделавшим, чтобы облегчить жизнь рабочим.

— Для вас, я вижу, все годится... Когда вам нужно ударить по Энгельсу, вы вдруг начинаете заботиться о благополучии трудящихся! Как это на вас похоже!

Они сидели у маленького малахитового столика в маленькой комнате, неизвестно для чего предназначенной. У Балландара все комнаты одновременно были салонами, курилками, библиотеками, и все они были набиты книгами, посланными ему на отзыв (которые он элегантно не отсылал обратно), для которых он заказывал замечательные полки из эбенового дерева.

Александр огляделся. Нет сомнений, он находился в храме, в памятнике современной литературы. Если когда-нибудь будут писать о литературной критике Франции второй половины XX века, обойти Жозе Балландара будет невозможно, что бы о нем ни написать. Балландар хорошо зараба-

своим золотым пером (и невинным маклерством); Балландара принимали везде, где он хотел быть (или почти); другие журналисты произносили имя Балландара с уважением или с ужасом (что одно и то же); в стране изящной словесности у Балландара было почти официальное положение: если бы пост критика был предусмотрен государственным бюджетом (как у англичан — придворный поэт), то его бы получил Балландар. И все в этом храме возвещало, насколько его высокопревосходительство доволен собой: китайские ширмы, полотна не очень знаменитых мастеров импрессионизма, японская живопись, скрытый кондиционер, английское серебро XVIII века, кавказские ковры.

— У вас, — сказал Александр, — замечательная квартира.

— Нужно же где-то жить, так лучше уж, чтоб это не было отталкивающе.

Взгляд Балландара остановился на стене, на которой расположился настоящий маленький музей современной живописи. Полотна стояли ему не много, но невозможно было предугадать, сколь они будут стоят через двадцать лет. Возможно, состояние. Иначе какое разочарование!

— Так что же, — сказал Балландар, чтобы сменить разговор, — вы тоже из тех, кто остается в августе в Париже?

— Я вынужден. У меня эта книга, которая должны быть издана в сентябре.

— Я думал, что Фурвере...

— Он изменил свое решение. Он решил ударить с плеча.

Балландар забеспокоился. Он был профессиональным удачником. Он одновременно шел по разным направлениям, но не очень отдаленным друг от друга. Он знал Фурвере: это была хитрая лиса, такая же, как и он сам. Они оба знали, что издавать или рукоплескать плохому произведению было равносильно самоубийству. Но в то же время пропустить важное произведение равносильно безнадёжности.

— Фурвере сказал вам, что я просмотрел... скорее одним глазом пробежал.

— Сказал.

— Послушайте, Псарь, вы должны постараться меня понять. Мы друг к другу хорошо относимся, хотя и принадлежим к разным социальным слоям. Я все больше и больше думаю, что никто не должен отвечать за свое происхождение, и я не ставлю вам в упрек ваше. Однако все мы зависим от своего воспитания. Вы, например, пришли в этот мир с привязанностями, которым я не завидую. Я же родился революционером. Мой отец был банкиром, правда, в небольшом банке, но он всегда был вольтерьянцем и антиклерикалом. Его называли красным банкиром! Так что... мы рождаемся такими, как мы есть, не правда ли? Я могу в некоторых случаях возмутиться левым экстремизмом — я это сделал не так давно, — но когда автор начинает доказывать, что Столыпин мог убить в зародыше русскую революцию, что по сравнению с Лениным Гитлер был малым ребенком, то я физически не воспринимаю...

— Что, ваше сердце обливается кровью?

— Сердце? Нет, это для Фурвере. Это у него сердце обливается кровью — ему нужно книги продавать. Нет, я...

— У вас темнеет в глазах.

Александр мог бы просто вынуть из портфеля лист, положить его на малахитовый стол и уйти. Вместо этого он принял сокрушенный вид:

— Короче, Балландар, вы действительно думаете, что лучше воздержаться от издания?

— Фурвере знает, что делает. Он уже тридцать лет руководит издательством „Люкс” и сумел задать ему определенный тон, придать динамичность... К тому же, с моральной точки зрения он безупречен. Но, в общем, я удивлен...

— По-вашему, что такое „Русская правда”: подрывной материал?

— Мне кажется, что... Прежде всего, простите, но это моя профессия, эта вещь плохо написана. Хотя, быть может, плохой перевод. Все эти притчи, лейтмотив... Конечно, я с огромной симпатией отношусь к этому несчастному в психушке, и если это действительно он стрелял в Брежнева, нужно

признать, что он отважный человек... Но в конце концов быть несчастным — это одно, быть смелым — другое, а быть писателем — третье. Никто не защищал диссидентов так рьяно как я, но нужно признать, что среди них есть литературные нули, которые по разным негодным причинам были встречены критикой с восторгом. Если бы каждый христианский мученик написал книгу о своих несчастьях, получилось бы что-то вроде полного собрания сочинений всех Нобелевских лауреатов, не правда ли?

— Значит, вы советуете...

— Вы — мой друг. Фурвере тоже. Я откровенно считаю, что издание такого произведения... Я знаю, что у вас уже были расходы, но на вашем месте я бы... Правда, если Фурвере что-то учуял...

Александр встал.

— Да, — сказал он, — у вас очень хорошая квартира. Вы знаете, кто в ней раньше жил?

— Не имею ни малейшего понятия. Я живу здесь так долго, что...

Александр подошел к окну и рассматривал сюрреалистическую перспективу улицы Турнон. Он чувствовал, что терпеть не может Балландара. Почему? Потому что тот был революционером? Парадоксально, но по крайней мере можно было бы понять. Но Балландар не был революционером. Потому что он был буржуем? Это было бы вдвойне понятно. Но Балландар на самом деле не был и буржуем: не становятся буржуем просто по желанию, даже если заявляют, что желания нет. Хотя Александр никогда не имел тяги к самоанализу, на этот раз он почувствовал необходимость объяснить самому себе эту поднимающуюся в нем волну злобы. „Я ненавижу Балландара потому, что он — ничто”. Это было правдой. У этого человека, слывшего создателем мнений, никогда не было своего собственного. Средний среди средних, он был коллаборантом во время оккупации и стал участником Сопротивления после освобождения. Затем стал перманентным оппозиционером, но только потому, что во Франции у интеллектуалов нет выбора: даже если у власти

оказываются их друзья, они вынуждены ругать власть, чтобы не прослыть продажными, но никому и в голову не пришло купить Балландара. Он писал: „Никто не может сомневаться в моем мужестве: я всегда бросал вызов зверю”. Никто действительно не сомневался. Но он никогда не бросал вызова: только дразнил зверя через клетку. В другой стране или в другую эпоху Балландар был бы льстецом любого режима. Александр подумал: „Он не человек, он — вечная пустота. А я, как природа: ненавижу пустоту”. Это было правдой: он не испытывал враждебности ни к чему построенному, даже если это построение принадлежало врагу. Но Балландар и ему подобные были бесхребетными, лишенными всякой веры и всякой цели; их интересовало только собственное благополучие, хотя они и способствовали его разрушению, потому что это было модно. „Я понимаю эгоизм баронов-грабителей, промышленников-эксплуататоров, колониалистов, угнетающих туземцев, понимаю бунт угнетенных: они стремятся только к одному — стать в свою очередь угнетателями; я принимаю террор и контртеррор, могу в крайнем случае восхищаться человеком, выбравшим победу-поражение мученика, — но застенчивый оппортунизм самого что ни есть ничтожества...”

Александр вернулся к малахитовому столику, положил на него портфель, позванивая замками.

— Да, насчет стиля. Я бы хотел, Жозе Балландар, чтобы вы взглянули на этот образец эпистолярного стиля. Скажите, что вы о нем думаете.

Это была фотокопия одного рукописного письма.

Париж, 2 января 1942.

Господа,

Желая способствовать оздоровлению французской нации, сообщая, что Леон Аронсон, распустивший слух, что он уехал в Америку, в действительности прячется в одной из комнат своей огромной квартиры на третьем этаже дома № 218 на улице Турнон. Вход в эту комнату скрыт огромным шкафом. Я это знаю, так как мой недавно умерший

отец был консьержем в этом доме. Остаюсь к вашим услугам для любой дополнительной информации и прошу принять, господа, заверения в моем глубоком уважении.

Жозеф Балландар, улица Жан-Жорес № 4, Париж XX.

Балландар сказал, заикаясь:

— Это фальшивка.

Александр сел рядом с ним:

— Я нахожу, что стиль несколько низок. Но орфография уже хороша. И кроме того, хорошо, что вы подождали, пока скончается ваш отец: это было учтиво с вашей стороны.

Г л а в а 5

КЛЯП НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ (операция „Псков”, фаза № 2)

Воздух начинал щипать. Среди блестящих луж стояли березки. Клены, казалось, горели, как факелы. Будучи мальчишкой, Яков любил воображать, что клены — это посыльные Деда Мороза, затем решил, что их краснота может быть символом диктатуры пролетариата, — это было ему необходимо для перехода от хаоса прошлого к невинному великолепию будущего. Яков всегда радовался зиме, любил наблюдать исчезновение угловатых форм реальности и замену их успокоительными, едва заметными округлостями, выпуклостями, вогнутостями.

— Ранний будет снег в этом году, Потапыч?

Шофер, приятно удивленный вопросом шефа, отличавшегося замкнутостью, решил доставить ему удовольствие:

— Да, ранний, товарищ генерал.

На самом деле шофер не знал: он был городским жителем. Но для Питмана, как и для многих русских, народ был мудрым, народ знал правду. И он подумал: „Тем лучше. Смогу скоро покатать Святослава на тройке”. Прогулка на тройке, снег в лицо, звон колокольчиков, быстрый бег лошадей и сидящие рядом с ним, прижавшиеся к нему его дети, — были для Питмана счастьем. Он, как Гоголь, восклицал, что ничто тебя, Тройка-Русь, не остановит. Его младший сын Святослав, еще ни разу в жизни не катавшийся на тройке, с самой весны не переставал нить:

— Папа, а завтра снег будет?

Питман, глядя на мелькавшие темнокрасные клены, подумал, что хорошей будет в этом году зима.

Но вместе с тем, одна мысль болью отзывалась в голове: эту замечательную зиму Мохаммед Мохаммедович не протянет.

Волково. Гостиная была просторной: чтобы легче дышалось, Абдулрахманов распорядился снять несколько перегородок. Здесь чувствовалась старая Россия, не чопорностью и помпезностью, а в аккуратном беспорядке, уверенности вкуса и презрении к претенциозности. Мебель была разного стиля, но добротной работы и из хорошего дерева, принадлежащая прошлому веку; кое-что было покрыто чехлами, кое-что нет; на столе терпеливо дожидались игроков изящные шахматы; в застекленных книжных шкафах хранилось около пятисот томов, многие из которых были на языках, которых хозяин дома не знал: это не были книги для чтения (те находились в рабочем кабинете), это были трофеи, урожай, собранный в течение всей жизни, посвященной проникновению влияния и дезинформации.

— Здравствуй, Ваше высокопревосходительство, здравствуй. Как дела?

В домашнем халате, разукрашенном цветными узорами, в черной с позолотой тибетейке, Абдулрахманов стал еще больше похож на доисторический памятник. Сила времени, давящая стариков вниз, к земле, не посмела напасть на него:

он держался по-прежнему ровно. Но он становился все более скелетообразным: щеки провалились, а кадык прыгал на его обнаженной шее, напоминающей шею кондора. Не будучи простуженным, он часто кашлял; не испытывая никакой боли в спине, он часто растирал ее — чувствовалось, что огромный механизм изнашивался. Однако его умственные способности остались невредимыми, разве что этот старый человек часто рассказывал подробно о том, что уже давно знал его собеседник, и он знал, что собеседник знает: он не мог отказать себе в удовольствии воспоминаний.

— Я принес вам подарок, Мохаммед Мохаммедович.

— Разверни.

Возможно, он не хотел показать, что последнее время пальцы уже не слушались его.

Питман развернул сверток. На суперобложке книги была изображена матрешка, в заглавии „Русская правда” буквы „р” были перевернуты. Вместо имени и фамилии автора значилось: „Анонимный узник”. Питман снял суперобложку. Толстая тяжелая книга напоминала красивый красный булыжник.

— Часть издания брошюровали, а часть переплели. Шикарно, правда?

Абдулрахманов посмотрел на книгу усталыми глазами. Позвал денщика:

— Кентий, самовар. И ликеры.

Он вдруг начал попивать ликеры, которые посылали ему из всех стран мира. Больше всего он любил определенные французские ликеры, ставшие редкостью. Он иронизировал: „Для старичков — сладенькое”.

— Рассказывай.

Питман начал с того, что рассказал, чем пришлось пожертвовать: информацией о детском доме для слепых, а также доносом на Аронсона, найденным среди десятка тысяч других в архивах немецкой комендатуры Парижа, вывезенных после отступления в Берлин.

— Но это не жертва, Яков Моисеевич, фарфоровый мой: это расход боеприпасов. У этих господ из разведки явная

тенденция собирать информацию ради информации, для нас же все эти грязные тайны — средство, не больше. Продолжай.

Как только книга появилась в книжных магазинах, Балландар немедленно завопил о новом гениальном произведении. „Оркестр” Опричника под этим впечатлением стал вторить ему, как мог. Журнал „Возражение” опубликовал большую враждебную, но основательную статью. Иоганес-Граф написал: „Это творение ненавистно нам, но родившись евреем и став протестантом, что относится ко мне, не будешь участвовать в любом систематическом удушении мысли, будешь бороться с любыми силами, стремящимися отнять у нас какое бы то ни было знание, даже отдающее ересью”. Монтиньи высказался искренне, но тем не менее настаивал на большом значении произведения: „Малейший намек, что трудящиеся массы будут вновь поработены так называемой элитой, возмущает наши нервы, нагруженные слишком мучительными воспоминаниями, неискупимой ответственностью; все же было бы несправедливостью утверждать, что именно это чудовищное решение рекомендует нам Анонимный Узник: в России, которую он воображает, собственность и управление будут синонимами. Он не возражает против кооперативов трудящихся, объединенных для владения заводом. Возможно, речь идет о народном корпоративизме, но скорее с гуманистической концепцией, чем с тоталитарной”. Жанне Буйон понадобилось более чем полстраницы для „разоблачения какого-то теократического синдикализма, проповедуемого Железной Маской. Позволительно задать себе вопрос, не повлияли ли на его мозг гнусные пытки, перенесенные им в психушке? Если это так, то советский режим сам виновен в цветущих у него под носом чудовищных интеллектуальных извращениях. А впрочем, вполне возможно, что теории, рожденные в камере № 000, какими безумными они бы ни казались, могут быть осуществлены в стране 'земств' и 'мира' ”. Мадам Шустрович удалось избежать политического аспекта: ее лишь интересовало, является ли автор книги Курносовым, стрелявшим в Брежнева.

— Все это, — сказал Абдулрахманов, — замечательно. Мишень установлена как следует. Как отреагировали диссиденты, выступления которых добился Псарь?

Неловким жестом он перевернул книгу. На обложке за известными именами следовали высказывания, полные энтузиазма. Питман рассмеялся:

— Мы наступили ногой на муравейник, Мохаммед Мохаммедович!

Не желая отказываться от первоначального суждения, но опасаясь быть причисленными к единомышленникам Анонимного Узника, диссиденты разразились заявлениями, коммюнике, самыми различными манифестами. Некоторые диссиденты написали так многословно, что газеты и журналы не могли все опубликовать, и это вызвало новую волну гнева и новые заявления. Бородатый маг частично согласился с высказываниями Анонимного Узника; марксисты воспользовались этим, чтобы немедленно обрушиться на бородатого мага; профессиональные клеветники жадно набросились на очередную жертву; все обвиняли друг друга в принадлежности к „органам”. Питман забавно описывал весь этот кавардак. Абдулрахманов с удовольствием смеялся.

— Короче, наша операция развивается нормально. Что пишет остальная пресса?

Французская пресса, за исключением „оркестра” Опричника, была настроена враждебно против Анонимного Узника: даже считая его героем и мучеником, нельзя делать из него мыслителя.

— Они много пишут об этом?

— Много, Мохаммед Мохаммедович.

— Отлично. Независимые умы, начинающие скользить вправо, замедлят движение. А мы всего лишь находимся на фазе № 1, Яков Моисеевич, мой позолоченный.

Воевода, один из семи работающих во Франции агентов по распространению влияния, был ответственным за прессу. Он хорошо поработал: работающие на него посредники задавали тон другим газетам и журналам.

— Ты уверен, что еще никто не произнес „неприличного слова”?

— Будьте спокойны, Мохаммед Мохаммедович, мы его бережем, как вы приказали, для фазы № 2.

— „Корпорация”, как обычно, опозорилась?

— Как обычно. „Братство” утверждает, что Анонимного Узника не существует и что рукопись — фальшивка, сфабрикованная Пиночетом.

Абдулрахманов рассеянно улыбнулся. Он бросил курить, но время от времени, чтобы почувствовать вкус табака, посасывал мундштук. Раздался резкий сосущий звук, которого старик не заметил. Его взгляд был устремлен в пустоту.

— Ну-с, — сказал он, — ничто не препятствует нам, Яков Моисеевич, алмазный мой, начать фазу № 2.

— Меня беспокоит фаза № 3, Мохаммед Мохаммедович.

Фаза № 3, то есть разборка конструкции всей операции, беспокоила Питмана по чисто моральным соображениям: если бы все зависело от него, он бы по окончании операции отозвал Псаря, повысил его в звании, дал бы возможность иметь других детей (маленький Дмитрий мог бы погибнуть в какой-нибудь выдуманной аварии). Но главное было не в этом: у Питмана была идея, которую, ему казалось, он мог бы реализовать, и он не понимал, почему он должен от этого отказаться.

— В данном случае фаза № 3, — сказал Абдулрахманов, — будет детской игрой. Курносов останется там, где он находится: его положение такое, что помешать нам, мягко говоря, не в его интересах. Зельман избавит нас от Гаверина, а сам исчезнет. Остается Псарь.

— Вот именно. Это он...

— Фаза № 1 его разрушит. Фаза № 2 подорвет уважение к нему. Третья — навлечет на него немилость: ему уже не оправиться. Он ничего не сможет сделать. Его гражданство никогда не было объявлено, его можно просто вычеркнуть. Его звание? А мы лишим его звания, обвинив в антисоветской деятельности, хотя бы в том же издании фальшивой „Русской правды”. Если он обратится к французам, то

в каком виде предстанет перед ними? Реакционер, которого использовали коммунисты, или коммунист, которого использовали реакционеры. Кроме того, он до сих пор воображает, что его жена и сын в наших руках, так что вряд ли он переметнется к врагу. А даже если сделает это — какие тайны может он выдать французской контрразведке? Нет, Яков Моисеевич, карельско-березовый мой, беспокоиться не о чем. Фаза № 3 будет состоять в том, чтобы выбросить Псаря как изношенную рубашку. Вы помните слова Генриха V: „Я вас не знаю, милейший”? Конечно, нужно будет убрать из Франции его связного: это единственная мера предосторожности.

— Мы оставим Псарю агентство?

— Разумеется — оно будет полностью дискредитировано.

Питман так и не смог объяснить себе причину враждебного отношения Абдулрахманова к его собственному „протезу”. Раз двадцать он собирался задать этот вопрос, но не осмеливался. Он бы задал его сейчас, если бы ему не нужно было добиться согласия Абдулрахманова на другой его план. Приступ застенчивости заставил сильнее забиться сердце этого генерал-лейтенанта.

— Мохаммед Мохаммедович, а что если у меня есть другое предложение?

Недовольная гримаса появилась на лице старика; она слегка проступила сквозь дряблость его черт.

— Какое предложение?

Питман нежно и заискивающе забормотал:

— Операция „Твердый знак”, которую вы в принципе одобрили и которую высшее начальство решило начать, как только будут собраны все необходимые элементы...

План этой операции был детищем Якова Питмана, в осуществлении ее он видел свой будущий шедевр: в случае удачи он вознесется до ареопага Шапок-Невидимок. Управление А, Первое, Второе и Пятое Главные Управления одобрили, начальник КГБ подписал, Генеральный Секретарь ЦК КПСС без неодобрения пробежал своим сонным взглядом аллигатора. План станет оперативным, как только все не-

необходимые элементы будут собраны. И Питману казалось, что ему выпал невиданный случай: дуэт Псарь — Курносов, если рискнуть его создать, мог бы провести операцию, по сравнению с которой даже операция „Псков” покажется ерундой.

— Я знаю, что согласно *Vademecum*, подобные операции не должны накладываться одна на другую, но вы сами учили, Мохаммед Мохаммедович, что нельзя слепо следовать *Vademecum*. Кстати, введя Железную Маску в операцию „Опричник”, мы уже отступили от правил. Но для операции такого размаха, как „Твердый знак”...

Питман говорил долго и сбивчиво, смущенный белесыми глазами, источающими лишь высокомерное осуждение. Питман был подобен чувствительным цветам, которые распускаются, только обильно политые водой и солнцем. Абдулрахманов в конце концов прервал его нетерпеливым жестом:

— Вы все время экономите пешки, Яков Моисеевич, картонный мой, вечная ваша близорукость. Псарь и Курносов никогда не создадут дуэта: два прилипшие друг ко другу куски мыла, сгодятся на одну баню, не больше. Они не смогут провести операцию, подобную „Твердому знаку”. Зарубите себе на носу: Псарь есть то, что Сунь Цзы называл мертвый агент. Знаете, вы должны читать и перечитывать Сунь Цзы (Питман знал его почти наизусть). Сунь Цзы различает пять категорий агентов. Четвертую категорию, относящуюся к контрразведке, а точнее, к дезинформации, он называет „мертвыми агентами”. Да, Яков Моисеевич, серебряный мой, „мертвыми”.

Не знаю, рассказывал ли я вам историю (он рассказывал ее четыре раза в год и знал это) начальника генштаба Цао. Он был настоящим китайским генералом с висячими усами и с косицей за спиной. Он воевал с царем тангутов, у которого был гениальный премьер-министр. Ну-с-с, так вот что сделал Цао: он выбрал одного приговоренного к смерти, помиловал его и передел в монаха. Для чего? Для того, чтобы на него обратили внимание — он ведь не умел говорить языком монахов. Прежде чем отпустить его, Цао дал

ему проглотить восковой шарик и сказал: „Когда он выйдет из твоего тела, отнеси его премьер-министру тангутов”. Лжемонах приходит к тангутам, его арестовывают, допрашивают, и он признается, что прячет на себе, вернее в себе, послание для премьер-министра. Из тела лжемонаха добывают послание и находят в нем сведения, указывающие, что между премьер-министром и Цао был заключен тайный договор. На самом деле никакого соглашения не было, но царь тангутов поспешил отрубить голову своему гениальному премьер-министру, а заодно и лжемонаху. Так, Яков Моисеевич, мой золотой, наш друг Цао с висячими усами и длинной косой на спине завоевал царство тангутов.

Я повторяю, Псарь свое дело сделал, и в любом случае он был всегда „мертвым агентом”, мертвым заранее. Как только вы сочтете фазу № 2 завершенной, закрывайте дело, сдавайте его в архив и забудьте о нем. Конечно, вам нужно будет заменить Псаря, что будет нелегко, но в ожидании поджигайте бикфордов шнур и мчитесь прочь. Вот все, что от вас требуется.

Питмана не был переубежден, но он не хотел противоречить своему старому учителю. Он встал и взял шершавые тяжелые руки в свои, пухлые и гибкие.

— Мохаммед Мохаммедович, вы, наверное, как всегда, правы. Как вы думаете, что мы должны делать с Курносовым?

Абдулрахманов пососал свой пустой мундштук; он издал звук, как из свистка.

— В старые добрые времена я ответил бы тебе, возможно, слишком поспешно: в расход. Но мы уже достигли такой стадии вырождения, что боюсь, вы обречены кормить его до конца его дней. И я тебя умоляю: не жалейте кулебяки, это было бы жестоко. Что же касается твоего „Твердого знака”, то для того, чтобы провести операцию как следует, тебе нужно найти агентов без сучка и задоринки.

Абдулрахманов, сдерживая стон, встал.

— Твой подарочек мы поставим сюда.

Какая-то испанская книга лежала на кожаном аналое. Абдулрахманов заменил ее „Русской правдой”.

— Мексиканец. Хорошая работа, но я на нее уже нагляделся. Все новые прибывают, как булочки из печи. Я на них люблю, а потом выходит следующая, я их и отодвигаю, отодвигаю, пока наступает момент, когда нужно очистить место, и тогда они все отправляются на книжную полку. Твоя красивая, имеет вес, сразу чувствуется, что это не дрянь. „Русская правда”! Мне понравилось, как Курносков написал о колоколе. Это одновременно просто и интеллектуально, нелегко было так написать. Не зря журнал этого вертопраха Герцена назывался „Колокол”. Представь себе, в былые времена у каждого колокола было свое имя. Самым распространенным было Полиелей. Я не знаю, что это значит: возможно это происходит от слова елей? Были „Лебедь”, „Овца” и даже „Козел”.

В Ростове в XVII веке было два колокола, названные Лебедь и Полиелей, звон которых составлял малую терцию, что нравилось митрополиту, на которого пала немилость царя Алексея: колокольный звон убаюкивал его грусть. А потом этот добрый человек попал в милость к Петру I! Что делать? Он взял и заказал еще один колокол, и получился чудесный мажорный перезвон. Какой урок для нас, Яков Моисеевич, мой бронзовый, мой медный. Представь себе ростовчан, обреченных в течение многих лет на меланхолию и просыпающихся в одно прекрасное утро под звуки веселого концерта! Вообрази только, как это действовало на семьи, на супружеские пары, на цеха! Шуты нашли новые шутки, любовники — новые ласки... Ах, как бы я хотел жить в Ростове в 1668 году под правлением этого митрополита и того, кто должен был стать императором всея Руси. Если бы все были такой закалки, как Петр, нам не нужно было бы делать рево...

Приступ кашля прервал монолог. Он был таким сильным, что слезы потекли по гигантскому носу, а руки замахали, как весла, и указали на дверь. В конце концов Питман понял значение жеста и ушел, унося неприятное впечатление, что его прогнали.

„На самом деле, — подумал он, — он просто не хотел, чтобы я видел его в таком состоянии. Это ужасно быть таким сильным и стать таким слабым. К счастью, я не был создан для такого диапазона. Наверное, это неудобно”.

Задумчивый, он вернулся в Москву.

Пока учитель будет жив, он будет послушен ему. Он проведет до конца операцию „Псков”, как бы неприятно ему ни было. Жаль. Пострадать могла не только его карьера, но и его все растущее с годами служебное рвение, которое все теснее переплеталось с личной амбицией. С ним случилось то, что случается со многими людьми, подошедшими к вершине власти: они находятся так близко от своего божества, что начинают путать самих себя с ним, но не без здравого смысла: князь, служа себе, служит своему княжеству. В начале своей карьеры, когда Яков думал: „моя родина, моя партия”, он чувствовал, что принадлежит им; теперь же ему казалось, что, наоборот, скорее они ему принадлежат. На этом уровне отказываться от операции, которую он считал нужной, даже решающей для будущего партии, означало не только пожертвовать собой, это был саботаж. Неважно: Абдулрахманов (Питман все чаще, думая о нем, мысленно произносил „благодетель”) заслуживал абсолютной преданности себе. Если он умрет, то другое дело: смерть расторгает даже брак. Слабой компенсацией будет раскрепощение по сравнению с неоценимой потерей такого учителя. Но пока этого не случилось, неприлично думать обо всем этом.

Компьютер все время выдавал фамилию Гаверин, и не могло быть и речи, чтобы не подчиниться компьютеру. Между тем Питману не хотелось встречаться с этим человеком, который дошел до предела страданий, а Питман терпеть не мог несчастья.

Арсений Егорович Гаверин родился сразу же по окончании гражданской войны. Он был сыном офицера, погибшего до его рождения в застенках нового режима. Его мать, когда мальчику было десять лет, умерла от голода. Попав

в Красную армию, Гаверин при первом удобном случае сдался немцам с твердым намерением воевать с большевиками. Надев зелено-серый мундир, он быстро отличился: двадцати лет от роду уже командовал ротой. Пришло поражение, и Гаверин вместе со своей ротой сдался англичанам, потому что один полковник, заикающийся с оксфордским акцентом, обещал им политическое убежище. Усатые козаки колебались, но Гаверин сказал им: „Ребята, это обещание короля, а короли держат слово”. Англичане его разоружили и выдали доброму дяде Джо. Он думал, что его расстреляют, и признавал, что в этом есть справедливость. Но его всего-навсего приговорили к двадцати пяти годам лагерей, к которым затем прибавились еще пятнадцать за попытку к бегству: у него тогда еще были запасы храбрости. После этой попытки они иссякли. Он стал истериком. Его лечили карцером. Затем он валялся в ногах у комендантов лагерей, добившись должности стукача и наседки, готовый на все, лишь бы облегчить свою участь. Усердие, с которым он политически перевоспитывался, принесло ему смягчение условий заключения, но не сокращения срока, и его здоровье не выдержало лагерной жизни, даже привилегированной. Ему было пятьдесят девять лет, и оставалось отсидеть еще четыре года, но вра-

чи, пришедшие, неизвестно для чего, осмотреть его, заявили, что, по всей вероятности, он не сможет до конца понести заслуженное наказание: умрет до освобождения.

Как только началась операция „Псков”, Гаверина вытащили из лагеря и бросили в Лефортово. Он ожидал, что ему придется в очередной раз стать наседкой, но этого не произошло. В течение долгих лет он ждал чуда, которое даст ему вызволение: новой мировой войны, революции, высадки марсиан. Теперь запас надежды иссяк, он знал, что худшее всегда — самое верное, поэтому когда пришли за ним в камеру, он решил, что ему хотят припаять очередную попытку к бегству. Он вцепился в нары:

— Мне здесь хорошо. Я отсюда никуда не пойду.

Пришлось силой волоочь его до автобуса, занавески которого были, разумеется, спущены. Ребенок, которого отры-

вают от матери, не был бы так напуган, как Гаверин, покидая мрачную тюрьму, в которой между этажами висели толстые сети. Зеркала и позолота особняка Ростопчиных не успокоили его. Он был уверен, что в любом случае воображение ГБ по части ужасов превосходит его собственное.

Питман спросил по-французски, чтобы, вероятно, воздвигнуть между этим существом, у которого отняли все человеческое, и собой, оставшимся таким человеческим, барьер, удобный для взаимной стыдливости:

— Мне кажется, месье Гаверин, вы говорите по-французски?

— Конечно, я говорю по-французски.

Этому языку научила его в детстве мать для — „когда все станет снова, как было”. В лагере анонимные благотворители передали ему книги, и он давал уроки французского языка многим заключенным, а также членам семьи одного из комендантов лагеря. Он произносил „р” на старый лад, не то что Питман, но его произношение было почти безупречным.

— Месье Гаверин, я попросил вас зайти ко мне, — продолжал Питман медленно, так как уже давно не говорил по-французски, — потому что мы сможем, возможно, оказать друг другу важную услугу. Вы совершили серьезные ошибки, раскаялись и почти искупили их: вам осталось сидеть четыре года. Я думаю, если вы согласитесь помочь нам, мы сможем уладить этот вопрос с компетентным министерством. Я вас предупреждаю: нам нужны будут ваши интеллектуальные способности, вся ваша преданность советской Родине.

Не веря больше в чудо, Гаверин почувал западню.

— Я служу Родине, но ни на что не жалуюсь. Если это касается последней голодовки, то я был против. Это вам все скажут.

— Месье Гаверин, разве я вас в чем-нибудь упрекнул? Просто, с одной стороны, вы знаете французский, а с другой, интерес к политическим идеям реакции...

— Товарищ, это было сорок лет назад. Я раскаялся. Сегодня я убежденный марксист-ленинист.

Странно было, как эти двое русских беседовали на выспреннем французском языке под люстрами особняка Ростопчиных.

Питман прибавил елейности:

— Я это знаю, месье Гаверин. Все же, видите ли, за все годы, проведенные вами в нацистской армии, вы успели прочесть кое-что, найти контакты...

Обычно сутулый заключенный, выпрямился во весь свой донкихотский рост и закричал:

— Но я заплатил! Сполна! Тридцать шесть лет жизни! Пощадите!

Питман поспешно перешел на русский язык. Паника заключенного передалась и ему.

— Успокойтесь, успокойтесь, Арсений Егорович. Кто старое помянет, тому глаз вон. Все, о чем я вас прошу, это помочь мне сократить время, которое вам еще осталось страдать. Если вы примете мое предложение, вы даже не вернетесь в Лефортово.

— Я там не был несчастным, — захныкал Гаверин. — И не приписывайте мне того, что я не говорил: и в лагере я не был несчастным. Верните меня в лагерь. Что такое четыре года! Я знаю, я подписал прошение о помиловании. Я был дураком. Нужно уметь прощать глупость.

Такое русское и настолько малосоветское слово — прощать.

— Но мы вас давно простили, Арсений Егорович. Это не мы, это проклятое министерство юстиции. Если мы не сможем доказать, что вы работаете для нас, знаете, что вас ждет после конца срока: ссылка в какую-нибудь Киргизию! И никакого лечения, а вы ведь больны! И как вы будете зарабатывать на жизнь?..

Он дал Гаверину время проникнуться этими новыми ужасами, глядя на него всепонимающим мягким взглядом.

— Конечно, если вы предпочитаете ссылку, вы свободны... я хочу сказать, что у вас есть свобода выбора. Я предполагал для вас скорее... Вам это покажется невероятным, но я вам клянусь, что обладаю властью сдержать свои обеща-

ния... Я хочу послать вас на французскую Ривьеру: маленькая вилла в Ницце, море, солнце... У вас, кажется, нет родственников в Советском Союзе? А французы, знаете ли, народ гостеприимный. Я их знаю. Они полны радости жизни. К тому же, там много эмигрантов, даже из так называемой первой эмиграции. Вы там будете чувствовать себя среди своих. Тем более в Ницце: князья, графы...

Питман нарочито не затронул вопроса о деньгах. Для чего говорить о них человеку, который за всю жизнь наверняка и ста рублей не потратил?

Лев Аронович Зельман, маленький человек с заячьей губой, провел за антисоветскую пропаганду пятнадцать лет в ГУЛаге. „Я критиковал исправительную систему, вот мне и дали возможность на практике проверить мои утверждения, логично”, говорил он с улыбкой. Он не ощущал горечи, был скорее благодарен режиму, что так дешево отделался. Он рассуждал так:

— В конце концов человеческая жизнь стала более длительной, даже более веселой. Пятнадцать лет, если повезет, это всего лишь пятая часть всего времени, предоставленного высшим президиумом, не земным, а другим, если он существует. Что такое пятая часть жизни? Меньше пяти часов в день. И нужно учесть, что в лагере я спал свои восемь часов, поэтому было бы несправедливостью вычитать эти пять часов исключительно из бодрствования. Четверть из этой пятой части нужно отнести за счет ночи. Так что из своей сознательной жизни я потерял только приблизительно три с половиной часа в день. И остающиеся мне двадцать лет жизни полностью мои, поскольку я заплатил свой долг наперед. Нет, было бы неблагодарностью с моей стороны жаловаться.

Смирение и юмор спасли его. Он выбрался из ада весь в ссадинах, но — не сломленным. Однако как только появилась возможность эмигрировать, он решил ею воспользоваться. „Не то что я не люблю Россию, говорил он. Я люблю ее, и не представляю себя проливающим пот в каком-нибудь

киббуце: я слишком уж привык к климату Воркуты. Но если я здесь останусь, кто может дать мне гарантию, что в одно прекрасное утро меня снова не пошлют в Воркуту? Нет, спасибо. Пятнадцать лет я учился уму-разуму — хватит”.

Он попросил выездные визы для себя и жены, ждавшей его все эти пятнадцать лет. Но визы все не приходили. Они задерживались уже три года. Все время не хватало какой-нибудь справки. Нежелание властей было очевидным, но Лев Аронович упорствовал, мягко и фанатично, убежденный, что рано или поздно возьмет власть измором. „Как мышь перегрызает канат”, говорил этот маленький упрямый человек.

Он ошибался. Канат, преграждающий ему путь, был натянут не случайно и мог все выдержать. Он исчезнет как по волшебству только тогда, когда отдан будет на то приказ Управления А.

Одним осенним днем Лев Аронович был вызван в одно учреждение, где он еще никогда не стоял в очереди. Странно: ему казалось, что он уже стоял в очередях всех учреждений, имеющих мало-мальское отношение к его проблеме. Еще более странно: в этот раз не было никакой очереди. Его провели в кабинет, какие показывают в исторических фильмах: ковры, торшеры, лепной орнамент. И конечно же, на стене висел неизбежный портрет. Зельман пошутил сам с собой: „Сколько его вешают, повсюду вешают, а все никак не могут повесить”. И подумал: „Значит, я в учреждении, зависящем от ГБ. Осторожно, Лев Аронович, будь начеку”.

Человек возраста Зельмана, около пятидесяти пяти лет, кругленький, с добродушными глазами за маленькими очками, улыбался, восседая за министерским столом. Короткий круглый нос придавал его лицу невинное, почти детское выражение.

— Лев Аронович Зельман?

— Так точно, товарищ генерал.

Зельман держался в позе, словно, став по стойке смирно, готов был в любое мгновение стать на колени. Он не имел ни малейшего понятия о звании этого сановника; судил по его кабинету и столу. Сановник улыбнулся еще шире.

— Не будем так официальные, Лев Аронович. Называйте меня просто Яковом Моисеевичем. И я с радостью сообщая вам, что ваша просьба об эмиграции удовлетворена.

Зельман постарался поблагодарить, скрывая охватившую его радость. Он начал что-то бормотать. Сановник учтиво прервал его.

— Я не хотел вас мучить, Лев Аронович, поэтому сразу сообщил вам основное. Тем не менее нам нужно еще поговорить: присядьте-ка в это кресло. — Вы указали, что хотите эмигрировать в Израиль. Между нами, я не думаю, что вы хотите жить в этой стране: климат вам явно не подойдет. (Зельмана охватила паника: „Это же моя шутка. Кто донес?“) К тому же вы не говорите на иврите, а в нашем возрасте выучить новый язык трудно... Но вы ведь говорите по-французски. И я думаю, что Франция подойдет вам гораздо лучше.

Зельман из осторожности не ответил. На самом деле он хотел уехать именно во Францию.

— И вы хотите, чтобы ваша жена Елизавета Григорьевна, вас сопровождала, не так ли? А в этом случае не все еще урегулировано: ей еще не дали визу.

Минуту назад Зельман скрывал свою радость. Теперь он старался скрыть свое отчаяние. Если Лиза не сможет поехать, он останется.

— Впрочем, — продолжал генерал, — я уверен, что благодаря взаимопониманию, мы все уладим. Вы свободный человек, Лев Аронович, и было бы абсурдом силой держать вас в стране, которая вызывает у вас весьма неприятные воспоминания. Вы рискуете совершить прежние ошибки и, следовательно, вас могут настигнуть прежние неприятности. Нет, нет, нельзя, чтобы прежние недоразумения повторились.

Теперь Зельман старался скрыть охвативший его ужас: угроза была явной.

Сановник продолжал, по-прежнему улыбаясь:

— Я даю вам слово, Лев Аронович, что максимум через год, а скорее всего месяца через три, Елизавета Григорьевна

к вам придет. Вы будете жить в своей маленькой уютной квартирке под парижскими крышами.

Не прошло и получаса, как Лев Аронович пожимал с огромным облегчением на душе руку Якова Моисеевича. От него требовалось действительно предельно мало: сказать правду по одному делу, причем не ставя при этом никого под удар, и одновременно оказать услугу России, которую он по-настоящему любил, и Франции, у которой собирался просить убежища.

Елизавета Григорьевна не осуждала заключенную между ее мужем и ГБ сделку, но очень беспокоилась, что он едет один:

— А что если они меня не отпустят?

Он погладил ее по волосам, по ее седым волосам, которые она красила в рыжий цвет:

— Кому ты, старуха, нужна? Ты ведь знаешь, что на всем белом свете только я тебя люблю.

Он нежно обнял ее. Она собрала ему чемодан, и на следующий день, как по волшебству, он оказался в Париже.

Голос Маргариты как всегда был спокойно-медленным:

— Месье, вас просит некто Курносов.

— Это шутка?

— Не знаю, месье, — Маргарита всегда отвечала на риторические вопросы.

После выхода „Русской правды” прошло две недели, и на литературного агента, сумевшего добыть из ленинградской психбольницы полный текст рукописи Железной Маски, ежедневно обрушивался шквал телефонных звонков. Из Рима звонил взбешенный Груччи и кричал, что его обокрали. Определенные компетентные власти стремились узнать, при помощи каких контактов Псарю удалось так осмеять СССР. Специалистам было интересно, можно ли в будущем воспользоваться таинственной сетью литературного агента. Иностранные издатели делали выгодные предложения. Журналисты требовали пикантных подробностей. Старые эмигранты

выступали с торжественными заявлениями. Диссиденты протестовали против использования их имен на обложке книги. Адвокаты предлагали свои услуги. Сумасшедшие без устали угрожали. Скептики открывали, как они думали, истину: „Месье Псарь, снимите свою не железную маску и признайтесь, что вы — настоящий автор 'Русской правды' ". Об убийце-неудачнике Курносове говорил весь Париж. Интеллигенция постановила, что автор книги и совершивший покушение не может быть одним лицом по той простой причине, что сочла бы себя опозоренной думать как плебс, который как раз считал, что Курносов и есть Железная Маска, как Ян Флеминг — Джеймс Бонд.

— Передайте его мне.

— Могу ли я поговорить с Александром Дмитриевичем Псарем?

Курносов говорил по-французски, но имя, отчество и фамилию произнес по-русски.

— Это я.

— А я Курносов. Я в аэропорту.

— Какой Курносов? Какой аэропорт?

— Михаил Леонтьевич. Тот самый, о ком вы думаете. Тот самый. А аэропорт...разве их много?

— Откуда вы?

— Из нашей матушки Москвы.

— Значит, Руаси. Вы в Руаси?

— В конторе... — кто-то, очевидно, подсказал ему, — на таможне.

— Еду.

Выходя, он сказал Маргарите:

— Не знаю, что это за история. Само собой, никому ни слова.

— О! Месье!

Из ближайшего кафе он позвонил по номеру, данному ему для особых случаев.

— Позовите Ивана.

— Его нет, — ответил осторожный голос. — А кто его спрашивает?

— Кобель. — Это был пароль, своей клички Александр даже не знал.

— Он оставил вам записку: „Все в порядке”.

— Передайте ему, что я хочу с ним встретиться сегодня вечером. На прежнем месте.

Александр помчался в аэропорт Руаси. Шел дождь. Асфальт был скользким. Шины шипели на нем.

— Месье Псарь? Сюда, пожалуйста.

В маленьком кабинете сидели два человека: полицейский в строгом костюме, усы щеткой, взгляд, лишенный юмора, и советский, похожий на туберкулезного большого ворона, плохо выбритый, в костюме неприлично синего цвета, который висел на нем, как на вешалке.

„Никогда в жизни, подумал Александр, я не видел такого худого человека”.

Он с напряженным любопытством рассматривал большое землистого цвета лицо, кости, предельно натягивающие кожу, волосы, покрытые бриллиантином, от которого они беспорядочно и отвратительно торчали. Александру захотелось тут же спросить: „Это вы автор?” Он был убежден, что настоящий Курносов уже лет десять назад зарыт в землю. Он представился:

— Псарь.

— А я, вот, Курносов.

— Месье Курносов, — сказал полицейский, — утверждает, что он автор „Русской правды”, которую вы опубликовали. Вы подтверждаете это?

Иван Иванович передал, что „все в порядке”.

— Я никогда не видел Курносова. Если вы позволите, я задам ему несколько вопросов.

— Конечно, но, пожалуйста, по-французски.

— Значит, вы Курносов.

— Да, это я. У месье мой паспорт.

Полицейский протянул красно-коричневую книжечку. У Александра тоже была такая в сейфе советского посольства: ему показали.

Михаил Леонтьевич Курносов, гражданин СССР, по национальности русский, родился в городе Кострома (РСФСР) 4 июня 1926... Фотография была явно этого человека со впалыми щеками, выпирающими висками и блуждающим взглядом.

— Этот паспорт вам выдали вчера.

— Да, — сказал Курносов. — Мне его дали вчера. Позвольте?

Курносов показал печать, указывающую, что обладатель этого паспорта не может вернуться в СССР.

— Вас лишили советского гражданства?

— Пока нет. Просто мне закрыт путь назад.

— Так что, книгу вы написали?

Курносов улыбнулся застенчиво, так, словно его учили улыбаться. Рот растянулся, как у щуки, обнажив уродливые зубы: дупша, гниль, металлический блеск. „Как ему не подходит его фамилия”, подумал Александр.

— Я.

Для Александра автором „Русской правды” мог быть только офицер ГБ.

— Но вы также...

— Анонимный Узник камеры № 000. Железная Маска. Да. Я прочел в прессе. Они мне показали до того, как меня... — он споткнулся на слове — выслать.

— Вас выслали? Почему?

— Они мне сказали, что я недостоин чести дышать советским воздухом.

Александр, вспомнив, что „он правый”, иронически улыбнулся:

— Не могут без громких слов. Это якобинский порок и, следовательно, большевистский. Хорошо. Я рад с вами познакомиться. Я предполагаю, вам известно, что вы богатый человек, или почти?

Он пожал руку чахоточного скелета... Этот человек был другом или врагом? Курносов, словно отвечая на этот вопрос, сказал:

— Я прежде всего человек, полностью потерявший ориен-

тацию. Я провел десять лет в психиатрической больнице и не совсем уверен, что им не удалось свести меня с ума. Кроме того, я не знаю, как вы умудряетесь здесь жить, на Западе. Вы как будто свободны. Для меня это все равно, что находиться на крыше небоскреба без страховки.

— Вы быстро привыкнете. Вы намерены просить политическое убежище?

— Месье Курносов уже заявил об этом, — вмешался полицейский. — Я позвонил куда следует. Никаких трудностей не будет, но это все же займет некоторое время. А пока мы готовы предоставить месье Курносову туристическую визу. Такой писатель, как месье Курносов, — он поклонился, — может быть в нашей стране только дорогим гостем.

Псарь сказал:

— Франция и Россия — две страны в мире, где писатель имеет настоящее значение.

— Месье Псарь, — сказал полицейский, — вы человек известный: мы знаем, где вас найти, в случае чего. Могут ли я считать вас ответственным за месье Курносова, пока его положение не будет урегулировано?

— Конечно. Михаил Леонтьевич, у вас есть багаж?

— Вот эта старая сумка, больше ничего.

Как только они вышли из кабинета, Александр задал рвущийся из груди второй вопрос:

— А насчет Брежнева, это правда? Вы в него стреляли?

Курносов помедлил, словно правдивое признание было трудным:

— Я пытался.

В Александре немедленно проснулось любопытство стрелка:

— Из чего?

— АК-47.

— Что это за оружие?

— Автомат Калашникова. Слышали?

— Конечно. Какой калибр?

— 7,62. Дальность действительного огня — 400 метров.

— Сколько в обойме?

— 30. И до 600 выстрелов в минуту.

Александр не удержался и восхищенно присвистнул.

Последующие часы были странными. У Александра не было никакой возможности удостовериться, что этот человек и есть Курносос, тираноубийца, Железная Маска, автор „Русской правды“, агент ГБ, все это вместе или что-то совсем другое. Когда его спрашивали, он интеллектуально говорил о „своей“ книге и высказанных в ней идеях. Он прямо говорил, что офицеры, которые вытащили его из камеры и сунули в самолет, посоветовали ему обратиться к Псарю, как только он окажется на Западе. Но говорил он обо всем этом без большой охоты. Больше всего он хотел понять, как живут люди в свободном мире.

— Живут, как живется.

— Нет. Объясните мне, как живут.

У него было полностью ошибочное представление о капитализме и разделении власти: на исполнительную, законодательную и судебную. Узнав, что большинство зажиточных людей на Западе не имеет прислуги, он огорчился:

— Но у вас все-таки кто-то есть?

— Нет. Раз в неделю консьержка делает у меня уборку.

Когда он понял, что, оказывается, во Франции часто бывают забастовки, что бастуют даже чиновники, он возмутился:

— Нужно расстрелять одного человека из каждого десятка, не зачинщиков, а наугад, — остальные успокоятся.

Увидев на улице детей, он удивился:

— Они же должны быть в школе. А почему они не в форме?

Ему захотелось осмотреть какой-нибудь большой универмаг. Красные пятна появились на туберкулезных щеках:

— Все это выставлено для обмана, не так ли? Ведь здесь ничего нельзя купить?

Чтобы доказать обратное, Александр тотчас же купил ему красивую лисью шапку:

— Без шапки французы никогда не поверят, что вы приехали из Москвы.

Это не произвело на Курнососа никакого впечатления.

— Таких подделок у нас тоже сколько хочешь.

— Но это не подделка.

— Меня не проведешь. Был бы это настоящий мех, его бы так свободно не продавали.

Куда бы Александр его ни водил, что бы ни показывал, ему не удалось заставить Курносова отказаться от тона превосходства. В ресторане, где они обедали, Александр убедился, что его спутник и понятия не имел, как сидеть за столом, не говоря уже о том, что он подзывал официантов и метрдотелей, как генерал Дуракин своих крепостных. Что до убранства:

— Ничего, ничего, — говорил он, откинувшись на стуле, — немного напоминает наше метро.

Вместе с тем, он все время возвращался к своему вопросу: как можно здесь жить? И уточнял: можно ли иметь собственный дом, работают ли люди на хозяина, сколько часов в неделю, в месяц, сколько зарабатывает хозяин, а сколько рабочие, сколько стоит кусок сала, сколько шерстяные кальсоны?

Уровень преступности поразил его.

— И вы не посылаете на гильотину всех этих бездельников?

— Смертная казнь была недавно отменена.

Курносов, засовывая в рот посаженный на острие ножа кусок сыра, усмехнулся:

— У нас расстреливают за экономические преступления. Ты слишком много нахапал? Так получай двенадцать пуль.

Александр, который в глубине души был не против наскоро расправляться со всякого рода преступниками, был раздражен подобным самодовольством. Он сказал Курносову:

— Похоже, вы считаете, что все хорошо в Советском Союзе. Покайтесь: они, может быть, примут вас обратно. И вы опубликуете вторую книгу: „Русская кривда”.

Фурвере с хорошей миной при плохой игре, который считал „Русскую правду” менее скандальной с тех пор, как она начала хорошо продаваться, похлопал своего автора по плечу:

— Дорогой друг, я счастлив приветствовать вас у нас. Мы хорошо поработали, и я думаю, что вы останетесь довольны. Наш друг Пса-а-арь неусыпно защищал ваши интересы. Увы, когда мы получали особенно приятные новости — восхваляющую вас статью или заявление, — мы думали о вас, источнике этого триумфа, томящемся в психтюрьме, и наше сердце обливалось кровью. Теперь, когда вы на свободе, наша радость полноценна.

Курносов спросил:

— Сколько я заработаю на этой книге?

И узнав цифры:

— А сколько же это рублей? Что можно сделать с подобной суммой? Где она находится? Какой процент вы берете обычно себе? Какой вы даете задаток? Почему так мало?

Вечером Александр привез его обратно в Сюрен. На следующий день должна была состояться пресс-конференция, так что не могло быть и речи попасться на глаза какому-нибудь журналисту до ее начала.

Железная Маска нашел квартиру удобной, разве что потолки были низковаты. Зато его поразили электронные шахматы. Александр оставил его наедине с доской, поставив рядом бутылку виски и хрустальный стакан.

— Вам давали в больнице алкоголь? Если нет, осторожно, чтобы не заболеть. Не похоже, чтобы вас хорошо кормили, как было сказано, а когда организм слабый, виски плохой советник.

Курносов удивился:

— От одной бутылки? Там, Александр Дмитриевич, мы пьем чистый спирт и прекрасно себя чувствуем.

Жессика была загорелой, как негритянка. Она глотала на яхте пилюли, чтобы быстрее загореть, и теперь поддерживала загар под кварцевыми лампами.

— Прекрасная дама, — сказал ей Александр, — когда-нибудь у вас будет рак кожи.

Иван Иванович уже ждал его.

— Ну что, получил посылку? Как тебе нравится этот сукин сын?

— Если вы, советские, все такие, как он, я не возвращаюсь.

Они уселись рядом на черно-белый полосатый диван.

— Теперь: кто он?

— Курносов?

— Человек, который стрелял в Брежнева?

— Он самый.

— И это действительно он написал „Русскую правду“?

— А кто же?

— Почему меня не предупредили о его приезде?

— Чтобы ты казался действительно удивленным. И кроме того, с тех пор как ты начал критиковать получаемые приказы... Я думаю, что товарищ Питман решил поставить тебя перед совершившимся фактом.

— И мы действительно выслали этого Курносова?

— Как будто.

— Для чего?

— Чтобы ударить по диссидентам.

— Есть у тебя новые указания для меня?

— Да. Ты должен делать все, что захочет Курносов.

— И ты хочешь после этого, чтобы я не считал его коллегой?

Иван Иван рассмеялся:

— Он — коллега! У нас нет таких худых, Сашенька!

— Значит, ты утверждаешь, что „Русская правда“ была написана не нами?

— Да нет же, говорю тебе! Хочешь, расскажу тебе всю историю? После того как Курносов стрелял в Брежнева и мы его взяли, то, естественно, допросили. Он показался нам чокнутым, и мы передали его психиатрам. Те не сочли его слишком ненормальным, разве что у него были реакционные идеи и не марксистское мировоззрение. Что было делать? Расстрелять его на Красной площади? Это вызвало бы слезы у слабонервного Запада. Сунуть его в лагерь? Это было бы слишком слабое наказание. Тогда товарищ Сталагмит

из твоего Управления сказал: „Он вам не нужен? Дайте его мне. Я буду держать его в тихом месте и в один прекрасный день найду ему применение. Как говорят французы, кляп на черный день”. Курносов вел себя спокойно, попросил только ручку, чернила и бумагу. И начал бойко писать. Он думал, что, возвращая один из двух исписанных листов, на котором были ничего не значащие высказывания, он утаит второй. Он прятал листы в телевизор. Но как ты легко можешь догадаться, за его камерой велось непрерывное наблюдение. Сталагмит угадал в этом парне гения и рассчитывал использовать его до конца. Подумать только: промахнувшийся убийца с реакционными идеями! Да ему цены нет! Такая боевая, агрессивная доктрина, как наша, чтобы расти и прогрессировать, нуждается в оппозиции. А у нас, сам знаешь, Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович оппозицию прикончили раз и навсегда. Следовательно, Курносова нужно было беречь, как зеницу ока. К нему приставили двух санитаров: эти были, конечно, коллегами. Ночью один из санитаров уводил Курносова во двор на прогулку, и, пока они считали звезды, второй санитар делал фотокопии спрятанных в телевизоре листов. Затем специалист переписывал их, подделывая почерк заключенного, а один из офицеров твоего Управления, он же санитар, передавал на Запад подходящие отрывки.

— Для чего?

— Чтобы подготовить то, чем мы занимаемся сегодня.

— А чем мы сегодня занимаемся?

— Я тебе уже сказал: отрываем головы диссидентам.

— Подожди: теперь Курносов знает, что это ГБ передавала отрывки из его книги на Запад. Он знает, что никого не обвел...

— Конечно. Мы ему об этом сказали, когда показывали вырезки из прессы. До этого он не знал, что его книга опубликована, и думал, что существует только один экземпляр, спрятанный в телевизоре. Но он ничего не расскажет, не в его интересах, чтобы его заподозрили в сообщничестве с нами. Даже в невольном сообщничестве. И помни: для него ты

такой же иностранец, как все, и он тебе никогда не доверится.

— И ты давно знаешь обо всем этом?

— Когда мне вчера объявили, что его освобождают, мне дали его биографию.

— Разве не проще было бы прислать одного из наших офицеров? Ведь как только этот получит политическое убежище, его нельзя уже будет направлять.

Иван Иванович вздохнул:

— Какой ты осел! А еще принадлежишь к Управлению хитроумных и изобретательных! Нам не нужно его направлять. Мы знаем его идеи лучше, чем он сам. Мы заранее знаем все, что он скажет. А нашего офицера как потом возвратить после всего? Тогда как этого, настоящего, мы просто бросим, как только он завоюет доверие. А чем мы рискуем? Все, что от него требуется, это быть откровенным, говорить правду, его правду. Есть еще одно, Александр Дмитриевич, о чем, может быть, я не должен говорить: наш офицер может предать, такое уже случалось. Хотя бы по религиозным побуждениям, как прототип этого Попова, историю которого ты дал мне прочесть. Представь себе, что наш товарищ в один прекрасный день заявляет: я майор такой-то, я не стрелял в Брежнева и не писал „Русскую правду”, но зато могу написать воспоминания офицера ГБ. А? Хороши мы тогда будем! Курносов не может выступить против нас: он уже против нас, и именно поэтому полезен нам.

Александр не был полностью убежден: казалось, что не все чисто в рассуждениях Ивана Ивановича. Прежде всего оправдывает ли сумятица, в которой оказались диссиденты, проведение столь сложной операции и использование человека, которому, по словам самого Ивана Ивановича, „цены нет”. Но больше из Ивана Ивановича вытаскивать нечего.

— Предупреждаю тебя, он получит все причитающиеся ему как автору деньги. Я не могу этому помешать.

— И не мешай.

Интересно. Обычно для ГБ было делом чести присваивать деньги, получаемые агентами со стороны. Но в конце

концов Курносов не был агентом, и, может быть, в Управлении решили, что он заслужил эти деньги.

Александр ушел, составив официальное заявление: его должны были предупредить о прибытии Курносова в нужное время и даже узнать его мнение по этому поводу; если начальство продолжает считать его нижним чином, то он снимает с себя ответственность за последствия действий, в которых ему приказано участвовать.

На следующий день около сотни парижских и провинциальных журналистов собрались в издательстве „Люкс”. Телеоператор тяжело передвигался, неся на плече, как базуку, свою камеру. Фотографы, надрываясь, тащили свой скарб и путаясь в многочисленных лямках, ругались с приводящей в уныние изобретательностью. Проекторы вспыхивали и потухали, видоизменяя краски. Стульев не хватало: одни журналисты стояли, прислонясь к стене, другие сели на пол, кто по-турецки, кто вытянув ноги, и ругали фотографов, постоянно спотыкающихся о них. Куст микрофонов возвышался над маленьким столом, за которым должен был сидеть Анонимный Узник. Журналисты переговаривались: „Интересно, какая физиономия у Железной Маски? — Это действительно он стрелял в Брежнева?”

Они вошли: первым Фурвере, строгий и одновременно улыбающийся, потом Псарь, собранный, сосредоточенный, и наконец тот, на кого пришли посмотреть, — Узник без имени, в новом советском костюме и в галстук, который купил ему Александр.

Все шумно встали. Чтобы лучше его увидеть, но и из уважения: человек провел десять лет в психиатрических тюрьмах, одно упоминание о которых вызывает дрожь. Чем его там лечили? Остался ли он умственно здоровым? А до этого, в течение первых дней после покушения (если его действительно совершил Курносов), что пришлось ему пережить в подвалах Лубянки? И даже если его не пытали, разве десять лет одиночки — это не ужасно? Мы уже не относимся

с почтением к героизму, но еще преклоняемся перед страданием. Раздались рукоплескания. Фурвере почти голлистским жестом потребовал тишины.

— Медам, месье, друзья мои, сестры и братья, товарищи, да, да, я чувствую, что мы сегодня — все это... Я имею честь, да, именно честь, представить вам автора „Русской правды“, Анонимного Узника, который отныне не должен оставаться анонимным. Радость и удовольствие представить его вам я предоставляю великому открывателю гениев, дружба которого мне льстит... Дорогой Пса-а-рь, вы можете пройти? Не наступите на руку этой очаровательной девушке, напомните мне ваше имя, ах да, Дениз Эсклафье из „Эльзасского патриота“. Нас так много собралось здесь, и так отрадно видеть готовность бороться с лицемерием и гонениями, отрадно, что не хватает места в этом зале для желающих... (Он искусно путался в словах.) Медам, месье: Александр Пса-а-рь!

Александр умел выступать перед аудиторией. Умел постоять неподвижно несколько мгновений, подбирая в уме слова будущей фразы. Его глаза, слегка скошеннные, внезапно устремляли взгляд на зал и останавливались на нескольких лицах. Голова его медленно поворачивалась, как башня броненосца, грудь набирала побольше воздуха так, чтобы ритм дыхания указывал на мгновение, после которого вырвется первое слово.

Еле слышным голосом он произнес:

— Я представляю вам...

Александр нарочито отбрасывал все лезущие на язык дифирамбы, как бы решив, что только простота может быть достойной такого случая, и выкрикнул, вытянув руку:

— Михаил... Леонтьевич... КУРНОСОВ!!!

Когда он произнес имя бывшего узника, гул прошел по залу, после отчества гул усилился, а после фамилии уже рев потряс зал. Этот автор книги, о которой так яростно спорили, действительно держал в руках автомат, действительно открыл огонь по самому могущественному человеку в мире. Вот это репортаж! Вот это материал!

Видя взрыв восторга, Александр улыбнулся и сделал очаровательный жест, указывающий на его беспомощность: мол, что я могу еще сказать вам, знающим главное? И он скромно сошел со сцены.

Курносов стоял, слушая аплодисменты, слегка наклонив голову, слегка растопырив руки, длинный и сутулый, с туберкулезной грудью, зеленоватым цветом лица и впалыми щеками. Чувствовалось, что он не был смущен, но ему хотелось таким выглядеть из вежливости. Наконец он сделал несколько шагов к столу, и этого было достаточно, чтобы зал замолк.

— Я хотел бы, — произнес он, стараясь раскатисто выговаривать букву „р”, — поделиться с вами некоторыми своими мыслями.

Все удивились. Рассчитывали задавать ему вопросы, а он вдруг вытащил из внутреннего кармана пачку исписанных тонких листов.

Курносов начал клеймить Советский Союз, лагеря, тюрьмы, уровень жизни. Подобная система не может не рухнуть в ближайшем будущем. Солженицын был богом, а погибший Амальрик — пророком.

Александр слушал старомодный и четкий голос, певучий минорный французский язык Дмитрия Александровича и людей его поколения, французский язык гувернанток, который русское общество, переделав на свой лад, сочло своим, как корсеты и пристяжные воротнички. „Они могли бы по крайней мере предупредить меня, что ему разрешили вывезти свои записи”. Последнее время Управление стало относиться к нему без бывшего уважения, и каждое тому подтверждение он переживал, как пощечину. Он не знал, что его смертный приговор (административный) уже приводится в исполнение.

Покончив с советской системой, Курносов принялся за Запад: бездумие, эгоизм, гниль. Он еще раз процитировал Солженицына и прибавил к нему Буковского. Он заявил, что дни Запада сочтены: „Медам, месье, для вас уже без пяти минут полночь”.

В зале люди начали скучать: все это было уже говорено и переговорено; и к тому же ни к чему повторять что бы то ни было парижанам, если они не поняли в первый раз; если поняли, дело другое: они любят повторения, подчеркивающие их понятливость.

Курносов продолжал читать, ничего не замечая, и уже в этом чувствовалась сила. Александр, нервничая, беспрерывно поглядывал на часы. Фурвере уронил свою красивую голову на правое плечо и сидел в позе, говорящей одновременно: „я страдаю” и „кто был прав?”. Один из журналистов встал:

— Прошу прощения, что прерываю вас, месье Курносов, но у меня впечатление, что вы противоречите самому себе: советский режим рухнет, Запад сгнил. И что?

Курносов нетерпеливо поднял руку: нельзя прерывать оратора. И невозмутимо продолжал. Но через три минуты, хотя тон его и не изменился, все поспешно схватились за ручки.

— Тем не менее, я вынужден признать, — читал Курносов, — что, какими бы справедливыми ни были идеи диссидентов, которых я цитировал, сами они развращены так же, а быть может, и больше, чем их единомышленники, соперники, хулители и подпевалы.

Все присутствующие в этом зале были знакомы с кое-какими сплетнями, относящимися к некоторым диссидентам, но никогда никто из них не видел подобного разгрома. Ни одно известное имя не было пощажено, ни один виолончелист, танцор, шахматист, певица, скульптор, не говоря уже о поэтах, писателях, профсоюзных деятелях; даже те, единственный подвиг которых заключался в том, что они стали персонажами романов. Не были обойдены и диссиденты, живущие в СССР, а также остатки первой эмиграции.

Такой-то, говорил Курносов, изменил свое имя-отчество, утверждает, что он православный, а сам женился на собственной крестнице. Известность такого-то объединяет вокруг него диссидентов, которые тут же берутся органами на карандаш; и это длится уже так долго, что невольно воз-

никает вопрос, на кого, собственно, работает эта знаменитость. Такой-то создал фонд помощи жертвам режима, за счет которого живут припеваючи его ближайшие сотрудники. Карьера такого-то соткана исключительно из доносов, и он в конце концов решил эмигрировать только потому, что его систематическое доноительство не дало ему кафедру, на которую он рассчитывал. Такой-то провел в лагерях много лет, чтобы потом обвинить Сталина в проведении слишком умеренной политики. Такой-то оставляет позади себя самоубийц: по его вине уже повесились трое. Такой-то увлекается порнографией. Такой-то алкоголик. Такая-то лесбиянка. Такой-то наседка. Такая-то торгует иконами. Такой-то спекулирует подозрительными рукописями. Получили свое и закоснелые марксисты: такой-то стукач, такой-то гомосексуалист. Ни одно из этих обвинений, взятое в отдельности, не шокировало бы эту пресыщенно-непробиваемую публику. Но от такого нагромождения стало не по себе.

Это продолжалось три четверти часа. Курносов читал медленно, как учитель, чтобы все успели записать. Он давал имена, отчества, фамилии, детали, даты. Александр начинал понимать: конечно, начнут кричать, что Курносов агент КГБ, пустили козла в огород! Но зла уже не исправить: у публики хорошая память на мерзавцев. Несколько журналистов покинули зал, то ли, чтобы позвонить, то ли от отвращения. Но большинство остались и требовали еще и еще.

Курносов методически продолжал:

— Все эти мужчины и женщины единодушны в одном: они признают, что истинная демократия невозможна в Советском Союзе. Заметьте: среди диссидентов нет ни одного настоящего демократа. Только марксисты и реакционеры! Но самое интересное то, что они абсолютно правы!

Он был совершенно лишен красноречия, поэтому особенно красноречиво отхаркивал восклицательные знаки.

Затем он изложил предлагаемую им систему правления; в сущности, она была уже изложена в „Русской правде”: признанный диктатор; разделение не по географическим ре-

гионам, а по профессиям; стержень создается из служителей государства.

— Не надо бояться слова аппарат: да, аппарат и аппаратчики необходимы, но они должны принадлежать нации, в то время как партия подчиняется идеологии.

Курносов заявил, что нужно отказаться от всеобщего голосования; нужно создать систему, основанную на кооптации, предоставляющей привилегии элите. Свобода прессы — устаревшее буржуазное понятие. (Ручки бешенно бегали по бумаге.) Свобода мысли — относительная концепция, поскольку большинство граждан в любом случае предоставляют телевидению думать за них. Свобода ассоциаций должна быть ограничена: объединяться на благо коллективности — да, на благо некоей подколлективности — нет. Прежде чем говорить о правах человека, нужно установить его обязанности. Индивидум, уточнил он определением, которое мало кто записал, может рассматриваться либо как продукт более или менее случайного совокупления, и в таком случае почему у него должны быть права; либо как продукт общества, которое гарантирует ему жизнь, безопасность, образование и по отношению к которому он имеет определенные обязанности.

Курносов не закончил свою речь каким-либо ораторским приемом, он просто перевернул последнюю страницу и сказал:

— Вот, я закончил. — И, собирая листки, добавил по-русски: — На вопросы я не отвечаю.

Александр наклонился к нему:

— Здесь так не делается. Нужно ответить на вопросы.

Курносов невозмутимо покачал головой.

— Отвечайте, черт возьми!

Курносов встал. Что делать? Александр повернулся к собравшимся:

— Месье Курносов очень устал. Лишения. Переживания. Он просит его простить.

— Я не устал, но тем не менее отвечать на вопросы не буду, — сказал Курносов, пробираясь к выходу под вспышка-

ми фотоаппаратов, спотыкаясь о вытянутые ноги журналистов в джинсах, и с отвращением ворчал: — Декаданс.

В небольшом салоне, где организаторов ожидали выпивка и закуска, Александр схватил Курносова за локоть:

— Откуда у вас все эти сплетни? Вам что, передавали их в сумасшедший дом?

Курносов посмотрел на него с удивлением:

— А вы думали, меня отпустили просто так?

Для Александра операция становилась все более и более ясной. Но все-таки! Пожертвовать Железной Маской, чтобы распространить несколько сплетен!

Он спросил:

— На кого вы работаете, на нас или на них?

Но кто были эти „мы” и „они”?

Фурвере взял его за руку:

— Не мучайте нашего друга Курносова. Когда я думаю о том, что ему пришлось пережить... — и он положил руку на сердце.

На следующий день, просмотрев газеты, Александр сразу отметил, что к операции был привлечен, кроме его собственного, другой „оркестр”. Он почувствовал облегчение, констатируя, с каким блеском ведется дело. По-видимому, Управление еще знало, что делает. Все, что произошло до сих пор, было лишь установкой мишени. Теперь дан приказ открыть огонь. Александра не смущало то, что он оказался на передовой. Он был солдатом и, черт возьми, вполне способен героически крикнуть: „Вызываю огонь на себя!”. Он также знал: чтобы перевернуть лодку, нужно раскачивать ее в обе стороны. „Не знаю, кто мой коллега, но свое дело он знает”.

Статья Этьена Депансье, в котором Александру казалось, он разгадал агента влияния или, по крайней мере, методически используемый проводник этого влияния, задавала тон всей симфонии.

Известный журналист, которого интеллигенция считает „умеренным и человеколюбивым”, высказал мнение: „Мы получили то, что заслужили”.

Пресс-конференция месье Курносова нас чрезвычайно удивила, но можно задать вопрос, не является ли это удивление, которое я разделяю, результатом наивности, свойственной либеральным режимам, лицемерием, характеризующим буржуазное общество.

Что касается меня самого, я сочту это недостатком демократической бдительности.

Никто не может обвинить меня в снисходительности к сталинским и послесталинским режимам: тем более я могу констатировать, что наша привязанность к демократическим ценностям находится в состоянии полной девальвации. Псевдоучения псевдоновых псевдо-философов заполнили страницы наших газет и витрины наших книжных магазинов. Кучка реакционеров осмеливается называть себя Новыми Правыми, и не создается народный трибунал, чтобы судить и осудить этих головорезов, расплодившихся, как паразиты, на вялом теле нашей интеллигенции. Мы встречаем с распростертыми объятиями людей, которые вместо того, чтобы участвовать в самой великой революции, то есть в самой великой надежде современности, вместо того, чтобы стараться эту революцию вновь направить на демократический путь, когда она от него отходит, — плачут у нас на груди о перенесенных ими страданиях. Но, господа, разве без жертв совершаются великие дела!

В сущности месье Курносов сказал следующее: мы, диссиденты (да, именно здесь Воевода разрешил воспользоваться тем самым „непечатным словом”, которое, по требованию Абдулрахманова, нужно было до поры до времени держать под сукном), все фашисты. А возмущение, вызванное этим заявлением, оказалось весьма умеренным. Некоторые из моих коллег, к честности и таланту которых я испытывал уважение, не только расхвалили книгу, но и дослушали выступление до конца. Это наводит на серьезные размышления.

Нужно быть ясными и строгими, чего бы это ни стоило нашему республиканскому и вместе с тем обуржуазненному сознанию. Мы все предпочли игру красок четкому и уверенному блеску.

Мы задумываемся, в частности, о роли некоего литературного агента, симпатии которого к крайне правым кругам хорошо известны; о роли некоего издательства, которое, создав себе репутацию защитника либерализма, погрязает в коммерческой эксплуатации всего реакционного; о роли некоего критика, когда-то независимого

и уважаемого, который ныне извратился и который уже не стремится к „объективности”, даже если она продолжает оставаться социальной причиной его деятельности. Мы также думаем об одном человеке, претендующем на „нелицеприятность”, но, испытывая, возможно, ностальгию по привилегиям старого режима, основывающем свои страшные надежды на темных силах скрытого фашизма.

Quousque tandem Catilina, который мы учили школьниками наизусть, все еще в силе, и я торжественно предупреждаю всех разнужданных, у которых демократия вызывает заворот кишок: мы отстаиваем терпимость, но не по отношению к врагам терпимости и свободы, но не для врагов свободы. Смертная казнь была отменена для сынов народа; для врагов же народа, которые, кстати, являются упорными ее защитниками, ее можно с чистой совестью восстановить. Я имею в виду не отвратительную смертную казнь, объявленную красными в красных мантиях, а наказание, установленное гражданами с закатанными рукавами.

Месье Курносов признал, что он убийца. Неудачный убийца, но все же убийца. Он также признал, что его выпустили из психиатрической больницы, а ведь никто никогда не утверждал, что советские помещают туда только здравых умом людей. Если месье Курносова укусила бешеная собака, должны ли мы согласиться подхватить заразу?

Я взываю к общественному мнению. Проведем, друзья мои, радикальную чистку нашего общества и, прежде всего, интеллигенции, к которой мы имеем честь принадлежать. В противном случае мы вновь попадем в лапы оголтелого фашизма.

И это будет по нашей вине.

Последствия этой статьи, вслед за которой появилась еще дюжина подобных, не заставили себя ждать. Административный совет издательства „Люкс” спешно собрался и единогласно принял преждевременную отставку Фурвере (кстати, с неплохой компенсацией). Издатель журнала „Объектив” попросил месье Жозе Балландара, да, легендарного Балландара, впредь предлагать свои услуги другим. Неизбежное сокращение кадров вынудило газету „Эмпарсьял” отказаться от услуг месье де Монтиньи. Почти все парижские газеты и журналы поместили на своих страницах благонамеренные передовые, дабы заслужить положительную характеристику Этьена Депансье.

Александр наблюдал, весьма озабоченный, за роспуском своего „оркестра”. „А ведь Управление как будто было довольно его работой. Надо полагать, есть много других Балландаров, Фурвере и Монтиньи. Во всяком случае, надо признать, что операция удалась: те, кто еще сохранил свою голову, поспешно вбирают ее в плечи”.

Доносы распространялись, становились модой. Доносили друг на друга тем более спокойно, что от этого никто не умирал. Явление Курносова позволило тысячам завистей, тысячам мерзких стремлений всплыть на поверхность. Сначала были подозрительными все, сказавшие хоть одно доброе слово о „Русской правде”, скоро стали подозрительными и те, кто не сказал о „Русской правде” ничего плохого, а быть на подозрении в период якобинской диктатуры, значит быть виновным. На вакантные места, которые освобождали осужденные, Воевода, естественно, продвигал своих людей, как пешки в дамки.

Тогда Александр понял, что цель операции была гораздо шире, чем ему дали понять, и почему его держали в стороне от стратегии этой операции: они опасались, что он не решится уничтожить свою собственную репутацию. „Они меня недооценивают”, подумал он с горечью. Но в конце концов какое ему до всего этого дело? Скоро, через несколько недель, он вернется.

Все происходящее Курносова не беспокоило.

— Я хочу купить дом, — сказал он.

Большинство диссидентов стремятся купить дом. Александру был дан приказ во всем потакать Курносову, и они оба в течение многих дней колесили по дорогам, объезжая провинциальные агентства по продаже недвижимости — Железная Маска не хотел жить в Париже.

— Я хочу дом с крепкими стенами и железным забором вокруг.

— Вы уже соскучились по крепким стенам и решеткам?

— Я хочу решетки, которые защищали бы меня, а не держали.

— Чего вы боитесь? Они вас выпустили. Вам дали политическое убежище.

— Вы их не знаете. Они выпустили меня, чтобы я облил грязью диссидентов, но если я перестану быть им полезным, они вполне могут меня ликвидировать. Не буду же я облегчать им задачу. К тому же и диссиденты на меня обижены.

— Вас не мучает совесть, Михаил Леонтьевич, что вы сказали так много плохого о хороших людях, чтобы доставить удовольствие плохим?

— Хороших! Вы, очевидно, обратили внимание, что все диссиденты — выходцы из привилегированного слоя коммунистического общества? Большинство из них попросту неудовлетворенные угнетатели. И никто из них не сделал того, что сделал я: выступил с оружием в руках против режима!

Во время их совместных поездок Александр попытался побудить Курносова рассказать о своем прошлом.

— Теперь вы должны написать свою биографию.

— Я писатель одной книги, — отвечал Курносов.

Или:

— Моя жизнь лишена интереса.

Или:

— То малое время, которое мне осталось жить, я бы хотел прожить, стараясь забыть прошлое.

Он посетил врачей, которые сочли его больным, но не безнадежно. Он им не верил:

— Я старый раненый волк.

Не было никакой возможности вытянуть из него подробности о покушении, о его молодости, о причинах, толкнувших его на путь бунтарства. Он обладал в какой-то мере политическим мышлением, но оно только усиливало его пессимизм.

— Но в „Русской правде” есть какая-то программа, а следовательно, и надежда.

— „Русская правда” — книга, а я человек. Давайте-ка лучше поговорим о деньгах. Деньги хорошая штука, полезная.

И снова начинал подсчитывать кредиты, которые ему нужно будет взять для оплаты дома, какие проценты получит от своих капиталовложений, сколько у него останется после выплаты налогов и каким образом он сможет компенсировать финансовые потери вследствие инфляции.

Все это мало интересовало Александра, который все чаще посматривал на пейзажи.

Вначале он думал, что старый раненый волк пожелает поселиться на Лазурном берегу.

— Нет, там слишком много людей. А я не хочу видеть из своих окон ни одного дома.

— Да, но так вы рискуете еще больше.

— У меня будет охотничье ружье.

Тогда они начали поиски в Керси, Перигоре, Лимузэне.

Александр плохо знал Францию. Постепенно он все больше увлекался разнообразием пейзажа. Он вспомнил изречение Машадо: „Господь Бог был молодым, когда он раскрашивал Испанию, и уже стареющим, когда лепил Францию”. Всепроникающая таинственность Франции поразила Александра: сеть церквей была брошена на языческую землю, нити дорог были протянуты среди мозаики лесов и холмов, и несмотря на эти наслоенные абстракции, душа страны была недоступна путнику.

Он также отметил — он чаще ходил по музеям, чем ездил за город, — что пейзажи, которые он видел, принадлежали различным эпохам. В послеобеденное время он увидел пастбище, окруженное тенью величественных деревьев, на пастбище стояли белые коровы, неподвижные под облачным небом, пронизанным видимыми лучами невидимого солнца — XVII век. Потом были утренний ручей, треугольное поле, окаймленное двумя изгородами, водяная мельница, легкий туман, кусок стены, покрытый мхом, крыша, обвитая диким виноградом, возможно, розовое личико ребенка над деревянным забором — XVIII век. Либо это был реставрированный замок, умытый дождем, сияющий своим гребнем, блестящий бойницами, как зеркало, с садами, огородами, спускающимися с холмов к его подножью когтистыми ви-

ноградниками, с подпорками для фасоли, воткнутыми строго каждая на своем месте, и все это под небом холодного и густого синего цвета. И Александр не столько из-за замка, сколько из-за борозд и жердей чувствовал себя перенесенным в средние века. Осенняя листва над каменным забором, аллея, заросшая травой, зеленоватая каменная ваза на обшарпанной балюстраде вызывали в нем острое ощущение эпохи романтизма, к которой он всегда был привязан, быть может, потому, что романтизм был золотым веком России, а быть может, по причинам более личным: в нас живут все предыдущие века, но близость мы ощущаем только с некоторыми из них.

Александр был удивлен красотой домов, которые они осматривали, и их состоянием: одни состояли только из стен и каминов, другие были полностью переделаны и модернизированы, но потеряли свою душу. До сих пор он не подозревал, что у каждого дома есть душа. Он убедился, что мало видел на своем веку настоящих домов: несколько маленьких замков, несколько загородных вилл, а в основном, квартиры. Он счел важным тот факт, что в середине XX века не все французы жили в муравейнике.

— Я возвращаюсь. Иначе сам соблазнюсь и куплю дом.

Он вообразил: балкон, огонь, собака под столом, курятник, голубятня, лошадь. Без сомнения, он воссоздавал именно деда, о котором ему рассказывал отец: „Мы вырывали перья у петухов, втыкали их в волосы и играли в индейцев, собирали огурцы, привязывали к пыточному столбу кузин...”

Курносов нашел только один дом, полностью окруженный железной решеткой, но он был огромный и стоял посреди гигантского парка, превратившегося в джунгли. Он от него отказался. Но так как он торопился, то удовлетворился в конце концов крепким домом с садом, окруженным кирпичной стеной.

— Я воткну сверху бутылочные осколки.

Курносов заинтересовался возможностью укрепить дверь и окна, был разочарован, что не может сразу купить дом, и тут же подписал незасвидетельствованный договор. Вечером

он пригласил Александра в лучший ресторан Лиможа и настоял, чтобы были заказаны самые дорогие блюда и вина. Получилось довольно удивительное сочетание гусиной печени, красного вина и омара, но Анонимный Узник получил большое удовольствие от пира, устроенного им в честь своего сопровождающего.

— Я жалею, — сказал он, — что не подумал привезти вам подарок. Например, старую икону. Если бы я попросил, они наверняка разрешили бы мне взять с собой икону.

Между тем в Париже начиналось новое движение.

Сгруппировалась небольшая часть общественного мнения, которая не была враждебно настроена против Курносова. Это было легко сделать, поскольку речь шла о неконформистах, принадлежащих к так называемым крайне правым, которые имели привычку часто встречаться между собой. К ним присоединились несколько свободных мыслителей, шокированных якобинским фарисейством большинства. В конце концов в чем упрекали Курносова? Что он антисоветский? А чего еще ждать от диссидента? Что он не любит своих братьев? Но разве неизвестно, что, сколько диссидентов, столько и партий? Именно в этом нет ничего непонятного и отрицательного: открыв свободу мысли, они хотели ею воспользоваться. Нет, единственное серьезное обвинение касалось „непечатного слова”: фашист. Но во-первых, что означает это слово? В словаре указано: сторонник авторитарного режима. Курносов никому не навязывал никакого режима. Во-вторых, утверждал ли кто-либо, что Россия созрела для демократии? И наконец, разве доказано, что авторитарный режим является полностью плохим? Одни вспоминали Тигра (Клемансо), другие — Де Голля, третьи — принцев Кватроченто, четвертые — „сорок королей, которые в течение тысячи лет создали Францию”. В результате желающих взять у Курносова интервью стало еще больше, а „Русская правда”, которую больше не выставляли в витринах книжных магазинов, продолжала хорошо продаваться.

— Я не даю интервью.

Александр предупредил Ивана Ивановича.

— Вы должны настоять, — сказал тот.

Александр умел убеждать.

— Вы хотите выплатить свой дом, выплатить ссуду. И кроме того, жить-то надо. Каждое интервью способствует продаже книги. Эти люди сами по себе не очень важны, но они к вам хорошо относятся: не отмахивайтесь от них. Неужели вы не понимаете, что, если будете продолжать отказываться от встреч, могут заподозрить, что вы подставное лицо. Вы можете рассказать наизусть отрывки из „Русской правды“, но что это доказывает? Уже были намеки в прессе: некоторые думают, что вами манипулирует КГБ, а судя по вашему выступлению против диссидентов, вы сами гебист. Чем дольше вы будете отказываться от встреч с журналистами, тем более подозрительным вы будете в глазах людей.

— Хорошо. Не буду отказываться.

Интервью не представляли большого интереса: журналисты хотели получить как можно больше подробностей о покушении, а Курносов предпочитал говорить о евразийском призвании русской империи. Между тем один смелый книготорговец, уверенный в своей клиентуре, пригласил Железную Маску в свой магазин подписывать „Русскую правду“. Под давлением Александра Курносов согласился на это.

Книжный магазин находился на пешеходной улице неподалеку от центра Помпиду. Александр знал, что этот магазин специализируется на продаже книг авторов, состоящих в „черном списке“, и хозяин, крепыш с толстовской бородой, представляясь, не забывал добавлять: „Самый правый книготорговец Парижа“. К крайне правым Александр испытывал отвращение, которое испытываешь при виде очень большого животного, а иногда и человека: „Подыхай быстрее“. Не без неловкости вошел он в этот магазин, ожидая встретить здесь толпу дворянчиков, бездомных и парашютистов. Он ошибся, Курносов стал таким „скандальным персонажем“, что парижские смельчаки всех слоев населения присоединились к завсегдатаям магазина. Быть может, пред-

ставленный здесь социальный веер был более широким, чем в каком-нибудь шикарном книжном магазине Сен-Жермена: больше было женщин в норковых шубах, больше изголодавшихся хиппи, военных в штатском, благородных провинциалов, архивариусов и анархистов, но ни один чуждый миазм не отравлял атмосферу.

Курносов был уже на месте. Он передвигался по городу в самые неожиданные часы и каждый день менял гостиницу. „Ему действительно грозит опасность?“ — спросил Александр у Ивана Ивановича. „Клянусь тебе, что мы не желаем ему ничего плохого“, — ответил Иван Иванович, с искренней нежностью в глазах. А так как искренность вещь опасная, он добавил: „Заметь, если бы готовилось „мокрое“ дело, вряд ли б меня об этом предупредили. Но, честно говоря, меня бы это удивило: в Управлении В все тряпки. В былые времена дело пошло бы совсем по-другому“.

Среди людей, окружающих Курносова, Александр узнал одного бывшего министра, редактора одного проданного и перепроданного с аукциона журнала, мелкого издателя, наделавшего уже достаточно скандалов, чтобы иметь основательную надежду пробиться: его рука в перстнях постоянно тянулась к внутреннему карману, словно он все время ощущал свою чековую книжку. Он, наверное, делал бесцельные предложения автору издательства „Люкс“, но это не противоречило неписаным законам войны между издательствами, и Александр не счел нужным вмешиваться.

Курносов купил себе новый костюм из черной фланели в серую полоску, очень теплый и шикарный. Усевшись за маленький стол, он надписывал экземпляры своей книги, не останавливаясь: игра стоила свеч.

— Месье Курносов, можно ли утверждать, что вы фашист?

Вопрос задала девушка маленького роста, в дымчатых очках, с грязными волосами. Ее карандаш замер над блоком.

Курносов с беспокойством огляделся. А между тем, Александр заранее предупредил, что он здесь увидит и услышит.

— До тех пор, пока эти люди не решили расправиться с вами, они наиболее либеральны и наименее пуритански настроены, чем другие. Им смело можете сказать все, что хотите.

— Я фашист в той же мере, в какой ими являются Солженицын и Буковский. В той мере, в какой фашизм является единственным шансом победить коммунизм.

Какая-то дама с собачкой под мышкой возмущенно спросила:

— Но, месье Курносов, фашизм был стерт с лица земли после Второй мировой войны.

— Фашизм — вечная тенденция человеческого общества. Цезарь был фашистом. И Наполеон.

— Значит, вы надеетесь, что фашизм возродится? — спросил какой-то человек, в галстуке, надушенный, с золотой ручкой в руке.

Курносов ответил ровным голосом:

— Я на все вопросы ответил в своей книге. Следующий. Мадам, напишите, пожалуйста, вашу фамилию на листе бумаги, я бы не хотел сделать ошибку в надписи — это было бы невежливо.

Он продолжал надписывать. Книготорговец и его служащие подносили новые стопки „Русской правды”. Книготорговец сказал:

— Нужно будет сходит в „Люкс”, у меня на всех книг не хватит.

Перед магазином стояла толпа, внутри всех расталкивали фотографии.

— Позвольте, месье Курносов? Улыбнитесь. Не делайте такой физиономии. Что у вас всегда такой надутый вид?

Фотовспышки озаряли магазин.

Маленький человечек в старом и очень длинном плаще протолкнулся в первый ряд. У него были толстые квадратные очки, слегка выделялась заячья губа. Он остановился, руки в карманах, и, ничего не покупая, устремил свой взгляд на вытянутый лысоватый череп Курносова. Может быть, он хотел что-то сказать и не решался? А может быть, у него просто не было денег, чтобы купить книгу.

— Следующий. Напишите, пожалуйста, вашу фамилию...

Курносов поднял голову, и взгляд его остановился на скромном помятом лице стоящего перед ним человека.

И тогда, несмотря на толпу, что-то произошло, произошло только между этими двумя парами темных и болезненных глаз: туберкулезными углями одного и мягкими подслеповато испуганными другого.

Курносов сказал по-русски:

— Я так и знал.

Другой сказал по-французски:

— Ты Гаверин.

— Я Курносов, — ответил Курносов, тоже по-французски, но без уверенности, сам как будто не веря в это, как бык, получивший смертельный удар, продолжает еще мотать рогами.

— Ты не Курносов. Ты Арсений Егорович Гаверин, а я Лев Аронович Зельман, и мы в Воркуте лежали на одних нарах. Ты на нижних, я на верхних. Поэтому ты прозвал меня Обезьянкой.

Тихий голос Зельмана заставил всех замолчать. Книготорговец, склонившийся над последней стопкой книг, просунул свою бороду между каракулевым манто и джинсами. Какой-то журналист уже тянулся к телефону. Гаверин, снова по-русски, спросил:

— Это они тебя послали?

Зельман не ответил. Он смотрел на Гаверина с жалостью.

Какой-то белокурый студент, очень вежливый, с блокнотом в руке, спросил:

— Месье, признаете ли вы то, что утверждает месье?

— Я могу доказать это, у меня есть фотографии, — сказал Зельман, устремив на Гаверина нежный взгляд, словно стремясь заставить его избежать лжи и одновременно умоляя о прощении.

Гаверин опустил веки, выпустил из рук новенькую авторучку:

— Признаю.

Александр бросился в ближайшее кафе, чтобы позвонить.

Он лихорадочно набрал номер и сразу заговорил:

— Это Кобель. Я хочу...

Но монотонный, натренированный голос уже отвечал:

— По номеру, который вы просите, нет абонента. Справьтесь в телефонной книге...

Глава 6

ТИСКИ СЖИМАЮТСЯ

В этот день Питман в последний раз закрыл бледно-розовую папку, на которой тридцать лет назад написал своим прямым почерком (буквы были кругловатыми и едва касались друг друга), черными чернилами плохого качества, ставшими с годами фиолетовыми, одно только слово: Опричник.

Он закрыл папку и, прежде чем отдать ее своему секретарю Белошвейскому, мысленно пробежал этот длинный отрезок времени, усеянный столькими успехами. Казалось, только вчера он стоял на галерее, соединяющей две башни Нотр-Дам, а земля уже успела тридцать раз совершить путешествие вокруг солнца, сам он медленно, но уверенно приближается к старости и заканчивает то, что тогда начинал. Те же руки, та же папка. „Как я изменился! Неужели я так сильно

изменился? В общем, я мало изменился''. О, у него еще были впереди новые дела, новые приключения, до конца было еще далеко, а между тем свет его жизни в настоящем был так богат красками именно потому, что закат, едва заметный, уже начался. Он подумал о неточности понятия „вершины''. С одной стороны, мгновение, предшествующее свершению, является самым упоительным, а с другой — мгновение, следующее за свершением, которое позволяет считать его прошлым и вкусить наслаждение в полной мере.

Дело Опричника было одним из самых выгодных в карьере Питмана. Но он закрывал это досье без сожаления. Быть может, в глубине души он испытывал досаду из-за блестящей карьеры Александра Псаря, в то время как он, Питман, предсказывал ему колченогую удачу. Его диагноз был: не марксист, не лучезарный. Лучезарный? Псарь компенсировал свою холодность (естественную или приобретенную) такой целеустремленностью, такой способностью очаровывать людей — как говорится, пускать пыль в глаза, — что его зимний блеск позволил созреть большему количеству плодов, чем обильный, но поверхностный жар внешне более многообещающих агентов. Марксист? Псарь многократно доказал свою преданность, но все-таки оставался вне рамок определенной этики, может быть, эстетики.

С одной стороны, Питман жалел, что упрямство Абдулрахманова помешало вознаградить Псаря по заслугам, а наоборот, за необыкновенные услуги этого человека ему заплатили неблагодарностью и оставлением на произвол судьбы.

Еще с одной стороны, Питман жалел, что не может использовать Опричника в последний раз, а ему этого хотелось, в более классической, более нормальной для контрразведки операции по дезинформации, в операции „Твердый знак'', на которую он возлагал столько надежд и в которой Псарь был бы великолепен. Да, нужно было с грустью признать, что Абдулрахманов работал на старости лет все хуже и хуже, как это часто бывает со стареющими артистами и в особенности с поварами. Какая жалость — выбросить за борт

Опричника, который мог еще так пригодиться! Какая близорукость упорствовать на третьей фазе операции „Псков”, когда можно было плавно перейти к первой фазе операции „Твердый знак”!

Не потому, что третья фаза операции „Псков” не дала удовлетворения. Разоблачение Зельманом Гаверина позволило Воеводе начать кампанию, тема которой была доставлена ему в запечатанном конверте на прошлой неделе: „Диссиденты являются марионетками КГБ”. Многие уже давно распространяли подобные слухи, и в особенности сами диссиденты, конечно, утверждая, что все, кроме самого говорящего, — тайные агенты. Но теперь это было доказано на деле: тот, кого весь мир считал автором „Русской правды”, вторым Солженицыным, почти новым главнокомандующим диссидентов, оказался на самом деле (разоблаченным) пособником советского правительства. Опираясь на этот факт, было легко прийти к выводу, что большинство диссидентов, по крайней мере некоторые из них, — тоже пособники (еще неразоблаченные) того же правительства... Диссиденты уже потеряли часть своей бывшей популярности; фаза № 2 операции „Псков” перерядила их в фашистов; фаза № 3 докажет, что эти фашисты работают на коммунистов. И когда они будут полностью дискредитированы, можно надеяться на более или менее спокойные полдюжины лет. Ведь нельзя отрицать, что шум на весь мир, поднимаемый диссидентами в защиту какого-нибудь проказника или паразита, в высшей степени раздражал. Но сами они ничего не могут: если, как только они обратятся куда-нибудь, услышат „фашизм не пройдет!” или „коммунисты убийцы!”, — они вынуждены будут успокоиться.

Да, третья фаза будет функционировать сама по себе, пока так же сама по себе не растворится. Французский суд находится в безвыходном положении перед случаем Гаверина (единственное удостоверение личности указывало, что его фамилия Курносов), издательство „Люкс” побито противоречивыми волнами, как маленькая лодочка после прохода большого корабля. Псаря подозревают (правда, никто ни-

когда не узнает, насколько обоснованны эти подозрения) в том, что он оказал услугу, сознательно или неосознанно, советскому режиму. И скрытый французский шовинизм непременно сыграет свою роль: образованные журналисты вспомнят русским эмигрантам убийцу президента республики Горгулова и русский заем. Какой-нибудь молодой критик напишет роман, в котором Балландар будет представлен как коммунистический агент, он ведь в последнее время немного поправел. В итоге: решающий удар, нанесенный порою диссидентов; интеллектуальный террор, приходивший в упадок во Франции, укрепился; длившаяся двадцать пять лет операция по распространению влияния основательно раздрана (самое существенное, говорил Абдулрахманов своим ученикам, добиться, чтобы ваши операции стали биорасщепляемыми), и новый импульс дан „оркестру” Воеводы.

И все же... не было ли близорукостью смотреть так на вещи? Спасти большой политический ум — настоящего Михаила Курносова — от расстрела для того, чтобы „биорасщепить” Псаря, разогнать мух диссидентства и нагнать страху в ряды западной интеллигенции (что не представляет труда)?..

Питман вздохнул.

— Закрываем дело, товарищ генерал?

— Да, Белошвейский, отправьте дело в архив (в отличие от других управлений, стремящихся уничтожить следы своей деятельности, Управление А хранило все для разработки теорий). Отзовите связного офицера, но так, чтоб не оставить ему времени для прощания. Семья последует за ним через несколько дней. Дайте ему две недели отпуска в Сочи, на всем готовом. И узнайте, хочет ли он, чтобы семья приехала к нему туда, или предпочитает, чтобы она ждала его здесь: мы можем сказать его жене, что он на задании.

— Что делать с кооптированным подполковником Псарем? Вычеркнуть его из кадров? Повысить в звании? Дать отставку? И что делать с деньгами, находящимися на его счету в банке?

Питман заколебался. Абдулрахманов, которого он любил, был уже совсем плох...

— С решением немного подождем.

— Хорошо, товарищ генерал. Пост агента влияния, занимаемый Опричником, переходит к Хорунжему. Какие будут приказания? Должны ли мы поставить его во главе „оркестра” уже сейчас? Воспользуется ли он тем же прикрытием? Кто будет его связным?

— И тут мы подождем с решением. Хорунжий любит поспать: не надо его пока будить. Он займет свое место потихоньку. Время есть: он уже главный редактор французского „Огонька”... У нас во Франции работают шесть других „оркестров”... Не обязательно делать Хорунжего оперативным немедленно. Что касается агентства... нет. Мы на нем заработали в двадцать раз больше, чем вложили в него: оставим его Псарю, это будет нашим прощальным подарком. Если после скандала фазы № 3 он сумеет им воспользоваться, то вполне заслужит все, что заработает. Кстати, кто знает, он нам может еще пригодиться, и в таком случае...

Питман не переставал думать о лежащей в его сейфе папке с надписью „Твердый знак”.

— А его зарплата, товарищ генерал? Прекратить переводить ее на его счет? Я имею в виду, в валюте во Франции и здесь в рублях?

— Да, остановите все это до нового приказа, но деньги не трогайте, пусть идут проценты. Позже решим, что с ними делать.

— Будет выполнено, товарищ генерал.

Белошвейский направился к выходу. Это был симпатичный малокровный молодой человек с белобрысым коком. Он очень гордился своим английским костюмом, и с тех пор как начал носить его, избегал подчиняться строевому уставу. Это не смущало Питмана: он сам в нем никогда не был силен. Прежде чем выйти, Белошвейский изящно повернулся на каблуках:

— Еще одно дело, товарищ генерал. Что делать с Аллой Кузнецовой? Она вот уже три года требует перевода. Она работает в бюро, что гораздо ниже ее компетенции. И утверждает, что мы губим ее карьеру.

— Спасибо, что напомнили. Откуда она?

— Второе Главное Управление, Седьмой отдел, Второе отделение. Прошла стаж обработки франкоязычных туристов-интеллектуалов.

— Так...

Вся эта история с женщиной и ребенком всегда вызывала у Питмана отвращение. Абдулрахманов раз двадцать повторял ему, что человек полностью отдается разведывательной работе, всем своим „физическим, космическим и духовным телом“, но Питман не мог не думать, что плохо злоупотреблять семейными узами, к которым он сам был чрезвычайно привязан. У Псаря есть дочь: почему нужно лишать его дочери? По какому праву навязывать ему не его сына? Питман с облегчением на душе решил прекратить, по крайней мере в силу своих возможностей, этот аморальный обман, выдуманный Абдулрахмановым, этим великим человеком, который считает, что находится над Добром и Злом.

— Верните капитана Кузнецову в распоряжение ее Управления. Предложите повысить ее в звании. И распорядитесь подать мою машину — я еду в Волково.

Снег выпал, но, очевидно, пролежит недолго — рано еще запрягать сани. Святославу придется подождать до января. В январе старшая дочь Питмана, Светочка, выйдет замуж за лейтенанта МВД, мечтающего попасть в КГБ. Питман ему поможет, но без урона для своего престижа; занимающиеся вербовкой компетентные органы предпочитали парней, будущее которых зависело от их способностей, а не от тестя. Да и лейтенант этот... Питман не был в восторге от выбора дочери: была в этом Валерике приводящая в замешательство славянская грубость. Будет ли он достаточно ласковым с ней? Светочке нужна нежность, в которой ей никогда не отказывали родители. А Валерик думал только о спортивных кольцах и параллельных брусьях; войдя в гостиную, он не мог удержаться, чтобы не сделать стойку на подлокотнике кресла. Нужна ли акробатика для семейного счастья? Ка-

ким отцом будет этот Валерик? Можно опасаться, что он уничтожит в своих детях даже следы нежности и привьет им примитивный карьеризм, скрытый под налетом столь же примитивного большевизма. По принципу: дают — бери, бьют — беги.

Питман вздохнул. Он теперь часто вздыхал. Его отец, маленький портной, возможно, не был противником подобной морали, поэтому и внушил сыну только зачаточную сыновнюю привязанность к себе, и Яков, когда почувствовал необходимость в отце, достойном подражания и поклонения, потянулся к другому человеку. Маленький портной умер тихо и скромно десять лет назад, и теперь этот другой отец, гигант, умирал в свою очередь. Завершалась целая эпоха: дело, которое он только что закончил, и скоро эта изумительная жизнь тоже закончится, как огромная книга, прошитая яркими нитками, с позолоченным тиснением, толстыми листами, украшенными миниатюрами, закрывающаяся со вздохом своих шуршащих страниц и резким звуком захлопнувшейся обложки.

Дача пряталась за заснеженным холмом. Озеро покрывал, похожий на пластмассовую пластинку, тонкий слой льда. От него веяло холодом и сыростью.

Великий человек по старинке лежал на кожаном диване, среди своих книг, ковров, арабских пистолетов, разбрасывающих по стенам медный и серебряный блеск. Именно в такой обстановке жили и умирали богатые люди старой России. В комнате было темно, ставни закрыты, шторы задернуты, но в углу напротив двери... горела перед серябряной иконой лампадка. Питман невольно подумал, не сошел ли его приемный отец с ума.

На диване с трудом можно было разглядеть груду одеял, подушек, мехов. Из этого мавзолея послышался еще сильный голос, но словно покрытый трещинами, переходящий время от времени в невольный шепот. Произношение осталось прежним: старательным, музыкальным, аристократичным.

— А! Явился, твое превосходительство!

Услышав этот голос, такой ясный, но вместе с тем отмеченный приближающейся смертью, Питман подумал о раскаленных поленьях, сгоревших внутри, но сохранивших еще свою форму до мельчайших подробностей — рисунок волокон, прожилок, сучки и трещины на коре, — и вдруг, стоит лишь до них дотронуться кочергой, рассыпающихся золой.

— Как вы, Мохаммед Мохаммедович?

Умиравший не ответил. Между ними не могло быть обмана. Они долго молчали, каждый удовлетворенный теплотой от присутствия другого, наполняясь последний раз объединяющей их дружбой.

— Ну-с-с, — сказал наконец Абдулрахманов своим академическим или сенаторским тоном, — как поживает мой питомец?

Глаза Питмана, уже привыкшие к темноте, различили вмятину в подушку огромную голову. Станный ночной колпак еще больше удлинял конусообразный череп. Абдулрахманов полулежал, положив поверх одеяла руки, которые время от времени мяли его, словно живя отдельной от тела жизнью. Говорят, это признак близкой смерти.

— Мохаммед Мохаммедович, я всегда хотел вас спросить... Не решался... Это же вы... Вы до сих пор не хотите, чтобы он вернулся? Так будет лучше, чище. Да, и кроме того, он же нам служил верой и правдой.

Рев родился в потрохах Абдулрахманова, с трудом прошел все его большое тело и замер у него на губах. Абдулрахманов погрузился в странный сон, в нечто между сознанием и беспамятством, так глубоко в себя, что было невозможно его настичь.

Питман, зажав руки меж колен, прождал час. Затем он вышел в столовую, где Иннокентий накрывал на стол: один прибор. В углу уже стояла раскладушка: Иннокентий считал, что Питман будет ночевать на даче. Это не устраивало Питмана, который предпочел бы провести вечер в кругу своей семьи и вернуться на дачу утром.

— Послушай, — начал он.

Немой повернул к нему голову, и на его примитивной, морщинистой физиономии с носом-пяточком и всклокоченными волосами Питман увидел два блестящих следа, вроде тех, которые оставляет ползущая по стене улитка. Он добавил:

— Я останусь.

Он позвонил домой. Эличка выразила неудовольствие.

— Эличка, без него мы были бы никто. Да и жить ему осталось всего несколько часов.

Он вернулся к умирающему. Глаза Абдулрахманова блеснули в темноте.

— Ликера, — приказал он.

Он принял Питмана за Иннокентия, но когда Питман, неся зеленую бутылку и рюмку, приблизился, узнал его и улыбнулся:

— Это ты. Поставь это сюда, сын.

Он жевал пустоту, и руки его продолжали мять одеяло.

— Открой шторы.

Питман раздвинул тяжелые шторы в разводах. Сквозь двойное окно показалось черно-синее небо, усыпанное хрусталиками звезд, и земля, застывшая под хрусталиками снега. Абдулрахманов смотрел с жадностью, словно хотел наполнить глаза этим последним видением. Он пробормотал две фразы, смысла которых Питман не понял.

— Раб того, через кого приходит милосердие, не должен быть милосердным. Сын того, через кого приходит милосердие, не должен быть сострадательным.

Казалось, он колеблется: какой вариант выбрать?

Маленькая суеверная лампадка по-прежнему горела перед серебряной дощечкой, которая тоже была красной.

Абдулрахманов сказал:

— Ты заметил, человек почти всегда умирает на противоположном рождению конце года. Я родился в июне. И я всегда знал, что умру поздней осенью.

Питман наклонился и поцеловал ему руку, маленькую руку этого огромного тела.

— Иди. Поешь. Иннокентий наверняка сварил тебе щи. Мне кажется, я чувствую запах. Но я, должно быть, ошибаюсь, мой нюх уже давно бастует.

Были щи, копченая селедка, водка. Питман ел этот мужицкий ужин, сдерживая рыдания, мешавшие глотать. Он сказал себе: „Я слишком чувствительный. Ведь это нормально, что восьмидесятилетний человек умирает”.

Он вытер рот и вернулся к умирающему другу. Абдулрахманов дремал. Время от времени светотени менялись: это Иннокентий вырастал на пороге полуоткрытой двери.

— Ну-с-с, — внезапно сказал умирающий сильным голосом, не поднимая век, похожих на огромные положенные на глаза ракушки, — остается лишь ждать. Как во время самых деликатных наших операций. Ждать и ни в коем случае не вмешиваться. Ждать, пока подмерзнет, прихватит. Это то, что делает там, наверху, Великий Стратег: он ждет.

— Кто? — спросил Питман, испугавшись, что правильно понял смысл фразы.

— Тот, кто проводит самую великую из всех операций. Ты не так, сын мой, видишь акт творения? Между тем, это именно так. А мы, ты и я, мы только проводники. Мы можем считать себя источниками влияния, руководителями „оркестров”... Но мы, Яков Моисеевич, пластмассовый мой, только посредники. Ты знаешь, что говорится в Книге Книг: ангелы восстали. Была война. Человечество было создано для проведения операции по дезинформации шайтана... Змея, ты ведь знаешь, змея была скрывающим свое обличие Глаголом. Запретное — это была дезинформация. И все — чтобы заставить людей заинтересоваться добром и злом. Иначе война против нациста Люцифера была бы проиграна. А люди... лучший способ заставить их сделать что-нибудь... Это ты, Кентий? Ты мужик мужиком, Кентий, но хорошо заботился о твоём генерале. Твой генерал благодарит тебя... Ты слышишь? Твой генерал благодарит тебя... Как у Сунь Цзы. Ты должен, сын мой, когда-нибудь прочесть Сунь Цзы. Он рассказывает, что однажды начальник Хциянг вел войну против двух мятежников, имен которых

я уже не помню. Он их немного побил и захватил трофеи. Его солдаты, боясь потерять захваченное, отказались на следующий день идти в бой. Ты знаешь, что сделал Хциянг? Он послал своих солдат на охоту, а сам поджег собственный лагерь. Солдаты возвращаются: ни лагеря, ни добычи. Они заплакали. Сунь Цзы настаивает на том, что они плакали. Тогда начальник сказал им: „То, что вы потеряли, ничто по сравнению с тем, что еще осталось у мятежников”. Сунь Цзы говорит, что после таких слов солдаты сами попросили, чтобы их послали в бой. Хциянг приказал накормить лошадей, а также чтобы солдаты поужинали в постели. Почему в постели, не знаю. Во всяком случае на следующее утро мятежники были разбиты. Великий Стратег действует именно таким образом.

Питман, опасаясь, что его учитель вот-вот себя опозорит, но все же желая выяснить все до конца, спросил:

— Мохаммед Мохаммедович, что вы хотите сказать? Что вы верите в Бога?

Ответа не последовало: Абдулрахманов снова ушел из этого мира.

Питман посмотрел на маленькую красную лампадку. Что это значит? Через какое-то время Абдулрахманов пришел в себя. Он заговорил нормальным голосом, будто даже не был болен:

— Знаешь, я доволен своей жизнью. Быть может, я немного отклонил Историю в нужную сторону, дал один-два раза под зад шайтану и не раз заставлял его работать на себя.

Питман знал правильное направление Истории, но знал ли это еще его хозяин?

— Мохаммед Мохаммедович, что вы имеете в виду под „в нужную сторону”?

Он дрожал. Если Абдулрахманов ответит: в сторону Маркса и других отцов Революции, значит он еще в этом мире; если нет — то лежащее перед Питманом огромное тело только видимость. Абдулрахманов ему не ответил, вернее, Питман решил, что хозяин сменил тему разговора.

— Ты читал Достоевского?

— Немного.

Чтение Достоевского в этих кругах не поощрялось.

— Знаешь, он сделал мой портрет.

От охватившей его боли Питман закрыл глаза. Ему бы так хотелось, чтобы его благодетель умер в здравом уме, как настоящий большевик. Врачи, возможно, могли бы что-нибудь сделать, но Абдулрахманов заявил, что встретит их пистолетными выстрелами: „Я слишком стар, чтобы выздороветь, а врач не захочет умереть вместо меня, так что...”

— Мохаммед Мохаммедович, кто это шайтан, о котором вы говорили?

— Это Великий Возмутитель. Когда я был ребенком, вокруг меня было много верблюдов. Я катался на них. Были верблюды и дервиши. И ковры прекраснее тела женщины.

— Вы узбек, Мохаммед Мохаммедович. Поэтому были верблюды.

— Нет, Яков Моисеевич, латуневый мой, я узбек не больше, чем ты еврей. Мы русские, Яков Моисеевич, золотой мой. Все остальное, ты это знаешь так же, как и я, сплошная дезинформация. Мы настоящие русские, единственные настоящие русские, с нашими темными рожами, ты со своими семитскими предками, а я Бог знает, с какими... Ты приглядывался ко мне? Другие, все эти великороссы, держали нас стремя. Погляди на их историю: они начали с того, что просили варягов властвовать над ними. Затем мы их разгромили. А затем поляки. Потом они сами пошли искать себе властителей в Германии... Россия никогда не могла сама управлять собой, сын мой, никогда не имела постоянной столицы. Ее единственный настоящий хозяин после революции — грузин. Другие — любители. Так и должно быть. Российская империя! Тут и добавить нечего. Это единственная современная колониальная империя. А знаешь почему? Да, конечно, нет моря между метрополией и колониями, но главным образом потому, что русские всегда практиковали интеграцию. Дайте нам ваших женщин, и мы наплодим вам русских. Ты помнишь книгу, которую опубликовал Оприч-

ник? Только статистика? В ней доказывалось, что империя вот-вот развалится. Это утверждение успокаивает Запад. Это было хорошо, Опричник молодец. При этом на Западе забыли одну вещь: что узбеки более русские, чем русские. Настоящие русские подышают. Они столько пьют, что становятся импотентами. Их женщины возмущаются. Ты наблюдал за демографическими скачками? У тебя есть семья: ты и есть русский человек будущего. А я сколько наплодил незаконнорожденных? Сколько великорусок, малороссок, белорусок, черкешенок, лапландок, евреек родили от моего семени маленьких узбеков?.. Я не знаю их и знать не хочу, я работал для общего дела. Ты слышал о Третьем Риме? Это миф, правда не считая того, что все римские императоры, кроме самых первых, не были римлянами. А императорами будущей России, Яков Моисеевич, алмазный мой, будем ты и я. Август и Цезарь... Самым великим нашим царем был мой родственник: Борис. Правильно говорят англичане: поскреби русского, найдешь татарина. И еврея тоже. И балтийца. И поляка. И так будет продолжаться, пока смесь не станет однородной, а когда станет...

Абдулрахманов вновь впал в забытие, во время которого Питман нашел в себе моральные силы примириться с замутнением рассудка этого великого человека. „Не только его ум я любил, я любил всего человека, и буду продолжать любить его, пока в нем теплится хоть искорка жизни”. Он сел на кровать, чтобы видеть большое лицо, которое на белой подушке казалось почти черным. Дыхание учащалось, замедлялось, словно задумывалось, вновь ускорялось, как мотор, выбившийся из своего ритма. „До утра не дотянет”, подумал Питман.

Когда Абдулрахманов открыл глаза, посмотрел с удивлением вокруг себя, затем, устремив взгляд на красноватую икону, приоткрыл губы для улыбки, Питман нашел в себе наконец силы задать ему очень тихо и нежно давно созревший вопрос. Он чувствовал, что выдержит любой самый абсурдный, самый позорный ответ:

— Для чего вам это?

— А, вот что тебя гложет. Я догадывался. Так вот, прежде всего сегодня праздник: я подумал, что он будет рад.

— Чей праздник?

— Матвея. И кроме того, когда я был маленьким, она уже висела, и была старая няня со щипчиками, которая... ты знаешь: фители.

— Но, Мохаммед Мохаммедович, вы же мусульманского происхождения. У мусульман нет икон.

— Происхождение, происхождение. Что ты цепляешься за происхождение. По происхождению — да. Но меня крестили. И моего отца, может быть, тоже. Меня зовут Матвеем Матвеевичем.

— Но вы же мне сказали...

— Дезинформация, Яков Моисеевич, сахарный мой, дезинформация. Тогда было выгоднее не быть христианином.

— Вы хотите сказать, что вы... христианин?

— Сын мой, есть только одна религия.

Абдулрахманов вздохнул, и вздох всколыхнул все его тело.

— Заметь, этот Матвей не евангелист: он наш, Печерский, русский. Эх, сын мой, как бы я еще мог любить Россию, как бы я ею еще полакомился.

Его взгляд, как заблудившийся, чего-то искал.

— Хотите еще ликера, товарищ генерал?

Питман не смел уже называть его ни Матвеем Матвеевичем, ни Мохаммедом Мохаммедовичем.

— Боюсь, сынок, что я уже свое отпил на этой земле. Мое тело уже ничего не сможет принять.

Взгляд его вновь нашел икону, зацепился за нее и, казалось, успокоился.

Абдулрахманов снова ушел на время из мира, но на этот раз с открытыми глазами. Когда он пришел в себя, Питман спросил, не страдает ли он.

— Я уже не знаю.

Он быстро катился с горы, не пытаясь удержаться за выступы, но время от времени он словно снова поднимался, как шар, в который накачали теплый воздух. В одно из та-

ких мгновений, похожих на опьянение, он и открыл Питману тайну Шапок-Невидимок.

— Ты должен начинать вникать в то, что мы делаем. Тебе дают возможность поглядывать на это?

— Да, я, кажется, догадываюсь...

— Вот-вот. Ты помнишь, что произошло с Буковским? Мы решили обменять его на какого-то чилийца, чтобы показать миру, что мы не злее и не опаснее Чили. Леонид Ильич был против. Тогда мы внушили ему, что Буковский сумасшедший. Когда он убедился, что это не так, было уже поздно. Он ни о чем не подозревал. Он разозлился, но решил, что мы были плохо проинформированы. Им понадобится еще несколько лет, чтоб понять... Да, если их устраивает их идеология, не нужно было создавать наше Управление. Пока мы были маленьким отделом, выполняющим определенные задания... Теперь у нас есть планы на двадцать, тридцать лет вперед... Нет смысла использовать профессиональных лжецов, если не дать им монополию на правду. Мы, Шапки-Невидимки, являемся как бы заводом, выпускающим правду. Для внешнего и внутреннего пользования. Мы достигли такого технического уровня... все понятия исходят от нас. Они могут расстрелять нас, но ничего не смогут сделать с уже созданными нами понятиями. Мы создали план действий на весь XXI век, сын мой. Все подчинено ему. Даже без нас они будут вынуждены следовать по намеченному нами пути, потому что никогда не узнают, какова конечная ложь. Им не выбраться из нашего лабиринта. А в это время, Яков Моисеевич, мой... мой... (фантазия изменила ему)... А в это время мы поведем человечество к счастью, т. е. к Добру: все это, это... одно и то же. Что же касается русских, они держали нам стремя. Это хорошо. Но теперь... русские... их больше не нужно.

Питман не знал, в какой мере его хозяин стал жертвой мании величия, охватывающей некоторых людей при смерти, а в какой мере говорил правду. Он сам уже познал тайну: те, у кого в руках ключ дезинформации, должны иметь и ключ информации, а это ключ от всего мира.

— Мне холодно, — внезапно сказал Абдулрахманов.

— Кентий! Еще одно одеяло.

— Нет, — сказал Абдулрахманов. — Ковер.

Питман выбрал самый красивый на его вкус: квадратный, ультрамариновый с оттенком цвета засохшей крови, с узорами в виде ромбов. Он накрыл ковром тело хозяина, как флагом, оставив только лицо. Ковер был таким старым и жестким, что, казалось, не мог удержать малейшее тепло, но, возможно, умирающему и не нужно было физическое тепло. Под этой величественной вещью он казался не человеком, а надгробным памятником.

— Так лучше?

Абдулрахманов не ответил. Глаза его стали стеклянными.

Иннокентий страдальчески застонал, а Питман не знал, что делать, как себя вести: эта смерть внезапно показалась ему ужасающей нелепостью. У него появилось ощущение, что его благодетель, умирая здесь, перед ними, сделал что-то неприличное.

Это длилось одно мгновение. Затем он упал на колени возле кровати и заплакал. Рядом Иннокентий, также на коленях, обретя автоматизм детства, широко крестился, нажимая пальцами на лоб, плечи и грудь с такой силой, будто мог этой силой выразить всю свою любовь и свою веру.

Генерал-майор Абдулрахманов Мохаммед Мохаммедович, дважды Герой Советского Союза, дважды кавалер Ордена Ленина, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени, Ордена Отечественной войны и обладатель значка Почетного Чекиста, заслужил торжественные похороны. Не ведая о значении человека, которого хоронят, присутствовали, движимые угодливостью, члены дипкорпуса. Над гробом были произнесены многочисленные речи, и генерал-лейтенант Питман, в котором многие признавали любимого ученика и так сказать духовного наследника усопшего, полчаса говорил о нерушимой верности делу умершего, верности, в которой этот примерный солдат черпал вдохновение, помогавшее

ему выполнять сверхчеловеческие задания. Что это были за задания, Питман не уточнил. Что же касается верности, Питман не знал толком, что и думать. Да, Абдулрахманов служил родине и партии лучше кого бы то ни было. Но разве на своем смертном одре не дал он понять, что родина и партия были для него лишь средствами? Средствами для достижения чего? Добра и счастья. Разве не партия является высшим судьей, что есть добро и что есть счастье?..

После похорон были, разумеется, поминки, по окончании которых многие, объятые грустью, так сильно качались, что персональные водители вынуждены были отвезти их домой, хотя до конца рабочего дня было еще далеко. Не Питман: он пил мало и не любил крепких напитков. Он вернулся в особняк Ростопчиных и заперся в своем кабинете. Когда умирает великий человек, его сподвижники спешат прежде всего ознакомиться с завещанием: именно это и произошло после смерти товарища Абдулрахманова.

Скрестив руки за спиной, Питман прошелся по своим коврам, которые были лишь подделкой под старину, так как Эличка не любила тратить деньги на роскошь. Наклоняясь вправо, резко поворачивая влево, Питман чувствовал какую-то игривость, несмотря на свою грусть. Потеря была невозполнимой, поэтому бессмысленно было цепляться за страдания. Исчезновение Абдулрахманова нанесло большой ущерб Управлению и всему КГБ снизу доверху; в ближайшее время начнется перестановка кадров, и, черт возьми, почему бы Питману не воспользоваться ею? Разве Абдулрахманов был бы против?

После четверти часа подобного хождения, то со слезами на глазах, то с тенью улыбки на губах, Питман остановился у сейфа, открыл его и вынул картонную коробку, на которой было выведено: „Строго секретно”. Он положил коробку на стол, сел и развязал удерживающую крышку голубую ленту. Внутри была бледнозеленая папка, на которой было не заглавие, не какое-либо слово даже, а — темнозеленый твердый знак. Питман получил удовольствие, дав дорогой его сердцу операции название в виде непроизносимой буквы

русского алфавита. Трудно было найти нечто более неошутимое; неошутимое же есть хлеб насущный всех спецслужб. Кроме того, твердый знак хорошо характеризовал дух Управления: эта буква, часто используемая в дореволюционном русском правописании, также указывала, что большевизм был и останется твердым и непреклонным. Никому ведь не пришло в голову назвать какую-нибудь операцию „Мягкий знак”.

Питман открыл папку и, радуясь, как всякий автор, читающий собственную прозу, устремил свои маленькие очки на первую страницу.

Со времени поражения, которое можно считать окончательным, того, что мы называем расплывчатым, но удобным термином фашизм и что гораздо лучше охарактеризовать термином национальный социализм (*Nazional Sozialismus*), две силы представлены в мире. Одна энергичная, конструктивная, агрессивная, вдохновленная великой верой в себя: марксизм-ленинизм. Другая апатичная, консервативная, пацифистская, лишенная всякого идеала и вдохновения: капитализм. Если предположить, что никакие изменения не нарушат это равновесие, вернее неравновесие, сил, можно уже сегодня быть уверенным в победе марксизма-ленинизма. Либо он победит естественно, сам по себе, либо социализм не национальный сыграет для него роль Троянского коня.

Между тем, не стоит впадать в чрезмерный оптимизм. Если взять для примера западную страну, Францию, то там в настоящее время, наоборот, наблюдается некое интеллектуальное кипение, которое в конце концов может способствовать появлению третьего движения идей, поэтому невозможно предсказать шансы на успех. Появившись в какой-либо определенной нации, подобное движение, учитывая современные способы коммуникаций, может очень быстро охватить весь Запад, и тогда нам придется вступить в открытый конфликт вместо того, чтобы ограничиться ожиданием, когда противник полностью разложится, а следовательно, добыча созреет.

Нужно трезво смотреть на вещи: имеется не только возможность возникновения такого движения, но почти нереально, учитывая законы диалектики, чтобы явления такого рода не воспротивились осуществлению наших проектов. Будет ли такое движение основано на реакционных или прогрессивных ценностях, на религиозных или

гуманитарных, возникнет ли оно в народных низах или будет создано элитой, сможет ли оно серьезно помешать нам, последуют ли за ним нации, уже живущие в коммунистических режимах, — мы этого не знаем, но мы должны быть готовы к подобным явлениям. С этой точки зрения тенденции, наблюдаемые в настоящее время в Великобритании, ФРГ, Австралии, Швеции и в особенности в США, ни в коей мере не противоречат той, которая как будто победила на французских выборах: нужно только помнить, что французы обладают особенностью оставлять в оппозиции фракцию, к которой испытывают наибольшую симпатию, потому что любая власть противоречит их темпераменту.

Если капитализм в его самой простой и чистой форме сам не обретет второго дыхания, мы можем считать возможным создание Третьей мировой партии, которая теоретически будет одинаково враждебна как к буржуазному капитализму, так и к пролетарскому коммунизму. Но в соответствии с тем, что она может свободно формироваться только в капиталистических странах, можно предвидеть, что эта партия будет особенно чувствительна к коммунистической угрозе — единственной силе, способной ее уничтожить. Обладая большей жизнеспособностью, чем капитализм, Третья партия сможет, по крайней мере в течение какого-то времени, замедлить наше шествие к светлому будущему.

Насильственное уничтожение этой группы представит некоторую трудность и не будет полностью соответствовать методам, которыми до сих пор пользовались органы безопасности советского государства. Зато наше внедрение и захват этой партии изнутри ни в коей мере не поставят нашу страну в трудное положение и превратят это направленное против нас оружие в один из наших инструментов. Следовательно, из вышеизложенного можно заключить, что, если такая партия не сформируется в ближайшее время, было бы целесообразно предоставить Западу необходимые катализаторы, чтобы собрать вокруг нужного нам базиса элементы, способные действовать в этом направлении. Другими словами, мы заинтересованы в том, чтобы доставить на Запад наш магнит, который притянет опилки новых идей и их носителей. Совершенно очевидно, что настоящее Управление лучше кого бы то ни было способно вести эту операцию.

Следует вспомнить, что операции такого рода, хотя и меньшего масштаба, были уже проведены с успехом: подпольная организация „Трест” позволила нам не только захватить значительную часть белой эмиграции, но также финансировать определенное количество наших

собственных операций за счет США, которые считали, что финансируют контрреволюционную группу, а партия Младороссов, руководимая одним из наших агентов проникновения, дала нам возможность расколоть эмиграцию на враждебные поколения, а также поглотить и стерилизовать все таланты, которые могли быть прельщены фашизмом.

Теперь международное положение значительно изменилось. В частности, русская эмиграция, полностью изолированная в 20-е и 30-е годы, играет в настоящее время определенную роль в мире: ее представители, независимо от их компетентности, принимаются главами государств, их заявления публикуются в прессе, они выступают по телевидению, влияют на общественное мнение. Именно это мы и хотим использовать в операции „Твердый знак”: проникновение диссидентов в западный мир для нашего собственного внедрения в его структуры. Если мы будем к этому стремиться, эта Третья партия, создание которой кажется нам неизбежным, могла бы сгруппироваться вокруг диссидентов, так как они в принципе пользуются симпатией либерального общественного мнения.

Когда попросили совета относительно решения участи А. И. Солженицына, Управление рекомендовало простую высылку, надеясь, что Солженицына облепит крайне правое месиво, состоящее не столько из диссидентов, сколько из западных представителей: ведь концентрация противника на ограниченном пространстве облегчает ведение наиболее эффективной стрельбы, психологической так же, как и физической (см. *Vademecum* агента влияния, с. 47: „Каждый нанесенный удар должен передвинуть красный шар и белый шар противника так, чтобы можно было снова сыграть карамболом”). Эта операция не дала ожидаемых результатов потому, что субъект сразу вызвал недовольство со стороны жителей Запада, даже ранее к нему благорасположенных. Все дело в том, что мы не сочли нужным вовремя приставить к нему нашего агента, и субъект оказался во власти своей собственной непримиримости.

Напротив, на территории Союза, когда субъекты находятся под нашим контролем, операциям такого рода сопутствует успех, благодаря сотрудничеству Второго главного управления (см. ссылки в приложении).

Другими словами, тайна успешного проведения такой операции как „Твердый знак” зиждется на нужной обработке катализатора агентом влияния, разумеется, если, как в уже упоминавшемся деле с младороссами, операцию непосредственно не осуществляет агент

влияния под наблюдением связного офицера. В данном случае я не рекомендую этот упрощенный вариант по следующим причинам:

- катализатор вызовет подозрение противной стороны и его легенда, если таковая имеется, подвергнется самой тщательной проверке; малейший промах сделает операцию невозможной;

- дезинформация и влияние могут быть осуществлены, как мы знаем, только посредством усилительных реле, простодушие и отдаленность от источника которых делает правдоподобными фальшивые данные.

Следовательно, нам кажется важным, чтобы выбранный катализатор был своей собственной жертвой, но чтобы он находился под наблюдением опытного агента влияния...

Питман остановился. Покойный Абдулрахманов всегда требовал, чтобы отчеты писались добросовестно:

- Вы не постовой милиционер, не держиморда какой-то! Вы политический мыслитель, и не забывайте, что стиль — это форма мысли.

Пока все шло хорошо, но теперь нужно было вставить параграф, возможно, целый раздел, план которого сразу представился расторопному уму Питмана:

- 1) Следует отметить:

- а) что нужного субъекта найти трудно;

- б) что в настоящее время именно Управление располагает двумя кандидатами, способными создать намеченную расстановку сил.

- 2) Изложить:

- а) карьеру Опричника и показать, почему он идеально подходит для операции;

- б) качества человека, совершившего покушение на Брежнева, которому мы дали псевдоним Дьяк. Показать, почему он будет самым подходящим катализатором.

- 3) Подвести итоги:

- а) средств, израсходованных на содержание Дьяка и на оплату оказанных им услуг, причем последняя сумма не пропорциональна первой;

- б) деятельности Опричника, уточнив, что нет причин отказываться от услуг опытного агента, находящегося в расцвете

сил. Можно, может быть, добавить: „Опричник просит своего отзыва, но просьба не вызвана ни усталостью, ни риском разоблачения. Просто агент хочет, чтобы мы выполнили данное ему тридцать лет назад обещание, которое нет причин не выполнить и которое мы только отсрочим. Его желание уехать на родину-мать, конечно, законно, но не срочно”.

В течение тридцати лет Александра направляли, поддерживали, контролировали, охраняли. И внезапно он оказался одиноким, как сирота, в этом огромном мире. Он не умел плавать, а его выбросили за борт.

Первая интуитивная догадка была правильной: „Меня бросили на произвол судьбы”. Но Александр быстро взял себя в руки, то есть научился плавать и врать самому себе. Нет, они его не бросили; произошли какие-то события, которые легко себе представить: французская полиция что-то пронюхала, и в целях общей безопасности он должен прервать контакт с ними на какое-то время. Он вспомнил, это было предусмотрено инструкцией, которой он обучался во время своего стажа в Бруклине: если прерваны нормальные контакты, нужно перейти к особым, если блокированы и особые, ждать — центр возобновит связь сам. Александр упрекнул себя за вспыхнувшую панику. Он был офицером и должен уметь владеть собой. Не было ничего удивительного в том, что самозванство Гаверина сделало его подозрительным, ведь это он, Псарь, поручился за истинность фальшивого Курносова. В Управлении наверняка ожидали, что контрразведка немедленно пустит в ход все средства: подслушивание, слежку, провокации, и именно в интересах Александра были приняты меры предосторожности, чтобы эти средства не достигли цели.

Успокоившись, Александр задал себе вопрос: послан ли Зельман Управлением? ГБ не могла не знать, что Гаверин не Курносов. Можно ли представить, что была допущена неосторожность и Зельмана освободили по ошибке? Или наоборот: Гаверин был представлен как Курносов только

для того, чтобы его разоблачили? В пользу второй гипотезы два аргумента: эффективность Управления и тот факт, что телефон был отрезан до, а не после публичного выступления.

Лишний раз Александр почувствовал раздражение, что его не предупредили. Если предположить, что буря была вызвана искусственно, то ему могли бы дать инструкции, раз именно он должен бороться с ней. Он попытался успокоить себя: может быть, к нему уже относились как к номенклатурному чину, а не как к агенту, и поэтому дали свободу действий на благо Управления.

Александра вызвали во французское Управление по охране территории; ему нанес визит инспектор из контрразведки. Никто не подозревал в Псаре агента, но спрашивается, в какой мере он сам был обманут. От него требовали информации о подпольных каналах, ведущих в Рим. Вежливо, но твердо он отказывался отвечать на вопросы: „Я литературный агент, я занимаюсь своей работой, я был введен в заблуждение предъявленным мне удостоверением личности и политически не имею к этому делу никакого отношения...”

Гаверин было исчез, но потом все-таки явился в агентство: „Я хочу с вами поговорить”. „Русская правда” стала бестселлером и просьбы об интервью сыпались градом. Гаверин никому не отказывал и два раза не повторял одну и ту же историю. То он был настоящим Курносовым, на умственные способности которого повлияло пребывание в спецпсихбольнице; то он был послан специально с заданием саботировать книгу; то он был руководителем подпольной антикоммунистической организации, в которую входили даже члены Верховного совета; то он был полковником, дезертировавшим из ЦРУ... По-настоящему его волновали две вещи: вышлют ли его и отберут ли у него деньги.

Псарь помнил приказ, которого никто не отменял: „Ты сделаешь все, что захочет Курносов”.

— Что вы сказали в полиции? Вас спрашивали, кто вы такой, после того как вы признались, что вы не Курносов?

— Я ответил, что ничего не знаю. Из-за уколов серы у меня испортилась память.

— Ну, а правда?

Безумие промелькнуло в страдальческих глазах Гаверина:

— Правда, это — холодное укутывание.

Александр пожал плечами. Он не знал, какую игру ведет этот человек, и это не особенно заботило его: он был достаточно искушенным в своей работе, чтобы не знать того, что ему не положено знать.

— Все зависит от Зельмана.

Зельман сказал всем правду так просто и ясно, что ему никто не поверил. Жанна Буйон писала в „Голосе”: „История, повторяемая столько раз по первому требованию, лишённая вариантов, наверняка выученная наизусть до мельчайших деталей, может быть только легендой. Необходимо разоблачить Зельмана”. Но разоблачать было нечего: „Мне пообещали выездные визы для меня и моей жены, если я разоблачу самозванца”. Зельману было неловко: „Я не доносчик. Я думал, что нет ничего плохого в том, чтобы говорить правду. Вы ведь не знаете, она ждала меня все годы заключения. Другая бы забыла и вышла себе замуж”. Этот жалобный голос мог бы тронуть сердца, но он не понравился. Никто не хотел верить в подобную наивность. Были опубликованы две привезенные Зельманом лагерные фотографии, на которых он находился рядом с Гавериным. На одной они были в группе двадцати эзков, на другой они стояли у барака — намекнули, что это лабораторная подделка.

Все повисло в воздухе. Гаверин написал для „Объектива” статью „Как я промахнулся по Брежневу”, в которой было четыре фактологических ошибки. Псарь провел три дня во Франкфурте и продал иностранные права на „Русскую правду” девяти странам. Деньги шли большие. Гаверин требовал своей доли: в конце концов у него был паспорт на имя Курносова. Александр, ожидая новых указаний, выжидал.

В этот период он сдружился с Маргаритой. Она не знала всей глубины его тревоги, но, читая статьи, где его называли гнусным фашистом, одураченным КГБ, доисторическим

белогвардейцем или сомнительным либералом, она проявляла вдвойне свою преданность.

Это она отвечала на письма адвокатов, подававших в суд за клевету на Гаверина-Курносова, которые приходили на имя Псаря с просьбой передать кому следует. Это она встречалась с журналистами всех мастей, приходящими брать интервью у ее шефа и задающими провокационные вопросы с целью вывести его из себя. Она понимала, что для диссидентов месье Псарь отвечал за Гаверина, так как представлял в их глазах французский литературный мир. В глазах французов он также отвечал за Гаверина, потому что сам был русского происхождения. В особенности же она чувствовала, что мирок, в котором властвовал ее шеф, исчез: неизвестно к кому нужно было обращаться в „Эмпарсьял” или в „Объектив”; новый литературный директор издательства „Люкс”, месье Бароне, постепенно обрывал все связи, существовавшие с агентством; публикация серии „Белая Книга” была приостановлена по совершенно понятной причине — Бароне искал для этой серии менее компрометирующего директора.

Противостоя этим испытаниям, Маргарита продолжала быть внимательной, предупредительной, улыбалась только в ответ на улыбку, оставалась в бюро после работы, не упоминая о сверхурочных. Александр в конце концов заметил, что у нее очень синие глаза и очень черные волосы. Но он видел, временами очень ярко, только те серые глаза...

В детстве он часто слышал: „Мы вернемся к Рождеству. В худшем случае вернемся к Пасхе”. Сейчас приближалось Рождество. Где Алла? Где Дмитрий? Без Ивана Ивановича не было возможности что-либо узнать о них.

— Месье, вас просит мадам Бойс.

— Жессика?

— Как поживаете, либерал-фашист, обманутый КГБ? Скажите, мы можем встретиться вечером?

— Охотно.

— Будет водка.

Он подумал, что следовало бы сменить пароль. Он был уверен, что его телефонные разговоры подслушиваются. Но был счастлив, очень счастлив: блудный отец вновь хотел прижать его к своей груди!

Жессика открыла дверь:

— Вы, кажется, стали знаменитым? Мои друзья советуют не выпускать вас. Я скажу им, что я вас никогда не...

Человек лет сорока, смуглый, с треугольной головой, в темном костюме, сидел на полосатом диване. Выглядывающие из рукавов белые манжеты подчеркивали смуглость кожи, жилет под расстегнутым пиджаком — удобу.

— Кто это? — спросил Александр.

— Новенький.

— А, Иван пятый. А что сделали из последнего? Чучело?

— Меня зовут Петр, — сказал посетитель по-русски.

У него были естественно бегающие глаза, но он явно натренировал их быть такими же неподвижными, как хорошо пришитые пуговицы на рубашке.

Александр нашел, что он напоминает маленькую змею и сразу же ощутил к нему живейшую антипатию. Может быть, и потому, что этот человек заменил доброго Ивана Ивановича, и потому, что не встал, чтобы поздороваться, а говорил тем нравоучительным, типично советским, тоном, который противен представителям первой эмиграции вне зависимости от их политических воззрений.

— Для меня вы будет Иваном, — сказал Александр, — но не рассчитывайте стать Грозным — вы опоздали на один номер.

Оба посмотрели друг на друга с нескрываемой неприязнью. Жессика весело наблюдала за ними. Петр положил ногу на ногу и указал на кресло. Терпеливо, как ребенку, шалости которого приходится терпеть, но который рано или поздно своего дождетсЯ, сказал:

— Да садитесь же.

ГБ — это большая семья. Поднимаясь по лестнице, Александр надеялся, что через несколько секунд встретится со

своими, найдет самого себя, получит своего рода компенсацию за ту враждебность, в которой жил последние недели. А встретил враждебность более плотную и совсем не заслуженную.

— Ваше звание?

— Я подполковник, но не кооптированный, а настоящий.

На мгновение Жессика подумала, что Александр поднимет его за галстук и выбросит в окно. Но Александр только иронически улыбнулся. Подойдя к столу в другом конце комнаты, он твердой рукой налил себе рюмку водки (графин был запотевшим, как он всегда требовал), залпом выпил ее и закусил хрустящим малосольным огурцом.

Петр смотрел на него с жалостью, как человек, держащий в руках все козыри. Он ждал, пока Псарь повернется к нему, но видя, что тот продолжает грызть огурец и тянет руку к графину, сказал:

— Псарь, у меня для вас плохие новости.

Он вытащил из внутреннего кармана конверт. Александру пришлось пройти через всю гостиную, чтобы взять его. Жессика, которая осталась в комнате, прислонившись к стене, наблюдала за ними с сигаретой в руках. Она подумала, что Александра пора обуздать.

Александр отошел с письмом к торшеру:

„Дорогой Александр Дмитриевич, не знаю, как сообщить вам о случившемся несчастье. Будьте мужественны и перенесите это испытание, как подобает мужчине, офицеру и большевику. Вы знаете, что наши дороги небезопасны. Пьяный водитель — и погасли две ни в чем не повинных человеческих жизни. Ваши жена и сын погибли на месте, без мучений — пусть это будет вам утешением. Вы еще молоды, и ничего не потеряно для человека с вашим здоровьем, энергией и верой. Я не сомневаюсь, что после вашего возвращения на родину, вы сможете создать настоящую русскую, настоящую советскую семью.

Теперь возвращение не должно вам казаться столь срочным; работа будет лучшим лекарством для человека ваше-

го склада характера. И я думаю, что пойду навстречу вашим пожеланиям, поручив вам выполнение важной для Родины и партии крупной операции.

С сердечным приветом
Ваш Яков Питман”.

— Верните! — скомандовал Петр, вытянув руку.

Но Александр уже ничего не слышал, ничего не видел. „Дмитрий! Сыночек! Алла! Аллочка!” Он глотнул воздух. Еще глоток. Еще. Что-то в нем должно было взорваться. Не взорвалось. Он вновь увидел серые глаза Аллы и игривость, с которой она прыгала в постель. Сам не зная почему, он пытался шевелить челюстью снизу вверх. Ему было больно. Он не знал, сколько времени длилась эта боль. „Мой маленький мальчик...” Он с трудом произнес:

— А водитель?

Питман предвидел этот вопрос, и Петр ответил:

— Тоже погиб. Сгорел в грузовике. Верните письмо.

Подозрение пронзило разбитое сердце Александра: „А может, это большевики убили их?” Но зачем им нужно было убивать женщину и ребенка, которых они сами ему дали?

Рассеянно Александр сделал несколько шагов, вернул письмо Петру, начал бродить по гостиной. Он размахивал руками. Пытался обрести нормальный ритм дыхания. Он делал глотательные движения, хотя глотать было нечего. Жессика смотрела на него с любопытством, испугом и не без удовольствия. Она не знала, что было в этом письме, но слышала: „Тоже погиб”. Этого было достаточно. Был, значит, в этом мире кто-то, кого этот льдышка Псарь любил?

На лице Петра появилось выражение скуки. Александр подошел к окну, прижался лбом к стеклу, посмотрел на улицу, но ничего не увидел. Потом посмотрел на часы, не заметив, что смотрит на них.

— Придите в себя, в конце концов, — сказал Петр.

Александр посмотрел на него непонимающим взглядом.

— Я должен дать вам некоторые указания. Наши пароли останутся прежними, за исключением того, что вы не будете

больше говорить о водке: вам нужно увидеть Жессику или она хочет с вами встретиться — этого достаточно. Номер телефона для экстренных случаев изменился.

Он дал новый номер. Александр машинально полез за записной книжкой, но вовремя вспомнил, что такого рода номера нужно заучивать наизусть.

— Повторите, пожалуйста.

Петр, не скрывая нетерпения, повторил.

— Если я вам буду нужен, спросите Петра. Но избегайте любых контактов без необходимости.

— Я уже тридцать лет на этой работе, — глухо сказал Александр.

Ему хотелось плакать потому, что этот человек грубо обращался с ним, а не потому, что он потерял жену и сына. Это горе было выше слез.

— В настоящий момент ваша задача состоит в том, чтобы ваш оркестр потребовал...

— У меня уже нет оркестра. Вы его скомпрометировали.

— ...освобождения Михаила Курносова, настоящего автора „Русской правды”.

— У меня нет больше оркестра.

— Соберите что можете. Другие оркестры начнут требовать того же. Это согласованная операция. Но нужно, чтобы ваш голос был услышан первым. Это лучший способ оправдать себя в глазах французского общественного мнения. Как только вы начнете, вас поддержат. Во время нашей следующей встречи я дам вам следующие инструкции.

Петр поднялся: маленький сильный, ловкий.

„Гадюка!”, подумал Александр.

Тот протянул ему руку. Подавленный горем, Александр пожал ее.

Петр с оттенком жалости в голосе сказал:

— Сделайте что-нибудь, чтобы прийти в себя. Примите политико-культурные меры.

И подбородком указал на обильный стол и Жессику:

— У вас тут есть все, что требуется.

Он холодно посмотрел на Жессику.

— Ты смотри у меня, — сказал он по-русски и матюгнулся.

Он направился мягкими шагами к двери. Его черный костюм, пиджак с разрезами по бокам, был явно скроен не на востоке.

Александрѹ пришла в голову мысль последовать совету Петра. Он бы так и сделал, если бы Петр не вызвал у него такого отвращения: это была ненависть с первого взгляда. Он ограничился тем, что выпил две рюмки водки, потому что хотел пить, как будто водкой можно утолить жажду. Затем, не взглянув на Жессику, вышел.

Он бродил по улицам. Было холодно, влажность прилипла к коже, проникала сквозь нее, добиралась до костей. В одной еще открытой кондитерской он увидел детей и проникся злобой к их родителям.

Наибольшее страдание вызывала мысль о прерванном роде, о неиспользованной скопившейся нежности... и по какому праву отняли у него это единственное существо, неповторимое, которое он так ни разу и не увидел? „О, если бы я его хоть раз увидел, было бы легче”. Он, конечно, преувеличивал. Слова „по какому праву?” все время приходили в голову. Это было высшей несправедливостью по отношению к нему. Ему было сорок девять лет, он мог иметь еще сыновей, но уже никогда не будет у него этого, Дмитрия. Обычно он не думал на каком-нибудь языке, а отвлеченными понятиями. Но в этот вечер его мысли цеплялись друг за друга с такой бессвязностью, что он ощутил необходимость воплотить их в слова, и говорил себе по-французски, но подчиняя фразы русской грамматике: „Если у меня никогда не будет сыновей, зачем я жил?”

С меньшей силой он переживал смерть Аллы, терзаемый мыслью, что мгновения близости, доверия, ямка, которая появлялась на левой щеке (или на правой?) Аллы, когда она улыбалась ему, омрачение ее серых глаз, когда она теряла контроль над собой, — были невозместимы. Сколько он получил ее улыбок? Столько-то. И ни одной больше. И других уже никогда не будет.

Это страдание делало его более уязвимым для другой боли, внешней, которая становилась от этого еще острее: он был утомлен испытаниями последних дней, наглостью того или иного журналиста, которого он вежливо провожал до двери и которого ему хотелось (и он бы мог) выбросить в окно; ощущением беспомощности перед обрушивающейся на него клеветой, унижением от мысли, что она ранит его, в то время как клевета всегда была в какой-то мере его профессией. Эти обиды терзали его, как воспаленные мозоли на ногах, но вместе с тем не могли отвлечь от его скорби, как то могли бы сделать какие-нибудь физические муки. Он чувствовал, что становится злобным, а между тем всегда считал злобу слабостью.

Так он пересек весь Париж и опомнился только у лепных дверей квартиры Балландара. Дверь открыл молодой человек маленького роста, черноволосый, в белой рубашке с расстегнутым воротником.

— Жозе нет дома.

— Это смотря для кого, — сказал, надвигаясь, Александр.

Он был бы рад, если б молодой человек преградил ему путь, — он сбросил бы его с лестницы головой вперед. Но юнец убежал, размахивая руками, как бабочка крыльями.

— Жозе, Жозе, там тебя какой-то турок требует.

Александр со своими волнистыми светлокаштановыми волосами, подернутыми пеленой карими глазами и бледнорозовой кожей ничем не был похож на турка. Но он создавал впечатление, особенно в данный момент, такой грубой силы, что восклицание юноши было почти оправданным.

Балландар снимал со стены одну из картин современной живописи, которую было легче всего продать. Когда он увидел Александра, выражение его лица резко изменилось.

Александр улыбнулся:

— Вы, кажется, не очень рады меня видеть.

Балландар медленно, подбирая слова, нарочито не глядя на молодого человека, сказал:

— Статья, которую я написал из дружбы к вам, Александр Псарь, стоила мне карьеры. Достаточно, как вы думаете?

— Жозе Балландар, я столь дорожу вашими дружескими чувствами ко мне, что попрошу вас оказать мне еще одну услугу.

Руки, державшие картину, задрожали. Александр отметил это с удовлетворением.

— Не нужно так волноваться: вы уроните эту мазню. Вы пишете для какого-то никчемного листка, раскупаемого бесплодной левой интеллигенцией, который называется „Бульдозером”, не так ли?

— Эта уважаемая революционная газета носит название „Лемех”.

Молодой человек от ужаса беспомощно открыл рот. Александр хотел было грубо пошутить, но воздержался.

— Так вот, я хочу сделать подарок „Лемеху”. Если вы умеете маневрировать, вы извлечете из ситуации кое-какие преимущества, которые, быть может, даже поставят вас снова на пьедестал. Вы завтра же начнете кампанию за освобождение настоящего Курносова. Пресса вас поддержит, я вам обещаю.

Теперь была очередь Балландара улыбнуться:

— Вы мне обещаете? Вы? Вы не отдаете себе отчета, что если я валяюсь в канаве, то вы — в дерьме?

— Выбор в ваших руках, дорогой Балландар. Либо вы становитесь инициатором этой кампании и получаете лавры...

Александр вспомнил, что, шантажируя в первый раз Балландара, он чувствовал угрызения совести. Теперь же все это было позади, и сегодня он был настроен на „пленных не брать, раненых добивать”.

— ...либо мы поведаем кое-что общественному мнению. Вот хотя бы начнем с вашего молодого друга.

Он полез во внутренний карман.

Балландар устало сказал:

— Когда-нибудь я найду средство от вас избавиться.

Александр оскорбительно, но фальшиво хохотнул и, круто повернувшись, вышел.

На следующий день „Лемех” опубликовал в черной рамке такой текст:

„Над кем смеемся?

Издание книги, название которой нужно иметь смелость произнести, „Русская правда” и о ценности которой лучшие умы не могут прийти к единому мнению, давно перешагнуло рамки чисто литературного явления. (Фраза была не очень удачной, но автор хотел показать, что он взволнован.)

СССР послал нам человека, который заявил, что он автор книги, затем — что он самозванец, чтобы отказаться в конце концов и от этого своего признания... Непонятно, чего хочет этот пират. Может быть, войны?

Мы не хотим этому верить.

Единственный способ все выяснить, единственная возможность восстановить правду, не русскую, а просто правду, чистую правду, — это освободить настоящего автора этой противоречивой книги, а также, если речь не идет об одном и том же человеке, Михаила Курносова, совершившего попытку убить Брежнева.

Я бросаю вызов, даю еще один шанс руководителям Советского Союза. Господа или товарищи, как хотите, докажите раз и навсегда свое чистосердечие!”

Решившись написать это, Балландар спрятался в своей квартире. Он ожидал, что его уволят из „Лемеха”. Но не прошли и сутки, как предсказания Александра начали осуществляться. Сам великий Этьен Депансье заявил своим просвещенным и либеральным сопрано: „Из глубины своего уединения наш друг Балландар взволновал всех, восхищающихся его талантом. Подает нам пример тревоги, которую мы все должны разделить, требования, которое мы все должны сформулировать громко и ясно. Это уж слишком! Кремль не должен больше играть с французским общественным мнением, как кошка с мышкой. Пусть освободят и представят нам настоящего Курносова!”

Париж способен пристраститься к чему угодно, от матрешки до гильотины, но его увлечения не настолько стихийны, как кажется. Семи оркестров, исполняющих одновременно одну и ту же музыку, вполне достаточно, чтобы ув-

лечь за собой тысячи плохих скрипок и вполне искренних вольноок. Через восемь дней весь Париж вопил: „Освободите Курносова!”

Так как один из оркестров действовал в центральной администрации, усилия прессы стали почти сразу приносить плоды. Некоторые официально официозные слухи утверждали, что правительство считает возможным обратиться к руководителям некой страны с просьбой дать сведения об одном человеке, имя которого было у всех на устах, причем просьба о сведениях может перейти в просьбу об освобождении...

Общественное мнение (то, что называют общественным мнением, будто действительно народ оболванен до такой степени, что у него на пятьдесят миллионов человек одно мнение) бросилось на штурм. Обычно люди, до хрипоты орущие об освобождении кого-либо без риска для самих себя, предпочитают нападать на греческих полковников и чилийских генералов, не имеющих никакой возможности прийти и свести с ними счеты; с коммунистами дело другое, достаточно пустяка, чтобы полилась кровь. Но на этот раз всем казалось, что можно безнаказанно подергать за хвост тигра, а не кошку — это куда более забавно. Прежде всего, с тех пор как коммунисты имели своих министров в правительстве, каждый уважающий себя француз инстинктивно сторонился крайне левых. И разве сам Балландар не подал пример? А это означает, что особого риска нет и быть не может. Поэтому можно смело устраивать демонстрации перед советским посольством и резиденцией советского посла.

Это стало частью самой веселой парижской моды. Каждая организация отдала приказ, и карнавал начался. Только плохая погода нынешней поздней осени приходила на помощь Советскому Союзу, но когда вы убежденный гуманист, можно рискнуть заработать насморк. Кроме того, почему не совместить приятное с полезным: нужно же прогулять собаку, покататься на велосипеде, проделать утреннюю или вечернюю пробежку, а заодно поратовать за свободу?

У советского консульства на улице Гренель все осталось в рамках приличий: остановилось несколько человек, прогуливающих своих собак, так что свое мнение выражали скорее собаки, чем их хозяева; сбежав от самых скучных лекций, молодые искатели приключений прошли перед закрытыми воротами с криками: „Верните нам Курсносова!” Но это было ерундой по сравнению с тем, что творилось на другом конце Парижа перед железобетонным дворцом-крепостью, который привилегия экстерриториальности превратила в частицу пролетарского рая. Тут, перед посольством, была перманентная демонстрация. Вожди свободы приказали: „Ходите вокруг по направлению часовой стрелки!” Вот и крутились. Почтенные господа в шляпах делились военными воспоминаниями или поверяли друг другу свои проказы. Прохаживались школьники. Девочки в темно-синей форме приводили своих грифонов, а элегантные дамы — афганских гончих. Утверждали, что некоторые посылали своих португальских горничных, включая пребывание у посольства в число рабочих часов. Появлялись члены модных спортивных клубов в цветных спортивных трусах, проходя спортивным шагом с хронометрами в руках. Были настойчивые велосипедисты и ленивцы на мопедах. У посольства назначались встречи: „Вы придете повертеться сегодня вечером?” Не нужно было даже уточнять куда. Газеты и журналы помещали фотографии демонстраций, статистические данные. Появились анекдоты, вроде: „Крутился я вчера, рядом тип, пузо, сигара, по виду капиталист. Спрашиваю, кто вы. А он отвечает: я здесь инкогнито. А, ну и что это дает? А ничего, отвечает, инкогнито или нет, а на зарплату посла не разгонишься. Посла чего? — спрашиваю. Да, понимаете, я посол СССР, но если б я не жил поблизости, никогда б не пришел. Как, говорю я, вы посол СССР... а что же вы здесь делаете? А он отвечает, — я не сноб, это полезно для здоровья, и вообще я люблю делать как коллектив. Ладно, говорю ему, крутитесь, но вот вам мой совет: если будете вращаться слева направо, это может не понравиться вашим хозяевам. Крутитесь уж, по крайней мере, справа налево. Спасибо, отвечает,

я об этом не подумал... Так что, если увидите человека, который крутится в противоположном с остальными направлении, обращайтесь к нему: Ваше Превосходительство”.

Большинство дервишей, как прозвала демонстрантов газета „Разбушевавшийся индюк”, сочли, что вполне достаточно одного их присутствия, однако некоторые принесли с собой своеобразные транспаранты, торчащие над их велосипедами: „Свободу Курносову!”, „Нет — советской клевете!”, „Освободите Анонимного Узника!”, „Снимите с него или с себя маску!”, „Обменяем Марше на Курносова!”, „Отпустите Курносова, лечите Брежнева!”, „Долой психушки!”, „Вы хуже царя!”. Почти все эти лозунги были переведены на русский язык услужливыми славистами, и люди, не видевшие в жизни кириллицы, старались воспроизвести их на листах бумаги, на картоне, на кусках простыни, фанеры и даже, как это делали в былые времена французские националисты, на старых кальсонах, гордо развевающихся на ручках метел.

Полиция отогнала демонстрантов от посольства, но не могли же власти закрыть весь этот округ Парижа, и демонстранты продолжали свое шествие в некотором отдалении от посольства на виду у пресыщенных подобными зрелищами республиканских гвардейцев. Некоторые страдающие бессонницей жители округа приходили к двум часам ночи пройти с демонстрантами. Один знаменитый карикатурист изобразил двух денди в домашних халатах, прогуливающих перед посольством. Один говорил другому: „Первый раз в жизни я чувствую себя революционером”. Движение докатилось до Национальной ассамблеи, и один из депутатов присоединился к демонстрантам. Для этого торжественного случая он перекинул через плечо свою официальную трехцветную перевязь. И сам того не ведая, создал некую моду. Среди демонстрантов появились мэры со своими трехцветными широкими поясами, за которыми поспешили награжденные всех сортов, цеплявшие знаки отличия на грудь. Начался конкурс наградений, отраженный в газетах. Женщины стали приходить в самых фантастических шляпах,

найденных на чердаках и вытасканных из сундуков. О, Господи, как было забавно выступать против СССР, да еще при французском социалистическом режиме! Мода пошла дальше: освобождения Курносова требовали, восседая в автомобилях всевозможных эпох. Но пальму первенства получила одна бельгийская принцесса, обладающая вот уже два года скакуном, которого она назвала Железной Маской. Когда она появилась на нем у посольства в сопровождении целой кавалькады, неся плакат, предлагающий обмен: „Мою — за вашу”, по Парижу прокатилась волна истомы. Леваки и принцесса — борцы за одного дело! Были мгновения постыда необычного братания: хиппи стояли плечом к плечу с мальтийскими рыцарями. Уникальный снобизм содрогал все социальные слои Парижа (подобного столица не видела уже давно).

Александр Псарь, открыватель „Русской правды”, оказался не коронованным и не отвергнутым королем этого карнавала. Его фотографировали целующим руку бельгийской принцессе, у него брали интервью газеты и журналы, его обвиняло государственное радио и обсуждало независимое. Он участвовал в одной телепередаче, посвященной Курносову, в которой принимал участие и Балландар: оба продемонстрировали большие симпатии друг к другу. „Что вы думаете о Гаверине? Кто настоящая Железная Маска? Какую цель преследует в этом деле Советский Союз? Не считаете ли вы, что СССР ставит себя в смешное положение?” На подобные вопросы Псарь отвечал предположениями, чаще всего противоречивыми. Считать, например, смехотворной величайшую в мире военную мощь казалось ему бездонной глупостью.

Не повидав Петра, Псарь с яростью бросился в бой. Беседуя тут, ораторствуя там, притягивая к себе скрытые симпатии одних и громогласное одобрение других, напоминая профессионалам о принципиальности, а специалистам — об общественном мнении, он демонстрировал своим хозяевам, что даже лишенный по их милости большей части своего оркестра, он способен еще на многое. Активность отупляла

его, и он меньше страдал. Маргарита, естественно, работала не меньше, а возможно, и больше его и не скрывала радости, видя, как агентство, опозоренное было, приобретало все больший и больший авторитет. Рукописи загромождали стол, телефон не переставал звонить, о деловых встречах договаривались за несколько недель вперед.

— Вы не переутомились, Маргарита? Вы не хотите, чтобы я взял временно кого-нибудь вам в помощь?

— Нет, месье, прошу вас. Разве что если вы считаете, что я стала хуже работать.

Голубые глаза под черной прядью засверкали.

Александр остерегался официальных повесток, но присланная Министерством иностранных дел состояла из таких лестных выражений и принявший его чиновник был так любезен, что Александр успокоился. Из кабинета в стиле Людовика XVI он видел, как ранний вечер упал на Сену и навстречу ему поднялся сиреневый туман.

— Дорогой месье, — сказал месье де Мальмезон, складывая пальцы обеих рук наподобие собора, — у меня для вас новости, и не такие уж плохие.

Его волосы были седыми, а приподнятые брови остались черными.

— Я знаю, что у вас нет никаких юридических полномочий официально представлять месье Курносова, но ваш талант и ваше, осмелюсь сказать, мужество (простите за такое громкое слово) вывели вас на передовую этого дела, а мы, со своей стороны, можем играть лишь роль посредника, которая, кстати, как сказал мне министр, относится к нашим традициям, и я бы сказал, — вернее, он сказал даже, — что эта роль — наше призвание.

Советы говорят нам приблизительно следующее: „Вы утверждаете, что, бросив вам под ноги (тут месье де Мальмезон лукаво улыбнулся) фальшивого диссидента, фальшивого убийцу, фальшивого автора фальшивой „Русской правды“, мы поставили в трудное положение французские интеллектуальные круги. Все это ваши домыслы. Мы не обязаны давать вам никаких объяснений, но мы все-таки вам их да-

дим. Мы просто дали выездную визу некоему Курносову, который, по неизвестным нам причинам, заявил, что он автор произведения, которое нам тоже неизвестно. Ваши издатели опубликовали его по своей собственной инициативе, и Бог, возможно, знает, но Маркс не знает, почему заявили, что это произведение принадлежит перу какого-то „Анонимного Узника“, названного „Железной Маской“. Затем ваша пресса заявила, что „Узник“, „Маска“ и автор „Правды“ и есть бедный умалишенный, стрелявший десять лет назад в первого секретаря ЦК КПСС. В том, что фамилия бедного сумасшедшего тоже Курносов, нет ничего удивительного: эта фамилия в курносой России весьма распространена. Разумеется, мы в этой путанице совершенно ни при чем. Теперь к делу. В настоящее время идет кампания так называемого „протеста“, неприятная для нас, но унижительная для вас, так как вы оказываетесь неспособными защитить нас, ваших гостей, от этих кривляющихся под нашими окнами клоунов (я, разумеется, говорю от имени советских представителей: мы понимаем друг друга). Так вот, мы люди добрые и поможем вам выйти из этого трудного положения. Эти истерики хотят нашего безумца? Они его получают. Разумеется, мы не можем гарантировать, что именно этот сумасшедший написал произведение, о котором идет речь: если он его написал, отослал на Запад и опубликовал его — то это без нашего ведома. Но мы можем уверить вас, что Курносов, которого мы вам пошлем, и есть тот самый, который вздумал стрелять в месье Брежнева. Лишний раз скажут, что мы отступили под давлением мирового общественного мнения: пусть говорят! В конце концов настоящее демократическое правительство должно прислушиваться к мнению народов. Взамен мы просим вас только об одном: не посылать нам обратно того, другого Курносова, который одно время заявлял, что он Гаверин, и который, наверное, тоже сумасшедший. Что с ним делать? Если мы его посадим, вы вполне способны потребовать его через две недели назад, утверждая, что он и есть настоящий Курносов. Нет, ради Бога, оставьте себе обоих, даже если вам придется посадить их в одну палату для буйных”.

Вот, дорогой месье, что говорят нам советские. Я не буду уверять вас, что наше правительство относится к этому делу с чрезмерным энтузиазмом. Один Курносов — куда ни шло, но два — это слишком. Что делать? Общественное мнение действительно возбуждено. Оно встало на дыбы. Кстати, ничего не указывает на то, что наши советские коллеги действительно не поддались ему. Короче, наш премьер-министр не счел возможным отказаться от предложения. Между прочим, чем меньше ответственных работников будет замешано в этом деле, тем лучше. Поэтому мой министр и я подумали, что вы бы могли стать во главе чего-то вроде... комитета по приему, который, будучи сформирован из представителей искусства, позволит подчеркнуть частный, а не официальный характер переговоров.

Да, вот еще: советское правительство как будто обижено поведением Курносова-Гаверина, который (по доставленным правительству сведениям), опасаясь покушения, меняет каждую ночь гостиницу и строит себе крепость с электронной системой безопасности... Было бы желательно, чтобы Курносов № 2 вел себя иначе. Нас уверили — разумеется, не официально, но как будто вполне достоверно, во всяком случае так считает мой министр, — что советская сторона ничего против него предпринимать не будет... так что, если бы он перестал играть в прятки...

Александр вернулся к себе. Звонила мадам Бойс, она будет ждать его в „Английском баре” в 19.30.

Придя вовремя, она передала сообщение Петра: „Завтра в 14.30 в Лувре у египетской гробницы. В случае помех, позлезавтра на полчаса раньше у Оперы”. Александр сдержал гримасу. У него были связные, любившие встречаться в многолюдных местах, другие чувствовали себя в безопасности только в пустыне в полночь, новый Иван обладал чувством оттенков: он хотел людей, но минимально...

— Петр напоминает вам, — сказала Жессика, — о необходимых мерах предосторожности.

Александр сменил два раза метро, прошелся по какому-то магазину, вышел через запасный ход и вошел во двор Лувра. Петр уже прохаживался там, руки за спиной, в красивом черном с синевой костюме. Александр, вспомнив о конспирации, вошел в здание и замер перед гробницей. Голос за спиной произнес:

- Если не ошибаюсь, Псарь?
- Вы не ошибаетесь, Иван.
- Петр.
- Я думал, Иван.
- Я Петр.
- В последний раз вы были Иваном.

Петр пожал плечами. Они стали ходить, делая вид, что любуются вазами и саркофагами.

- Какие меры предосторожности вы приняли?
- Достаточные.
- Когда вы вышли из дому?
- Из конторы? В 12.30. Я успел пообедать.
- Когда я говорю „меры предосторожности“, то имею в виду „меры предосторожности“. Я вышел в 7 утра и с тех пор, не переставая, менял средства передвижения.
- Так вынуждены поступать бездарные люди.
- Псарь, не вынуждайте меня применять дисциплинарные меры наказания.

— Иван, я советую вам внимательно ознакомиться с моим делом. Я был еще совсем мальчиком, когда мне прислали такого же придиричивого типа, как вы. Постарайтесь узнать, где он сегодня и к кому придирается.

Они остановились перед статуей писаря со странным навязчивым взором.

- У меня для вас указания, — сказал терпеливо Петр.
- Да, во всех цивилизациях были бюрократы, — ответил Александр, делая вид, что сравнивает застывший взгляд писаря со взглядом Петра.
- Я констатирую, что вы переняли у французов некоторую легкомысленность тона, от которой категорически советую избавиться. Я уже докладывал товарищу Питману

о наших разногласиях, предлагая ему назначить для выполнения этой важной операции, за которую я отвечаю, другого агента влияния. Он ответил, что вы будете продолжать это задание, но добавил: „Закрутите гайки”. Вам ясно, Псарь?

— Ясенько.

— Операция состоит в том (Петр выучил текст наизусть, чтобы не носить при себе компрометирующих бумаг), чтобы создать во Франции, а потом распространить на весь мир Международную партию правого направления, авторитарную, корпоративную, способную предложить третий путь тем, кто не принимает ни коммунистическую, ни капиталистическую системы. Франция была выбрана как страна с разносторонними традициями; кроме того, выбор более мощной страны, например, США, мог бы оказать отрицательное влияние на некоторые категории людей. Катализатором этой партии будет диссидент, ясно доказавший свою враждебность к коммунизму, но деятельность которого показывает также и его враждебность к капитализму. Речь идет о Михаиле Леонтьевиче Курносове, родившемся в Костроме 12 июля 1926 года, совершившем покушение на Брежнева и являющемся автором произведения, носящего название „Русская правда”.

Они закончили осмотр египетских скульптур, миновали ассирийские барельефы и по длинному коридору дошли до греческих залов. Там шел ремонт: боги, раздавленные нашествием лестниц и лесов, создавали впечатление какого-то бесповоротного хаоса. Александр подумал: „Все эти прекрасные тела, эта цивилизация... зачем? У меня нет сына, и государство, которому я служил тридцать лет, хочет создать фашистскую партию. Варвары победили. Варвары всегда побеждают”. Царивший над этой оживотворенной каменной массой бледный свет вызывал беспокойство.

— Курносов заражен идеей создать такую партию, о которой я говорил. Конечно, он не подозревает и не должен подозревать, что его партией будет руководить Комитет госбезопасности. В этих условиях, поскольку нет возможности прикрепить к нему обычного связного, он будет по-

ставлен в зависимость от агента влияния Александра Дмитриевича Псаря.

Они подошли к парадной лестнице. Агент влияния Александр Дмитриевич Псарь остановился перед статуей богини победы Ники Самофракийской: „Победить — нет ничего прекрасней. Но кто побеждает кого? Победа при Марафоне, победа при Саламине... хорошо. А дальше? Рим или Греция? Что все это значит?” В то же время он чувствовал, что в нем просыпается огромное честолюбие: стать серым кардиналом такой партии и в один прекрасный день преподнести ее на блюдечке своим хозяевам... Напрасно он думал, что его недооценивают. Управление выделило его для выполнения самой ловкой, какую только можно вообразить, операции. Он вспомнил галерею Химер, двух людей, словно повисших на снастях этого гигантского собора-корабля. Затем он подумал о романе Жюль Верна, в котором предатель прячет возле компаса кусок железа и тем самым отклоняет корабль в сторону, меняя не просто курс корабля, а местонахождение севера...

Петр продолжал своим невыразительным голосом:

— Ваша первая цель — добиться полного и безоговорочного доверия Курносова. Нужно поставить его в такое положение, чтобы он и шагу не мог ступить без Псаря. Курносов как будто хочет распространить свою доктрину, но нужно ему внушить, что подать ее следует в более легком и простом для западного восприятия виде, а не так, как она изложена в его книге. Необходимо также направлять его в выборе людей для руководящего комитета партии по следующему списку.

Петр перечислил тридцать семь фамилий мужчин и женщин разных национальностей, довольно известных интеллектуалов, желающих стать еще более известными. Все они принадлежали к правому умеренному течению, которое и нужно было скомпрометировать. Если удастся их привлечь, это будет, без сомнения, чрезвычайно удачный ход.

Внезапно все это показалось Александру чрезмерно сложным и утомительным. Да, он был польщен, да, он был в со-

стоянии справиться с этим заданием, но все это в какой-то мере его больше не интересовало. Для него все это было определенным образом уже позади. Им владело только одно желание, которое, в сущности, и было стержнем и пружиной всей его жизни: „Я не вернусь уже. Ты, Алек, вернешься вместо меня”. И палец, который тянулся к его щеке и не мог дотянуться... Сегодня Александр имел не больше сил, чем этот палец.

— Я устал, — сказал он, — а инструкция говорит, что нельзя выводить из терпения уставшего агента. Я хочу, как вы знаете, вернуться. Если, попав в ловушку Питмана, я согласился, то только потому, что уже хотел вернуться, и вернуться с гордо поднятой головой.

Он с трудом стоял на ногах, с трудом выговаривал слова. Он повернул обратно, вместо того, чтобы подняться по лестнице.

— Предположим, я соглашусь разложить вашу новую партию. Это займет лет десять. А иметь детей в пятьдесят девять лет не рекомендуется. Дети не любят беспомощных родителей.

Петр посмотрел на него иронически:

— Я, Псарь, продолжаю думать, что Питман ошибается на ваш счет. Он воображает, что вы гордость его знаменитого Управления. На деле вы даже не способны потерять бабу, которую видели всего неделю, и соплика, которого вообще не видели, без того, чтобы не возненавидеть весь мир. Это говорит о том, что ваши нервы никуда не годятся или что у вас недопустимый при нашей работе избыток воображения. Мне говорили, что вы были немного литератором. Очевидно, вы еще не избавились от этого окончательно.

Александр, задетый этим молокососом, сдержал приступ гнева.

— Возможно, вы правы. Да, это вполне возможно.

— Мне не нужно быть правым или неправым. Мне нужно передать вам указания: я их передаю. Мне нужно закрутить гайки: я закручиваю.

— Вы принимаете ваши желания за действительность, Иванчик. Как же, интересно, вы будете закручивать гайки? У вас даже нет болгарского зонтика.

— Все ясно, Псарь: вы сходите с рельсов. Если хотите попросить отпуск, я вам помогу. Но если вы отказываетесь выполнять мои приказы... Нет, нет, мы не насыплем яду в ваш кофе. Но вы должны понять: нашему народу не нужны недисциплинированные фантазеры.

Они задержались у Венеры Милосской.

— Красивая бабенка, — прокомментировал Петр.

В зале было несколько туристов, три реакционных монашеники, два хихикающих лицеиста.

— Я предпочитаю Афродиту с Эросом, вон ту... Значит, если я откажусь, то мне не остается ничего другого, как тоже гнить на русском кладбище в Сент-Женевьев?

Петр пожал узкими под модным пиджаком плечами:

— Не все ли равно, каких червей кормить?

— Представьте себе, мне не все равно. Я предпочитаю наследственных червей. Я не хочу, чтобы меня сожрали червячки, откормленные на мелкобуржуазных французах.

— Вам виднее.

Петр удалялся — червяк, ползущий между богами.

Александр догнал его:

— Сколько времени это займет?

— Пять лет. Три, если найдем, кем вас заменить.

Александр закрыл глаза: „Я уже не вернусь, Алек. Ты вернешься вместо меня”.

— Я выполню задание, Иван.

— Петр.

— Я выполню задание, Петр.

Глава 7

ТВЕРДЫЙ ЗНАК

Ноздреватая ледяная корка покрывала пустынный аэродром Руаси, когда приземлился спецсамолет. Гаверин был отправлен во Францию наспех. Курносов, которого Франция требовала во всеуслышание, наоборот, был официально передан представителями министерства внутренних дел в зеленой форме с малиновыми петлицами.

Члены комитета приема стояли, поживаясь, по ту сторону стеклянной перегородки и наблюдали, как приближался большими шагами маленького роста человек. У него был короткий, пирамидальной формы нос, торчащий из-под очков в металлической оправе, одет он был в новую дубленку, изо рта валил пар.

— Ну, кто скажет приветственное слово? — спросил Монтиньи.

Он был счастливым безработным: решив учить немецкий язык, он по закону получал 110% причитающейся ему заработной платы трудящегося.

Остальных членов комитета приема, под председательством Александра Псаря, можно было разделить на две категории: любителей, среди которых были албанский пьяница-драматург, подпольный болгарский епископ, еврейско-американская графиня, — все, разумеется, более парижане, чем сами парижане; профессионалов: директор издательства „Люкс” Бароне, Фурвере, находящийся временно в отставке, но, вероятно, ненадолго, Балландар, все еще продолжающий быть критиком в „Лемехе” и время от времени сотрудничающий с „Объективом”, мадам Шустревич, желающая узнать, лучше ли эмигрантов целуют советские дамы руку, и уже названный Монтињи. Александр не хотел, чтобы Курносова встречали слишком известные люди или люди, принадлежащие к другому оркестру, а также люди, способные связать пару слов по-русски. Он решил, по мере возможности, ограничить контакт Курносова с внешним миром, и предусмотрительное Управление помогло ему в этом. Гаверин, который так и остался для всех „фальшивым Курносовым”, изучал под тайным наблюдением французский язык. Настоящий же Курносов получил все нужные ему книги и учебники, но ему не дали ни одного устного урока, так что он говорил по-французски с таким акцентом, что ни один француз понять его не мог. Это должно было на какое-то время отгородить его от людей так же надежно, как решетки ленинградской спецпсихбольницы.

— Михаил Леонтьевич?

— Да, это я. А вы кто?

— Псарь, Александр Дмитриевич.

— Псарь Ивана Грозного?

— Именно.

— Значит, первая эмиграция?

— Мой отец был офицером в Белой армии.

— Давайте познакомимся: у меня нет предрассудков.

Вокруг толпились журналисты. Сверкали фотовспышки.

Курносов остановился в центре круга, величественный, несмотря на маленький рост и слишком длинную дубленку. Он держался очень прямо, держа под мышкой папку с рукописями.

— У меня есть багаж. Пусть кто-нибудь им займется.

Вопросы сыпались со всех сторон.

— Что они хотят знать?

— Михаил Леонтьевич, у вас сегодня вечером пресс-конференция. Я думаю, что сейчас не стоит выступать: пусть порох будет сухим.

Курносов важно наклонил голову, затем, повернувшись к журналистам, медленно и четко произнес:

— Вивь ля Франсь, — он подчеркнул свои слова резким движением подбородка.

— У вас есть моя книга? Мне показали только газетные вырезки.

Псарь показал ему оба издания, брошюрованное и переплетенное.

— Не так уж плохо, — сказал снисходительно Курносов. — Правда, поля слишком узкие. Где у вас машина?

На этот раз пресс-конференция состоялась во Дворце съездов. Собралось не менее тысячи человек: „дервиши” пришли праздновать свою победу. Разве не они вырвали несчастного Анонимного Узника из когтей палачей-психиатров? Среди журналистов слышались иностранные голоса: потрудились прибыть международная пресса. Международный коммунизм мог торжествовать в Анголе, Эфиопии, Никарагуа, Сальвадоре, в Польше... зато Советский Союз доказал, что дрожит перед общественным мнением. Было от чего ликовать.

За кулисами Александр встретил Диво, который тут же спросил с кривой улыбкой:

— На этот раз настоящий?

— Надеюсь.

— Очень отличается от того?

— И да, и нет.

Александр добавил и сам удивился своим словам:

— Гомо советикус всегда останется гомо советикусом.

(„Я говорю с Диво почти с симпатией, почти как с сообщником. Что происходит? В какой-то мере он мне ближе, чем они”).

Он продолжил:

— Гомо советикус думает, что ему все положено, но ему ничего не дают, в результате чего он готов добиваться чего угодно какими угодно средствами. Ты знаешь, одно меня удивляет. Когда я встречаюсь с бывшим заключенным, я ожидаю увидеть изголодавшееся, отупевшее, опустившееся существо, в какой-то мере выходца с того света. В конце концов, когда их отправляют в эти учреждения, то не для того, чтобы гладить по головке и раз в неделю демонстрировать новые фильмы, как это делаем с уголовниками мы. Но те, которые прибывают сюда, ведут себя с высокомерной насмешливостью, больше заботятся о своих требованиях, чем о выживании. Гаверин, не переставая, требовал денег. Этот, едва успев ступить на французскую землю, спросил, где его автомобиль. Чем все это вызвано?

Диво слушал, разглядывая вертящиеся вокруг норковые манто, беличьи шубы, кашемировые шали.

Он все так же криво улыбался:

— Я думаю, что это естественный отбор. Для того, чтобы выжить в лагере, чтобы заставить мировое общественное мнение прислушаться к себе, чтобы, освободившись, найти в себе силы эмигрировать и продолжать борьбу, нужно обладать определенными качествами и определенными недостатками. Тот, о ком ты говоришь, наверняка активный гомо советикус, и ты его прекрасно описал. Я бы сказал просто, что он невероятно наглый. Но, видишь ли, без дерзости Солженицын в лучшем случае продолжал бы преподавать физику в Рязани. Я готов поспорить, что даже свой рак он победил дерзостью.

Александр подумал, что этот человек с иронией, но без горечи, интеллектual, которого никто не мог упрекнуть

в низости, этот своего рода поэт, специализирующийся на хирургической ясности, был бы драгоценным приобретением для Всемирной партии. Какая изощренность — заставить работать этот чисто реакционный ум (реакционный в лучшем смысле этого слова: в состоянии реакции) на осуществление подрывной затеи. Теория реле замечательна, особенно потому, что реле не знают, что делают. Подрывная деятельность, подумал Александр, напоминает гигантскую электронную машину, работающую на полупроводниках. Диво будет отличным полупроводником. Конечно, нужно держать его подальше от Курносова и руководства: он способен запутать божественный клубок.

Александр занял свое место на трибуне парижского Дворца съездов с нарочитой медлительностью и непринужденной уверенностью. Не так давно он представлял прессе фальшивого Курносова, теперь ему выпало представлять настоящего, начиная одновременно предприятие огромного масштаба. У него была раненая душа: смерть жены и сына сидела в нем, как пуля, извлечение которой могло вызвать смерть раненого. Ощущение, что Управление и сам Питман стали относиться к нему с меньшим доверием, чем раньше, ранило его не менее глубоко. До сих пор в его жизни не было большого горя, кроме смерти отца; он был, если можно так выразиться, нетронутым болью, но вот испытания приблизили его к другим людям и в то же время дали ему авторитет, которого до сих пор ему недоставало. Никогда он не был таким величественным, как в этот вечер.

Готовясь выступить, он вдруг вспомнил, как прошлым летом у фонтана парень в желтой куртке передал ему пакет с „Огоньками”, где была спрятана „Русская правда”. Он подумал не: „Как я был счастлив тогда!”, а: „Как я был молод тогда!” И это было правдой: в течение последних дней его русые волосы приобрели новый оттенок. Если он будет долго жить, его волосы приобретут цвет кованого серебра. А пока он чувствовал себя в расцвете своей зрелости.

Александр начал с того, что подвел итоги сложившейся ситуации. Советская вероломность общеизвестна, но сейчас

дан новый пример: паникуя перед интересом свободного мира к „Русской правде”, СССР поспешил освободить фальшивого Курносова, которому все поверили, Александр в первую очередь, и он попросил за это прощения. К счастью, под давлением народного возмущения „отцы лжи” вынуждены были освободить настоящего автора книги, значение которой трудно переоценить (за два месяца продано 200 000 экземпляров!). Автор находится здесь, чтобы вернуть надежду демократическим странам и поработанным народам. К сожалению Михаил Леонтьевич не говорит по-французски, но с его, Псаря, помощью, готов ответить на все вопросы: правда не боится нескромности, наоборот. Что касается вступительного заявления узника, который перестал быть анонимным, то оно сводится к тому, что Михаил Леонтьевич Курносов, высланный за пределы СССР, хочет посвятить свою жизнь созданию и деятельности независимой организации, которая будет называться Братство правды народов.

На следующий день „Эмпарсьял”, в котором Минкэн занял удобное кресло своего подвергнувшегося опале друга и покровителя, опубликовал обширные отрывки пресс-конференции. В смягченном вступлении Минкэн писал: „Некоторые взгляды месье Курносова кажутся трудно приемлемыми с точки зрения здравого смысла, но их оригинальность не лишает их притягательной силы. Предоставим слово чистосердечным господам и дамам, которые задавали вопросы неконформистскому гостю Франции”.

Вопрос. — Месье Курносов, вы, очевидно, знаете, насколько все мы запутались в выяснении вашей личности. Можете ли вы подтвердить, пожалуйста, что вы и есть человек, пытавшийся убить Брежнева?

Ответ. — Я это подтверждаю.

В. — Как вы организовали это покушение?

О. — Мой шурин, который любит выпить, милиционер. Я взял его форму и оружие. Стоило мне это 2 литра водки: шурин хорошо натренирован в выпивке. (Смех.)

В. — Можно ли спросить, что толкнуло вас на это покушение?

О. — Можно. Я думал, что достаточно снести голову советскому режиму, чтобы он рухнул.

В. — Вы в это больше не верите?

О. — Нет. Коммунизм подобен раковой опухоли. Вы ее режете, а метастазы уже появились в другом месте.

В. — Почему вы изменили свое мнение?

О. — Потому, что поумнел. После покушения меня объявили сумасшедшим и посадили в психбольницу, где мне давали читать все книги, которые я хотел. Это позволило мне обогатить мое политическое образование и многое увидеть более ясно. Если вы читали „Бориса Годунова“, то должны знать, что в России существует традиция: ясновидящи только сумасшедшие.

В. — Как вам удалось переправить на Запад сначала отрывки, а затем и всю свою рукопись?

О. — Наивность этого вопроса равна его дерзости.

В. — В общем, с вами обошлись довольно мягко. Как вы можете это объяснить?

О. — Первое время режиму было выгодно показать, что только сумасшедший мог пытаться убить благодетеля народа № 1. Позднее ГБ убедились, что я обладаю кое-каким политическим образованием, и дала мне возможность его усовершенствовать. Марксисты считают свою доктрину научной. Они думают, что как только соединены определенные обстоятельства, они всегда вызывают одинаковые последствия. Мое задержание было для них невиданной удачей. Они получили подопытного кролика для изучения функционирования контрреволюционной мысли.

В. — Власти знали, что отрывки вашей книги передавались на Запад. И они не усилили наблюдение за вами?

О. — Конечно, Заколачивали мои окна, допрашивали моих санитаров, других больных, обыскивали мою камеру... Но так ничего и не нашли.

В. — И эта неэффективность не кажется вам подозрительной?

О. — В Советском Союзе неэффективность никогда не кажется подозрительной.

В. — Что побудило вас стать воинствующим антикоммунистом?

— О. — Коммунизм, конечно. Но также одно событие в моей жизни, о котором я не могу говорить публично.

В. — Месяе Курносов, что вы думаете о Западе?

О. — Запад — это только небольшая часть всего мира. А мир вертится по кругу, как белка в колесе. Вот как выглядит это колесо: демократия сильнее фашизма, фашизм сильнее коммунизма, коммунизм сильнее демократии. Я думаю, нужно вырваться из колеса.

В. — Вы, кажется, забыли, что коммунисты разбили нацистов?

О. — Неточность. Русские разбили немцев. Я слышу в ваших словах симпатии к коммунизму и советую вам перечитать речь Сталина, произнесенную 9 мая 1945 года.

В. — Что вы думаете о социализме?

О. — Я мог бы ответить вам словами Буковского: если вы хотите превратить вашу страну в гигантское кладбище, вступайте в соцпартию. Но я предпочитаю процитировать вам Пушкина. Вы знаете нашего Пушкина? Он написал сказку, которая начинается приблизительно так: „Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то сама на весь бы мир приготовила я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, то на весь бы мир одна наткала я полотна...” Эти две девицы потом оказались порядочной сволочью: они предали царя, ставшего их свояком, пытались убить свою сестру-царицу и ее сына-царевича. Этот отрывок близок к описанию Достоевским искушений в пустыне в легенде о Великом Инквизиторе. Вот что русская правда и я думаем о социализме.

В. — Я не уверен, что понял вас, месье Курносов. Чего хочет третья сестра?

О. — Третья сестра говорит: „Кабы я была царица, я б для батюшки-царя родила богатыря”. Видите разницу: она хочет сделать нечто осуществимое, нормальное, полезное. То, что в ее силах. Две другие, социалистки, мечтают. И мечтают они о материальных благах, которые даже недостойны того, чтобы о них мечтали.

В. — Месье Курносов — самозванец, назвавшийся вашим именем, осудил диссидентов. Что вы о них думаете?

О. — Они отличаются от всех нас. Они порождены советской элитой, и поэтому не могут быть истинными представителями русского народа. Но даже среди них есть хорошие люди.

В. — Что это значит „всех нас”? Вы разве не диссидент?

О. — Нет. Ваш Дидро сказал, что гонимые диссиденты, обретя власть, станут гонителями. Я в потенции не гонитель. Диссидент по-русски означает инакомыслящий. Я не мыслю иначе. Я мыслю, как все здравомыслящие люди. Я не диссидент, я русский, пытающийся сделать вывод из своей русскости. Быть русским, быть французом — это не идеология, это конкретный факт.

В. — Считаете ли вы себя русским националистом?

О. — Я знаю, в какой степени слово „националист” имеет отрицательное значение на Западе. Вы ловко умеете придавать отрицательный смысл словам, в которых этого смысла нет. „Националист”,

„негр”, „еврей”... Налицо досадное лингвистическое обесценивание. Суффикс „ист” мало применим к такой конкретной реальности, как нация. Всякая идеология, будь она правой или левой, которая содержит в себе насилие над реальностью, по сути своей люциферская.

В. — Что вы имеете в виду?

О. — Восстание Люцифера — это не восстание зла против добра, но добра против бытия.

В. — Вернемся на землю, если вы не против. Вы фашист?

О. — Фашизм — одна из форм социализма. И фашизм — это абстракция. По этим двум причинам я не могу быть фашистом.

В. — Мы слышали, что в России существуют монархические движения, например, Огурцова. Вы монархист?

О. — Не я монархист. Это Россия есть, всегда была и, вероятно, еще долго будет монархией. Я думаю, единственная возможность остановить советский идеологический экспансионизм заключается в признании факта существования русской империи, обладающей территориальным, а следовательно, ограниченным аспектом.

В. — В своей книге вы пишете о некой теократии. Можете дать уточнения?

О. — Управление людьми стоит на двух принципах: с одной стороны, законность, с другой, практическая необходимость. На перекрестке нужен регулировщик — это практическая необходимость, но этот регулировщик имеет форму — это законность. Законность всегда иррациональна: божественное право, право на наследство, всеобщие выборы, лотерея — все это основано не на разуме, и именно поэтому является базисом законности. Мы прекрасно знаем, что сын гения может быть кретином, что на свете больше людей глупых, чем умных, но все это не имеет никакого значения, потому что ум не приносит никакой пользы. Республиканская законность основана на непоследовательности, как монархическая законность — на абсурде. Практическая необходимость обсуждается пункт за пунктом, она поддается эволюции, приспособливается. Законность может быть постигнута только целиком: да или нет. Будучи христианином, я считаю нужным, чтобы иррациональность законности была христианской иррациональностью. Это вовсе не означает, что христиане должны организовать свое земное государство по подобию небесного Иерусалима. Практическая необходимость остается. Выражение „христианский государь” включает в себе противоречие, но отказываться от него, тем не менее, не стоит.

В. — Достоевский был тоже за теократию. Но не получила ли она по физиономии в вашей стране?

О. — У России Христово призвание. Вспомните, что произошло с Христом. Его апостолы верили, что он воссоздает царство Израиля. Фарисеи тоже верили, но, опасаясь, что для них там не будет места, распяли Царя иудеев. Только благодаря тому, что был распят, Он смог создать свое истинное Царство, чего фарисеи не могли постичь. Точно так же Достоевский думал, что теократией Россия спасет мир, но она спасет его мученичеством.

В. — Кто, по-вашему, фарисеи?

О. — Значит, это правда! Запад еще не осознал феномена, который между тем так ясно объяснен такими людьми, как Кнупфер и Честертон!

В. — Что они объясняют?

О. — Что Ростовщики и есть фарисеи нашего времени. Что западный капитализм и советский коммунизм похожи на загонщиков, гонящих дичь к долине, где ее можно будет спокойно перестрелять.

В. — Кто дичь?

О. — Вы.

В. — А охотники?

О. — Я вижу, что вы не очень внимательно читали мою книгу. Я напомню вам ее основные положения. Все начинается с кредита, т. е. с ростовщичества. Недаром средневековая церковь запрещала ссуду с процентами. Я знаю, что именно благодаря кредиту была совершена промышленная революция и создано современное общество, но я не уверен, что здесь есть чем гордиться. Как только появился кредит, появились и банки. Все было еще не так плохо, пока банки были просто агентствами по обмену и ссуде. Увы, они довольно скоро получили возможность пускать деньги в обращение, не чеканя монеты, не печатая банкноты, а давая в долг суммы, которых в действительности не имели. Не стройте себе иллюзий: данная вам в долг сумма в виде банковского чека обеспечена в лучшем случае на 20%. Это уже не банковская операция, а умение показывать фокусы. Но банки пошли еще дальше: создавая деньги, они не только нарушили привилегию Государства, но стали эти несуществующие деньги давать в долг Государству, тем самым поработав саму нацию. Знаете ли вы, что несколько лет назад Великобритания не вернула еще банку Ротшильда суммы, взятые ею в долг для ведения войны с Наполеоном?

Я, без сомнения, шокирую вас, сказав, что банковская система просто безнравственна. Задумайтесь, например, о ваших обществах с ограниченной ответственностью, которые весьма справедливо называются анонимными. Вы знаете, что они оперируют суммами, в де-

сять, в двадцать раз превышающими их капитал. Если они получают прибыль, прекрасно, а если они обанкротятся – кто будет платить? Кредиторы. Что касается акционеров, то с ними даже не советуется об авантюрах, в которые их втягивает административный совет. Пока они получают свои дивиденды, они не беспокоятся, но нравственно ли до такой степени отказываться от своей ответственности? Какая связь существует между каким-нибудь биржевиком, продающим или покупающим миллионную часть медного рудника так, словно он надевает или сбрасывает свои комнатные тапочки, и шахтером, который ползает по этой шахте с киркой в руках, уродуя позвоночник?

Не заставляйте меня говорить то, чего я не говорил: я думаю, что обладание шахтой вполне допустимо, если вы ее открыли, руководите непосредственно ее работой, но безнравственно играть трудом людей, как вы играете в ваше... – (Псарь подсказал) – лото.

Но вернемся к банкам. Они находятся в руках людей, которых я называю Ростовщиками. В накоплении ими прибыли есть нечто фатальное: они не могут остановиться. Вы лучше меня знаете, как они установили свой почти полный контроль над Европой и Северной Америкой; как они толкнули на деколонизацию, так как молодые неопытные нации, на территориях которых находились еще мало используемые запасы полезных ископаемых, гарантировали им прибыль куда более существенную, чем получаемую с тех же территорий через посредничество более организованных наций, которые присваивали себе часть прибыли. Я расскажу вам, что произошло в России.

Российская империя притесняла Ростовщиков по многим причинам и зависела от них гораздо меньше других европейских стран. В 1908 году государственный долг Франции имел показатель 288 на единицу населения, в России – всего 58,7. И в 1914 году этот долг был погашен на 83% благодаря государственной железной дороге. В 1912 году обложение в России было порядка 3,11, во Франции – 12,35 и в Великобритании – 26,75. В 1913 году русский золотой запас равнялся 1 550 миллионам рублей, в то время как бумажных денег было пущено в обращение только на 1 494 миллионов рублей. В это же время французский франк был обеспечен только на 50%. Вместе с тем рост русской экономики был таким, что один французский экономист писал в 1914 году: „К середине века Россия будет доминировать над Европой политически, экономически и финансово”. Промышленное производство на душу населения увеличивалось на 3,5% в год, в США – на 2,75% и в Великобритании – всего на 1%. Как

вы видите, у Ростовщиков была причина беспокоиться. К этому можно добавить, что в 1912 году американский президент Тафт говорил, что социальное законодательство Российской империи „более близко к совершенству”, чем какое бы то ни было законодательство какой бы то ни было демократической страны. Итог: если страна, обладающая не демократической формой правления (то, что вы называете, я предполагаю, теократией), способна справиться с задачами, перед которыми отступают Ростовщики, то контроль над экономикой, которым они обладали, обречен.

Последующий ход событий не был непредвиденным. Известно, что немецкий банкир Варбург дал Ленину крупные субсидии. Менее известно, что у этого Варбурга был брат, создавший систему Американского федерального фонда, также субсидировавшего русских революционеров с помощью американских банкиров. Тогда же Троцкий без смущения признавался, что получил большую ссуду от одного финансиста, принадлежавшего к английской Либеральной партии.

В результате Российская империя выведена из строя, и СССР становится клиентом Запада. Форд строит первый советский автомобильный завод (в то время как Россия выпускала уже собственные автомобили), а Кампбелл становится советником Сталина по коллективизации. Я уж не говорю о том, что творится в СССР в настоящее время, русские дети поют:

Не ходите, дети, в школу,
Пейте, дети, кока-колу!

А Государство опорожняет золотой запас, чтобы прокормить собственный народ. Но это еще не самый отвратительный аспект сообщничества между капиталистическими Ростовщиками и их советскими бульдогами. Представьте на минуту, что СССР становится нормальной страной, и сможете легко увидеть, до какой степени Ростовщики потеряют в этом случае власть над западным миром. Вы настолько боитесь Советского Союза (и правильно делаете, что боитесь), что бросаетесь в объятия Ростовщиков с криком: бабушка! Но это не ваша бабушка, это злой волк, у которого очень острые зубы, чтобы лучше съесть вас, дети мои.

Все это кажется вам фантастикой? Посмотрите, как США, полностью находящиеся во власти Ростовщиков, вели себя со своим самым опасным врагом во время и после Второй мировой войны.

Вместо того, чтобы, дождавшись поражения СССР, обрушиться на истощенную Германию, они вступили в войну как раз в нужный мо-

мент, чтобы спасти погибающий коммунистический режим. Я повторяю, русский солдат победил немецкого солдата, но именно американская техника спасла марксистскую систему. Когда Молотов в обмен на эту технику предложил провести в СССР некоторую либерализацию режима, Рузвельт ответил ему, что не видит в этом необходимости.

Черчилль хотел, чтобы высадка союзников в Средиземноморье произошла в Греции, но США настояли на высадке в Италии. И в результате Румыния, Болгария, Чехословакия, Венгрия, Албания и та самая Польша, по поводу которой Запад льет в настоящее время крокодиловы слезы, были отданы Сталину. А Германия! Не считаете ли вы символическим раздел Германии (курицы, несущей золотые яйца) между двумя пройдохами? Кусок тебе, кусок мне. Вы также знаете, как тысячи русских, спасающихся от режима, были загнаны прикладами и штыками в эшелоны и грузовики и возвращены советам. Кем? Англо-американцами.

Нет трагедии без комедии: советские палачи восседали бок о бок с западными судьями на процессе-представлении в Нюрнберге.

Китай, которому американцы могли помочь в его отчаянной борьбе против коммунизма, был отдан ему.

ЦРУ побудило Венгрию восстать, в результате чего СССР раздавил растущие в этой стране силы свободы.

Вспомните, с каким единодушием — два угрожающих голоса на двух концах планеты — Москва и Вашингтон помешали вам навести какой-то порядок в арабском мире!

Разумеется, самый вопиющий пример — это Куба. Какая еще страна могла бы терпеть направленный в ее брюхо пистолет? Но только при соучастии американцев Кастро захватил власть на Кубе (пистолет-то был заряжен холостыми патронами). Затем американцы делают вид, что всячески поддерживают эмигрантов, — и решительно саботируют высадку в Свиной бухте. Именно решительно: вспомните, ведь это по личному приказу президента Кеннеди было отменено прикрытие с воздуха. Когда советские, которые время от времени пытаются сбросить иго Ростовщиков, хотят зарядить пистолет боевыми патронами, тот же Кеннеди заставляет их, зажав хвост, убираться восвояси. Хрущев, со всеми его недостатками, был настоящим русским человеком, добивающимся независимости для своей страны. Но достаточно, чтобы Рокфеллер провел отпуск — Господи, отпуск! — на берегу Черного моря, и Хрущев свергнут!

А знаете вы или нет, что Рузвельт заявил: после войны Индокитай ни в коем случае не должен быть возвращен Франции? И кому сегод-

ня принадлежит Индокитай? Что касается войны, которую, как утверждают американцы, они там вели, то они сделали все возможное, чтобы случайно ее не выиграть. Они даже придумали для этого так называемую „эскалацию”.

Что представляют в настоящее время две мировые ядерные сверхдержавы? Какая из них дала атомную бомбу другой? Конечно же, тайком, посредством шпионов, которых затем отправили на электрический стул. Но факт остается фактом: если бы атомной бомбой обладали одни США, кто тогда играл бы роль оборотня на службе у Ростовщиков?

Кто совсем недавно делил мир в Хельсинки? И какими были результаты этого раздела для народов Советского Союза? Усилившиеся репрессии, потому что эти соглашения просто означали: „Все в порядке, вы исполняете свою роль, продолжайте”.

А что происходит в Афганистане? Один из сообщников использует газы и напалм, другой запрещает своим спортсменам участвовать в одной из Олимпиад.

Скажу больше. Я не вижу убедительности в том, как Рейган сделал вид, что показывает зубы, а Брежнев — когти по отношению к Польше. Все, чего добивается Советский Союз, — это предлога, чтобы не вторгаться в Польшу, а США — возможности восстановить свой престиж. Эти кошка с собакой находят общий язык, как воры на ярмарке...

Далее Минкэн писал, что неожиданные заявления месье Курносова были встречены собравшимися по-разному, но нужно признать, что настоящий сюрприз месье Курносов припас напоследок. Видя недоверие части собравшейся публики, он весело воскликнул:

— Вы не хотите мне верить? Но я докажу вам, что США помогают советам держать русский народ в рабстве, и все для процветания продавцов оружия, братьев Ростовщиков.

Он вытащил что-то из кармана:

— Только сегодня утром я покинул Советский Союз. Пока самолет находился в советском воздушном пространстве, я был вынужден сидеть в наручниках. Как только родина осталась позади, их сняли, а так как я не лишен некоторых способностей, то умудрился оставить эти наручники себе на память...

Он повернулся к мадам Шустревич из журнала „Выбор” и протянул ей то, что держал в руке:

— Будьте добры, мадам, прочтите, что написано на клейме?

Мадам Шустревич подняла предмет над головой: это были наручники. Она прочла громко и отчетливо: „Смит и Вессон. Сделано в США”.

После пресс-конференции месье Бароне, любящий маленькие, уютные, чистые и не очень дорогие ресторанчики, пригласил Фурвере, Псаря и Курносова поужинать.

Псарь спросил у Курносова:

— Вы не очень устали? Может быть, предпочитаете отдохнуть?

— Устал? Я ведь только говорил.

— Но еще сегодня утром вы были...

— К этому путешествию я готовился десять лет.

— Вы знали?..

— Я знал, раз они оставили меня в живых, то для того, чтобы рано или поздно экспортировать.

Курносов вел себя за столом гораздо лучше, чем Гаверин.

— Я много читал, — объяснил он с простотой, — и среди прочего, правила хорошего тона. Я уверен, что знание едино: нельзя ошибаться в выборе нужной вилки, если ты хороший христианин.

Месье Бароне, крупный молодой человек, толстощекий, с розовой кожей, со светлыми волосами, в позолоченных очках, пожелал узнать, почему движение, которое хочет создать Курносов, получило название Братства правды народов.

Курносов, седые волосы торчком, пирамидальный нос, очки, придающие ему нравоучительный вид, пальцы на аккуратных руках все почти одинаковой длины, был похож на неожиданно обезумевшего бухгалтера. Он ответил:

— Мое Братство названо так в честь Братства русской правды, члены которого были арестованы и осуждены во время послеленинского террора. Вместо того, чтобы унижаться, валяться в ногах, признаваться в совершении всех преступлений, как это делала прошедшая перед тем же су-

дом коммунистическая сволочь, братья русской правды отвечали на все задаваемые им вопросы пением гимна „Боже царя храни”. Можно не разделять их взглядов, но невозможно не восхищаться их подвижничеством.

Александр ненавидел эту уверенность самоучки, саму логику безумия Курносова, и вместе с тем чувствовал, что в этом маленьком теле под мешковатым свитером, в этой квадратной, туповидной голове, над которой волосы торчали так прямо и резко, что казались наэлектризованными, — была огромная сила, которой в других обстоятельствах он мог бы поддаться.

— Переведите ему. Я доверяю вам. До определенной степени.

Маленькие глаза твердым взглядом пронзали невозмутимое лицо Александра.

— Русский народ действительно народ-правдоносец, как я уже писал. Даже католики знают, со времени явления Божией Матери в Фатиме, что у нас особая судьба. Так называемая русская революция есть не русское покушение на эту судьбу.

Есть у России мистический центр. Это — Троицкий монастырь. Место расположения монастыря было названо Загорском в честь малоизвестного революционера, псевдоним которого был Загорский, а настоящая фамилия Крахман. Символично, не правда ли?

Знаете вы фамилии людей, убивших царя, царицу, царевича, княжен и четырех их верных слуг в подвале дома в Екатеринбурге 18 июля 1918 года в четверть второго ночи? Трое из них были русскими, но вот фамилии остальных: Юровский, Хорват, Фишер, Эдельштейн, Фекете, Надь, Грюнфельд, Вергази. Настоящая фамилия Троцкого Бронштейн, Зиновьева — Апфельбаум, Каменева — Розенфельд. Неважно, что некоторые из этих фамилий еврейские. Дзержинский был поляком, Сталин — грузином, Берия — мингрельцем, у Ленина было немного шведской крови и много татарской. Поэтому нет причин для обвинений в антисемитизме, как это делают Ростовщики всякий раз, когда конс-

татируется, что русская революция на самом деле революция антирусская.

К тому же, о дереве судят по его плодам. Четырнадцать республик Советского Союза живут лучше, чем пятнадцатая — РСФСР, это вам каждый скажет. Кроме того, каждая республика официально суверенна, что в теории приводит к тому, что РСФСР (140 миллионов жителей) имеет такой же политический вес, как, например, Эстония (1 миллион жителей), а в действительности РСФСР — единственная из пятнадцати республик, не имеющая даже собственной коммунистической партии.

— Как? — удивился Александр.

— Да, да. Есть всесоюзная компартия, но русской нет, как нет русской академии наук, между тем как все остальные республики имеют свои компартии и свои академии наук.

— Не является ли это следствием того, что некоторые называют великорусским колониализмом?

— Нет. Русский ученый, чтобы чего-нибудь добиться в Ленинграде или Москве, должен сначала поработать в Киргизии или Узбекистане. А преданный русский коммунист не может служить своей стране и своему народу: он неотделим от федерации. Есть явления и похуже. Алкоголизм, поощряемый государством, постепенно превращает русских в евнухов: посмотрите на результаты демографических исследований. Еще несколько десятилетий — и коммунистические государство буквально уничтожит русский народ. И только тогда так называемая русская революция достигнет своей цели и Ростовщики-фарисеи смогут потирать руки — руки, с которых в процессе естественного шелушения посыплется блестящие крупы.

Бароне, видя, что Курносов разгорячился, спросил:

— Что происходит? Что он говорит?

Псарь решил не переводить. Русский messiанизм станет дрожжами Братства, но избыток дрожжей портит тесто.

— Месье Курносов, — сказал он, — патриот, и он дал мне это понять.

Фурвере поднял глаза к небу:

— Как прекрасен русский язык! Но что касается лаконичности, Мольер сказал бы, что он — противоположность турецкому.

Ужин был постскриптумом к пресс-конференции, но и ужин имел свой постскриптум.

Курносову захотелось пройти, и Александр проводил его пешком до гостиницы. Ледяная грязь вырывалась из-под шин ехавших автомобилей с влажным сиянием вокруг фар. Курносов шагал широкими шагами, разбрасывая толстыми ботинками снег и грязь. Александр, который был на полголовы выше, наблюдал за ним краешком глаза с любопытством, смешанным с опасением и игривостью. В этом человеке была сила, но его заставят служить силе большей, чем он сам. Он невольно станет промежуточным звеном распространения того, что он более всего ненавидел, и именно эта ненависть сделает его наиболее эффективным. Vademecum указывает, что „теория влияния использует закон Архимеда. Нерон и Диоклетиан, в сущности, сослужили большую службу христианству”. Слова псалма, выученного в детстве наизусть, вспомнились Александру: „Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем”. Он задал себе вопрос, не шла ли и здесь речь о промежуточном звене. И Иуда, которому Иисус протянул кусок хлеба, назначив его предателем (не изобличал его, а назначил), не был ли он промежуточным звеном, без которого операция „Спасение мира” была бы невозможна? И слова: „Отче! прости им, ибо не ведают, что творят” не относились ли они также к неосознанным реле? Парижский ветер хлестал по губам, и оба одновременно прикрылись от него: Курносов воротом свитера, Александр белым шарфом из вигоневой шерсти.

— Михаил Леонтьевич, как вы стали тем, кто вы есть?

— Прежде всего благодаря родителям, у которых никогда не было ложных идей. Какая скромность, а? Они мне их не

передали потому, что у них самих вообще было мало идей. Это были люди глубоко правдивые, и в нашем обществе, основанном на лжи, они спасались ничтожными должностями, простотой речи, пассивностью, добровольной подавленностью униженных. Они шли на демонстрации, только когда они были обязательными, подписывали петиции и протесты, только когда не могли поступить иначе, но вся эта грязь, льющаяся на них, не могла их запятнать. Они верили в Бога и в Россию, но у них было слишком много здравомыслия или слишком много чистоты, чтобы верить в какую бы то ни было абстрактную идею. Сделать из идеи, являющейся объектом понимания, объект веры, — может быть, именно в этом знаменитый грех против Духа, на который они были неспособны. Благодаря этому я получил основу интеллектуальной честности, и особенно чувство, что все абстрактное (разумеется, кроме математики) неизбежно незаконнорождено и фальсифицировано. Поэтому я написал не трактат, а апологетический сборник. Суть настоящей правды — быть неизреченной: нужно поймать ее в ловушку. Так возникли притчи Святого Писания. Потом я ушел на войну, попал в плен, и была эта встреча...

— Мы подходим к вашей гостинице. Хотите выпить что-нибудь в баре?

— Нет, я бы хотел еще пройтись. Или лучше посидим в настоящем бистро, где есть французы, настоящие. Знаете, они меня обворожили. Так ясно чувствуется, что они, коллективно, не знают горя, разве что заботы, да и те им нужны только для того, чтобы серьезно выглядеть.

Они зашли в кафе, где пахло жареным картофелем.

— Запах свободы! — произнес Курносов.

— Не нужно довольствоваться запахом, — сказал Александр.

Он заказал две порции картофеля фри и два пива. Курносов смотрел на обслуживающего их официанта взглядом, в котором трезвость не исключала нежности.

Он весьма серьезно произнес:

— Мерси, монсиньор.

Как актер, произносящий на сцене реплику в сторону, Курносов добавил:

— Я знаю, что нужно говорить не монсиньор, а месье, но мне больше нравится монсиньор. Это слово показывает, что и в последнем негодяе есть нечто, достойное уважения.

— Расскажите мне, как вы попали в психбольницу.

— Вы хотите сказать: в одиночную камеру? Благодаря человеку, имени которого я не знал; это был человек-гора, разумеется, из ГБ... Он говорил, как профессор Санкт-Петербургского университета. Он сказал мне: „Признайте, что вы сумасшедший, и у вас не будет больше никаких забот. В заключении вы будете жить лучше, чем на свободе. Вы будете есть и пить лучше многих, читать что душа пожелает, свободно писать. Если время от времени вам понадобится женщина, мы и это устроим. В противном случае я обязан передать вас этим олухам из прокуратуры, и вы погибнете в урановой шахте, что обидно для человека с таким умом, как ваш. Ну-с-с, что вы на это скажете?“ Он говорил ну-с-с, как до революции. Я думаю, что он хороший человек, и очень опасный: он сделал больше зла, чем плохие люди.

Александр равнодушным тоном спросил:

— Какой товар вы могли предложить в сделке с ГБ?

Курносов, не задумываясь, ответил:

— Правду. Эти люди думают, что могут укротить правду и заставить ее работать на них. Но правда — это необузданная кобылица. Вы знаете наши русские сказки, Александр Дмитриевич? Помните палочку-выручалочку или скатерть-самобранку? Это и есть иконы правды: правды-самооправдывающейся, правды, дающей свободу. Только правда одновременно — суть и функция. Я сказал это человеку-Эльбрусу, этому Святогору, сказал, улыбаясь, в карцере, куда меня, обыскав спереди и сзади, засунули голышом. Я сказал ему: „Я сильнее вас“.

— И это из-за вашего ума ГБ решила сделать из вас контр-революционную питательную среду?

— Не только. Благодаря одной встрече в Германии я получил немарксистское политическое образование, случай

уникальный на 250 миллионов жителей Советского Союза. Мой ум не был заражен микробом диалектики, по меньшей мере я привык мыслить, не ограничиваясь только одним методом, кстати, весьма примитивным. Для ГБ, Александр Дмитриевич, я был бесценной находкой. Я записывал свои мысли и передавал их свободно человеку-горе. Он отбирал подходящие ему страницы и вручал их одному из своих агентов. Агент официально был одним из моих санитаров, передававшим затем материал по ничему не подозревающим каналам на Запад... Какая организация, Александр Дмитриевич! Организация, мозгом которой считал себя человек-гора, хотя на самом деле был лишь винтиком машины, работающей на меня! Естественно, журналистам я рассказал другую историю: чтобы быть правдоподобным, нужно уметь врать.

Курносов отер платком пивную пену. Он пожирал жирный картофель, словно только что отлично не поужинал. Александр заказал ему еще пива.

— Эта встреча? Вы не хотите рассказать мне о ней?

— Охотно. Я уже говорил вам, что был в плену, не так ли? Мы сдались после первого же боя, вся дивизия. И знаете почему? Из-за сапог. Потому что у нас не было сапог, а СССР продал перед началом войны сотни тысяч пар сапог немцам. Мы почувствовали, что были проданы вместе с сапогами. Было начало войны, и немцы не так уж плохо с нами обращались. Они расстреливали наших политкомиссаров, но нам на это было наплевать: мы не чувствовали, что они — наши. Знаете, что в конце концов сплотило народ и партию? Война. Нужно признать, что именно партия повела народ к победе. Прибыв в Германию в теплушках, мы оказались распределенными по фермам. Некоторые не скучали: хозяин в полку, хозяйка дома одна... Со мной было по-другому. Мне не было тогда и двадцати лет, я не знал женщин, и моя фермерша была для меня скорее матерью. Она давала мне хлеб с маслом. Правда, масло намазывала не как русская, а как немка: одной стороной ножа намазывала масло, а потом другой, тыльной — снимала не впитавшееся в хлеб. Но это

ерунда, она была доброй. Иногда она клала куски хлеба с маслом в мусорные ящики, которые должны были опорожнять пленные; но это было позднее, когда немцы взяли столько пленных, что не знали, как их прокормить... Я начал работать на земле. А мой отец, представляете, был переплетчиком! Но она бывает щедрой, мать-сыра-земля, когда с ней делят трудности, она вознаграждает за труд, даже чужая земля. Я работал мотыгой и косой и получал удовольствие, возрождаясь в близком контакте с природой: если вы сажаете, это растет; если не пропалываете, то гибнет; если вы вовремя собираете урожай, он ваш; если вы опоздали, урожай сгниет. И никакого марксизма-ленинизма.

Наша ферма (я говорю: наша!) была расположена на опушке леса. По ту сторону леса находились другие фермы, на которых работали французские военнопленные. Они и мы зависели от одного города. Как-то я пришел в город за десятью мешками удобрений (немцы — мастера во всем, что касается химических удобрений) и встретил этих французов. Один из них странно посмотрел на меня и сказал по-русски: „Ты, значит, оттуда?“ Я не поверил своим ушам: нам рассказывали, что белые эмигранты — сплошные князья, графы и всякая порочная дрянь. И вдруг парень чуть старше меня, коренастый, с большими руками и маленькими ушами говорит мне „Ты оттуда“. Для меня, как бы вам это сказать... Как будто я встретил призрак старой России. Мы не имели права разговаривать, за нами следили инвалиды, но не очень прилежно, поэтому мы сумели договориться о встрече в ближайшее воскресенье в лесу под большим двуствольным дубом, который мы оба знали.

В первый раз со мной пришли мои товарищи, посмотреть на редкую птицу, русского из Франции, на барского сынка. Но вскоре им стало противно: „Это же беляк, он хочет снова вернуть нам царей. И ты не знаешь, не захотят ли цари оставить комиссаров. Вот и будем под одними и под другими“. Короче они предпочитали оставаться со своими фермершами, я же приходил к дубу каждое воскресенье.

Теперь я понимаю все гораздо лучше, чем тогда. Николай Владимирович был младороссом, и у меня сложилось впечатление, что этой партией управляла наша ГБ. Когда возникли эти подозрения, я пришел в отчаяние: я почувствовал себя окруженным. Потом я подумал, что все это не имеет большого значения, что правда — опасное взрывчатое вещество и может взорвать людей, орудующих ею для укрепления своей лжи. Во всяком случае тогда, под дубом, я еще не задавал себе подобных вопросов, я слушал рассказы моего эмигранта о России, я упивался его словами, я высасывал из них всю правду, как мозг из кости. Вокруг был запах грибов и мха, который остался для меня запахом правды.

Николай Владимирович заставил меня выучить наизусть целую программу, принимал у меня экзамены... Я учил, зубрил, расспрашивал, рассказывал, он меня опрашивал, поправлял, подсказывал. У нас были обморожены ноги, носы, у нас был один химический карандаш на двоих, всю неделю мы работали, как каторжные, мы рисковали быть пойманными, — но все это нам было безразлично. Я развивался благодаря ему, а он — я это понял гораздо позже — благодаря мне. Он передавал мне то, во что верил. Через меня, через идеи, которые он передавал мне, он возвращался к себе, вы понимаете? Он — возвращался. Не только в свою страну, но и в свое детство, даже в чрево своей матери...

Его идеи представляли сплошную кашу. Он говорил: политграмота. Это была монархо-социал-фашистская доктрина. Он говорил, что нам нужен царь, чтобы царствовать, и вождь, чтобы управлять. Мне казалось, что одного царя вполне достаточно. Нужны хозяева, да, но как можно меньше. Он сердился. Мы спорили. Весной я сдал наконец свои последние экзамены. Тогда он разрешил мне принести присягу.

— Присягу?

— Присягу верности. Царю.

Металлические глаза Курносова не увлажнились, они как бы закалились, как закаляется сталь: от гордости. Его губы шевелились, беззвучно произнося священные

слова, которые и подумать было невозможно произнести вслух в этом бистро, жуя картофель.

— Да, мне было двадцать лет, и я произнес эти слова, слог за слогом, чтобы никогда от них не отказаться. Эти люди хотели знать, почему я стрелял в Брежнева... Для того, Александр Дмитриевич, чтобы освободить место.

Насмешка и, быть может, зависть искривили губы Александра:

— Место для кого? Для нынешнего претендента?

Курносов вновь вытер губы платком:

— До определенного момента истории, Александр Дмитриевич, государи создают престолы, затем уже престолы создают государей.

Он встал:

— Пройдемся еще немного?

Бывший узник камеры № 000 был неутомим.

...И приступили к созданию Братства. Прежде всего нужно было заняться тремя вопросами: программой, бюджетом и вербовкой.

Основной идеей для создания программы была международная декларация обязанностей человека. Курносов писал:

„Любая социальная концепция, основанная на правах индивидуума, а не на его обязанностях по отношению к другим индивидуумам, все равно что пахота с быками, идущими перед плугом. Еще славянофилы отказались от буржуазной демократии, так как она основана на абсолютном либерализме, который приводит к эксплуатации. Свобода может базироваться только на ответственности; что касается равенства, то существует только одно, кстати священное: равенство перед смертью. Именно поэтому всякая эгалитарная система неизбежно приводит к смерти. Либо терпит поражение в борьбе с природой и начинает уродовать ее, чтобы втиснуть в свои искусственные рамки (это называется террором); либо она побеждает и снимает разность потенциалов, которая необходима для устойчивости жизненного тока

(это называется социализмом). Ответственность, напротив, дает устойчивый базис для создания справедливого общества. Эта ответственность втягивает человека, с одной стороны, в конкретные отношения с другими людьми (производитель — потребитель, создатель — клиент, начальник — подчиненный) и, с другой стороны, с естественно сложившимися формациями, к которым он принадлежит: семья, профессия, народ, человечество, а также определяет непосредственные обязанности, в первую очередь к своему ближнему...”

Текст был написан Курносовым, обработан Псарем, заново отредактирован Курносовым, а затем тайно показан Петру во время одной из его встреч с Александром. Это стало поводом для еще одного конфликта, так как Александр привык к независимости и поучительные манеры Петра его раздражали.

— Ваша программа не обладает достаточной воспитательной силой. Вы должны разработать антимарксистскую концепцию, ложную по существу, поскольку марксизм истинен. Нужно научить наших противников превратно мыслить, не больше.

Псарь отвечал:

— Я не знаю, к какому Управлению вы непосредственно принадлежите, но вы явно ничего не поняли в операции, которой должны руководить. Мы наконец-то признали очевидность: марксизм сам по себе есть лишь составная часть диалектики, и синтез, который ему враждебен, созрев, грозит занять место антитезиса — марксизма. Вот мы и решили обмануть Историю, как обманывают некоторых насекомых, подсовывая им искусственные яйца, на оплодотворении которых они истощают свои силы. Именно так мы хотим обвести вокруг пальца западную интеллигенцию и надеемся, что из нашего псевдосинтеза, который мы будем дергать за ниточки, как марионетку, мы сумеем создать снова благоприятный для нас тезис.

Добившись от Петра кое-каких уступок, Александр вернулся к Курносову и пытался убедить его принять поправки,

на которых настоял Петр. Разумеется, Александр должен был представить их как свои, в то время как он был с ними совершенно не согласен.

— Александр Дмитриевич, — говорил ему снисходительно Курносов, — вы самый непостоянный человек, которого я знаю.

С бюджетом были свои трудности. Для экономии Курносов на второй же день после своего приезда переселился в маленькую гостиницу, где снял номер без ванной. „Ничего, я буду по субботам ходить в баню. Знаете, в Ленинграде это была одна из моих привилегий. Все держалось в тайне, но каждую субботу я покидал свою камеру, разумеется, в наручниках американского производства, и под охраной отправлялся в баню, предназначенную для ГБ. Мои охранники хлестали меня веничками. Иногда я хлестал их. Веселились на славу”. Когда Курносов узнал, что в Париже нет русской бани, он возмутился. „О чем вы, эмигранты, думали, ведь вы здесь уже шестьдесят лет?” Пришлось ему удовлетвориться турецкой баней, но из своей дешевой гостиницы он не ушел. Кроме того, ел он только, когда его приглашали: „Я отъелся в тюрьме, пора немного поголодать”. Ежемесячное пособие, которое выдавало ему издательство „Люкс”, ожидая, пока Гаверин, на которого подали в суд, вернет присвоенные им деньги, полностью шло в кассу Братства.

Однако этих денег было явно недостаточно, чтобы поставить на ноги, даже на скромных началах, движение мирового значения. Агентство Псаря пожертвует часть своих доходов на общее дело; это позволит Александру, даже если его отношения с Курносовым испортятся, осуществлять контроль над Братством. Но так как доходы агентства обязательно проходили через Петра, он присвоил себе право тщательно проверять счета Братства. Он требовал отчета за любую мелочь, вплоть до денег, потраченных на почтовую марку, или на билет в метро. Когда Александр упрекал его:

— Вы настоящая канцелярская крыса!

Петр отвечал с самодовольной улыбкой:

— Я профессионал.

Были затруднения и с набором кадров для Братства. Курносов настаивал на количестве:

— Нужен критический объем для того, чтобы потом отфильтровалась элита. Нужно принимать всех, с низким уклоном, по-русски.

— Невозможно, Михаил Леонтьевич. Предположим, что все французское фашистское гетто целиком решит записаться: тогда больше никто не захочет с нами работать. Знаете ли вы, что во Франции есть четыре монархических организации, которые грызутся между собой? Вы же не хотите, чтобы мы были колонизированы троцкистами, не правда ли, или бонапартистами, или анархистами? Вы же не хотите, чтобы мы преподнесли голлистам доктрину, которую они ищут вот уже тридцать лет? И вы ведь не хотите, чтобы мы реабилитировали левых интеллектуалов, этих нуворишей у власти? Мы создаем совершенно новый организм, и мы не должны допустить, чтобы какая-нибудь из уже существующих группировок его захватила.

Что касается Петра, то он считал, что членство в Братстве нужно предоставлять как привилегию, заставляя кандидатов заполнять шестистраничный формуляр, проверять их происхождение, завести на каждого личное дело. Искушенный контрразведчик, он был одержим страхом проникновения агентов в Братство. Александр раздражался:

— Кто, по-вашему, может проникнуть к нам? Мы же заранее знаем, что все наши члены будут антикоммунистами.

— Именно. Представьте, что какой-нибудь французский коммунистик проникает к нам и обнаруживает, что организацией на деле руководим мы. Вы понимаете, что тогда будет?

Подкошенный подобными аргументами, Александр ощущал, как в нем накапливается нездоровая усталость, но он льстил себя мыслью, что она мешает ему поддаться чувству жалости к самому себе, этому бесчестью.

К этой внутренней отравляющей усталости прибавлялось физическое изнеможение, вызванное общественной дея-

тельностью. Курносова без конца приглашали выступать в разных городах страны и даже за границей: в Бельгии, Великобритании. Александр играл роль переводчика и наставника.

Однажды рано утром они возвращались из Монте-Карло. Курносов, откинув назад голову, приоткрыв рот, дремал; несмотря на сон, мышцы его лица были напряжены. Александр смотрел на его профиль со смешанными чувствами, которые он не пытался анализировать.

Он думал: „Это Железная Маска. Это человек, стрелявший в Брежнева. Это ученик Николая Владимировича. Это шестидесятилетний человек, оставшийся, я подозреваю, девственником. Это сын скромных переплетчиков, не передавших ему ни одной ложной идеи. Это безумец, просидевший десять лет в сумасшедшем доме не для того, чтобы лечиться, а чтобы — развивать свое безумие...”

Он открыл свежий номер газеты „Эмпарсьял”. Там сообщалось о смерти Гаверина.

Почтальон, который принес в укрепленный дом Гаверина очередную порцию счетов, предупреждений, всевозможных повесток, обнаружил, что почтовый ящик не открывали уже несколько дней. Он оповестил жандармерию. Жандармы обнаружили изгнанника на кухне, висящим на одной из выступающих из конструкции балок, которыми так гордились агенты по продаже недвижимости. Труп, одетый в иностранный синий костюм, болтался на шелковом галстуке.

Значит, отчаяние, которое не покидало Гаверина со дня его прибытия во Францию, было оправданным? Александр потребовал в тот же вечер встречи с Петром. Он увидел Петра уже сидящим на краю полосатого дивана в квартире Жессики. Над верхней губой Петра были свежееотпущенные усики. Эта деталь сделала его еще более ненавистным Александру: гадюка с усами, это переходило всякие границы!

— Наша работа?

Петр хладнокровно прочел статью в измятой газете, брошенной Александром на диван.

— Нет.

— Я показал статью Курносову. Он мне сказал: „Это, возможно, поможет нам быстрее вернуть деньги”. Слова, поистине достойные христианина! Все вы одинаковы.

— Кто это мы?

Александр с трудом взял себя в руки.

— Вы правы. Если Гаверин мешал, его нужно было ликвидировать. Просто я подумал о жалкой судьбе этого человека, а не о благе общего дела.

И гордо добавил:

— Это моя вина.

Петр милостиво принял извинения.

— Ну, почему вы хотели меня видеть?

Александр понял глубину своей ошибки. Но не хотел ничего отрицать: опять-таки из гордости.

— Для того, чтобы сказать вам то, что сказал.

Петр, выпятив крошечные усики, выдохнул:

— Вы хотите сказать, что вы, кооптированный подполковник, сами пошли и заставили меня пойти на риск, связанный с организацией срочной встречи, исключительно из-за смерти уже давно принесенного в жертву агента? Берегитесь, Псарь, на нашем уровне от некомпетентности до саботажа один шаг.

На следующий день Александр должен был обедать с Эмманюэлем Блюном. Их отношения улучшились с тех пор, как, переписывая свои никудышные романы на тему „верный друг”, Блюн начал издавать их без помощи агентства Псаря. Но он оставался преисполненным благодарности, и при встречах с Александром в присутствии представителей прессы, неизменно провозглашал, покровительственно обнимая за плечи своего бывшего литературного агента:

— Лучший в Париже агент! Это он вытащил меня из нищеты.

Его внезапный звонок: „Пригласите меня пообедать” — застал Александра врасплох. Чего мог хотеть от него человек, разбогатевший на защите отверженных?

Они прибыли на место встречи одновременно и вместе подошли к гардеробной. Блюн осторожно снял черное каше-

мировое пальто с бархатным воротником и, повесив его на внимательно выбранную одну из нескольких совершенно одинаковых вешалок, предстал в дорогом костюме; под пиджаком был жилет, скроенный идеально, чтобы подчеркнуть то, что еще осталось от юношеской талии, и скрыть указывающий на благосостояние животик.

— Выпьем по стаканчику здесь, а потом поднимемся? Я заказал столик.

Александр кивнул. Он оценил комфорт, мягкое освещение и бесшумное обслуживание в этом баре, но ему не очень нравилось здесь: он находил, что здесь слишком много писателей, и в глубине души был убежден, что писатели не принадлежали „к его кругу”. Блюн за локоть подвел его к коричневому креслу и сказал, вздохнув от избытка чувств:

— Люблю этот погребок, который является высшей сферой.

Попивая, они болтали о пустяках. Затем Блюн сказал:

— Я только из России.

Но Александр не понял намека. Не было ничего удивительного в том, что получивший премию писатель возвратился из СССР. Поэтому литературный агент продолжал разговор о литературе, внимательно разглядывая гладкое, тусклое и отекавшее лицо этого мещанина, не лишенного таланта, но таланта настолько заурядного, что было бы приличней не иметь его вовсе. Где был тот Блюн, с грязными ногтями и головой, набитой идеями, которого Псарь вытащил из безызвестности, чтобы сделать одним из своих „реле”? Теперь ногти были под постоянной заботой маникюрши, а идеи пущены на ветер силой банковского счета.

— Я думаю, что наш стол уже готов, — сказал Блюн.

Они вежливо потоптались у двери, уступая друг другу дорогу.

Только заказав со всей тщательностью обед и выбрав вино, Блюн начал разговор, который и был причиной этой встречи. Но все же счел нужным начать со вздора:

— В прошлом году было проще: заказал себе бузи (отличное вино) и был спокоен. Но это уже становится устарев-

шим. Я надеюсь, вы любите кагор. Впрочем, вам, православным, дают его при причастии. Кстати, как у вашего Братства идут дела?

— Хорошо. Недавно приняли известного американского кинорежиссера, который поставил „Охотника на лосей”.

Блюн мямл хлебный мякиш.

— А как поступают в ваш клуб? Это партия, в которую принимают, или это церковь, которая посвящает?

— Немного и то, и другое.

— Я не скрываю, что меня это интересует.

— Вас, Блюн? Но большинство наших членов — твердые антикоммунисты. У нас...

Александр перечислил несколько довольно известных имен. Блюн только моргал.

— Очень хорошо, все это отлично. Можете оказать мне протекцию?

— Блюн, я вас не понимаю. Вы официальный лауреат СССР!

— Но я на это и рассчитываю, чтоб меня приняли. В конце концов это должно доставить удовольствие вашим реакционерам, если я приду с головой, посыпанной пеплом в знак раскаяния.

— Зачем вам посыпать голову пеплом?

— Мне больше терять нечего, Псарь. Я поссорился с левыми, и мне нужны читатели.

— Поссорился с левыми? Как это?

— Это длинная история.

— Месье, — сказал Александр метрдотелю, — принесите нам еще бутылку.

Блюн только этого и ждал, но все-таки хотел, чтобы его об этом попросили.

В течение последнего времени его книги не переиздавались в СССР. Он хотел знать почему и принял приглашение, которое само по себе было не очень лестным, но давало возможность разобраться во всем на месте.

— Еще несколько лет назад меня торжественно встречали, все оплачивали, кормили икрой. В этот раз они скряжнича-

ли. Я хотел знать, где собака зарыта, и в конце концов я еще в состоянии сам оплатить себе шикарный номер в „Украине“, даже с роялем, если пожелаю.

На этот раз Блюна приняли в СССР плохо, о нем забывали в приемных, упускали из виду приглашать на приемы. Два вечера он провел в гостинице в полном одиночестве. На третий он спустился в бар, где познакомился с какой-то женщиной. Она жила в той же гостинице. Он поднялся к ней в комнату по служебной лестнице, чтобы его не увидела дежурная по этажу. На следующий день снова встретился с советским издателем: „Геннадий, что в конце концов происходит, почему мои книги не переиздаются? Что-то не так в моей политической линии? Заметьте: совесть у меня одна. Но если нужно пересмотреть какие-то детали...” „Вы должны пойти к Сереже”, — сказал Геннадий.

— Сережа? Я не знал никакого Сережи, но достаточно было, чтоб мне дали его адрес. Я думал, что это какое-нибудь высшее издательское начальство. Ничего подобного. Сережа, который был похож на бастующего гробовщика, принял меня в зловещем кабинете, на стене которого висел портрет безумного аскета в стиле Эль Греко. Сережа предложил мне: „Либо вы работаете на нас, и мы платим вам за двадцать пять тысяч экземпляров в год, независимо от их продажи, либо мы избавимся от вас”. Это, знаете ли, Псарь, не для меня. Нет, спасибо. Прежде всего я француз, и даже примерный француз, кроме того шпионаж — это дела, от которых можно очутиться в канале Сан-Мартэн животом кверху, если не просто исчезнуть во рву Венсеннского замка. И я ответил ему: „Сожалею, Сережа, я бы с удовольствием, но, право, не вижу, что могу сделать для вас”. „Можете, можете, сказал он, вы можете давать нам сведения об атмосфере в стране, кроме того, вы знакомы с людьми, которые никогда не согласятся даже разговаривать с нами”. „Я знаком только с писателями”. „Прежде всего, писатели не такие уж ненужные люди, как принято считать, а кроме того, вы знакомы с политическими деятелями, которые сейчас находятся в правительстве. Государственный секретарь Полипье ваш

близкий друг...” „Сожалею, но шпионаж не моя стихия”. Вначале этот Сережа был очень вежливым, сладким даже, но постепенно становился все менее вежливым и надувался, как лягушка, которая хочет стать величиной с быка. Наконец он сказал: „Послушайте, мы постараемся облегчить вам задачу. Всегда приятнее, когда человеком движет идеализм, когда человека интересуют деньги, это тоже неплохо. Тем не менее, вы не должны думать, что мы не можем предложить вам других мотивировок. Хотите ли вы, например, чтобы мы переслали это мадам Блюн?” Он открыл ящик, выдвинул картотеку, извлек из нее папку, из папки вытащил конверт, открыл его (прямо матрешка какая-то) и положил передо мной штук двенадцать фотографий. Как вы уже догадались, на них были изображены та самая девица из гостиницы и ваш покорный слуга в самых пикантных позах.

Единственное, чего не знал Сережа (тут русские меня разочаровали: и они могут ошибаться), — что мадам Блюн и я как раз перед моим отъездом подали на развод. Так что я себе потихоньку посмеивался. Сережа мог хмурить брови и раздувать ноздри сколько ему хотелось... Я же сказал ему: „Это прекрасная идея. Может быть, у мадам Блюн появятся кое-какие идеи: наглядное пособие, любовь без слез и все такое. Возможно, вам удастся то, чего я не смог достичь за двадцать лет. А чтоб вы не тратили денег на пересылку, я сам передам ей ваши воспитательные иллюстрации”. С этими словами я выхватил фотографии и ушел. Сережа застыл на месте, как столб.

Должен сказать, что на границе они меня обыскивали с ног до головы и даже больше... это заняло два часа, но я не дурак, фотографии я передал моему другу — секретарю посольства: дипломатическая почта, никто ничего не видел, никто ничего не знает, не пойман — не вор. Все это я рассказываю вам, чтоб вы поняли, что между мною и советскими все кончено и что вам выгодно использовать меня, пока еще считается, что это я с ними порвал. Я вам гарантирую, что через дней пятнадцать в „Литературке” появится статья, чтобы объявить, что Блюн — похотливая гадина, ли-

шенная не только гениальности, но, в особенности, классового сознания. Заметьте — я заслужил. Могу вам признаться, что колебался. Сережа дал мне понять, что если я соглашусь, то моей связной будет та самая женщина из гостиницы. И я вас уверяю: что касается связи, она умеет ее поддерживать. И кожа у нее нежная, как у ребенка. Только, что вы хотите, мне моя шкура дороже, чем ее.

Блюн пил уже вторую рюмку арманьяка, когда Александр, которого, в общем, все это не интересовало, но которого все же толкала профессиональная любознательность (а может, зов судьбы), спросил небрежно:

— Они у вас с собой, эти фотографии?

Блюн загоготал:

— Поэтому я и заказал стол в уголке.

Он с трудом нашел внутренний карман своего пиджака, но как только ему это удалось, он ловко вытащил пачку фотографий и прикрыл ее ладонью:

— Закройте глаза.

Александр закрыл глаза.

Блюн, хихикая, разложил фотографии на желтой ска-терти:

— Откройте.

Александр смотрел четверть минуты, затем отодвинул стул, встал и направился к двери. Метрдотели шарахались от него. Блюн приподнялся:

— Псарь...

Псарь вышел.

Блюн опустился на стул. Впервые за долгое ное время он вынужден был оплатить счет.

Глава 8

ЖЕМЧУЖИНА

Это был тот же аристократический особняк, та же лестница с каменными ступенями, столь истертыми, что казались бархатными, те же лепные украшения в стиле трианон, те же барельефы, тот же орнамент, имеющий форму яйца, та же Маргарита, уже приступившая к работе.

— Месье Левицкий еще раз звонил. Пригрозил, что если не получит ответа в течение трех дней, то продаст свою идею о Достоевском в другом месте.

Но это был уже другой Александр Псарь. Он, всегда такой уверенный в себе, был на себя не похож. Затуманенные глаза на бледном лице выглядели растерянными. Он пришел без пальто и с голыми руками: он забыл пальто и перчатки в гардеробе ресторана.

— Мне придется уехать на несколько дней.

Он говорил с трудом и явно не слышал, о чем ему рассказывала Маргарита.

— Хотите, чтоб я заказала вам билет?

Оболочка, в которой он прожил тридцать лет, всю жизнь зрелого мужчины, начинала давать глубокие трещины. Ему нужно будет научиться по-иному дышать. В сорок девять лет это пугало.

— Нет, не надо заказывать. Да. На самолет в... Нью-Йорк.

— На когда, месье?

— Чем раньше — тем лучше.

Пока она звонила, он подошел к окну и прислонился лбом к стеклу. Вначале ему казалось, что он не видит происходящего на улице, но спустя минуту он заметил, что только что прошедший мимо парень с шарфом на шее повернул обратно.

Он почему-то снова увидел Гаверина, висевшего под балкой.

— Забронируйте мне также одноместное купе.

— Куда, месье?

— В Рим.

— На когда?

— Как можно скорее.

Он подумал, что нужно было заняться вторым билетом самому. Но он чувствовал себя слишком опустошенным, чтобы ждать в каком-нибудь гнусном агентстве, может быть, даже стоять в очереди, а потом разговаривать с одной из этих идиоток с завитками, не способных разобраться даже в расписании поездов.

Он представил, ошибаясь, возможно, в каких-то мелочах, все события последних лет. Он катил по Парижу в машине, не отдавая себе в этом отчета. Он пересек Сену, чтобы отдалиться от левого берега, затем снова переехал ее в обратном направлении, чтобы приблизиться к своему агентству. Он машинально останавливался на красный свет, машинально трогался с места на зеленый, делал круги, смотрел на часы, не видя стрелок. И это был он, всегда такой чуткий ко всему, что делал!

Алла всегда была просто еще одним связным офицером, которого прикрепили к нему, чтобы усилить в нем надежду на возвращение. Когда она выполнила задание, ей дали другое такое же. „Ласточек” было много, но офицеров-женщин, способных одновременно соблазнить жертву, а затем продолжать держать ее в руках и обрабатывать, наверняка гораздо меньше, поэтому и использовали одних и тех же. Алла, очевидно, прошла во Втором управлении стаж по обработке франкоязычных интеллектуалов литературного профиля, и вполне возможно, могла обработать двух, знающих друг друга: определенный процент риска, конечно, был. И то, что ГБ пошла на этот риск, заботясь об экономии, ранило Александра, который отождествлял себя с Управлением и терпеть не мог скупости. Кроме того, он был оскроблен тем, что не заслужил для себя отдельного связного. Раны, нанесенные самолюбию, далеко не самые безболезненные.

Он никогда не верил в то, что Алла любила его так, как представляли себе мелкобуржуазные постромантики, и он не был разочарован, узнав, что, бросившись ему в объятия, она выполняла задание; в сущности, он знал это всегда и был доволен, что их отношения основаны не на физическом влечении, наоборот, они были основаны на уверенности, что они смогут вместе построить сооружение, намного превосходящее своих создателей. Он не чувствовал себя обманутым в любви, по крайней мере, от этого он был избавлен.

Но он не мог найти никакого утешения или облегчения, как сделал бы это обычный любовник, в том, что Алла, которую он считал умершей, была жива, а потеря сына стала для него еще более болезненной, с тех пор как он понял, что никогда не имел его. Так же как, когда открывается, что мы не любимы больше, мы утешаемся мыслью, что были все же любимы, так и Александр предпочитал свой траур охватившей его отвратительной пустоте. Ему теперь и в голову не пришло, что этот сын мог существовать: он был убежден, что выполняющая задание женщина сделала бы аборт; он не мог знать, что где-то у него была дочь, а это могло бы его немного утешить. „У меня никогда не было детей. И я даже не знаю, способен ли их иметь”.

Эта подспудная сила любви, в течение стольких лет согревавшая его, была вымышленной, почти бессмысленной. Но не чудовищно ли любить то, чего не существует? Какому отвратительному сердечному онанизму он предавался! Весь этот нежнейший внутренний гул, достоверное ощущение любви настолько острое, что порой закрывались глаза, как от боли, эти мечты о будущем: „Мой сын будет... Мой сын станет...”, ощущение, что ты уже не одинок в этом мире, что разбита скорлупа онтологического одиночества, на которое обрекает рождение и от которого освобождает зачатие, — все это, значит, был только мираж? А фотографии! Какой тайной нежностью он наполнялся, глядя на них! Как он искал — и находил! — сходство с собой! Как гордился, признавая в этом, неизвестно чьем отпрыске, наследника рода Псарей! Как хотелось, согласно традиции, дать ему имя своего отца! „Прости, папа”. Это была увеличенная во сто крат неловкость, которую испытываешь, когда приводишь к друзьям человека, оказавшегося негодяем.

Его обвели вокруг пальца. И кто? Те, кому он согласился служить ценой бесчестия, унаследованного от отца. Быть обманутым своими подчиненными, это еще куда ни шло; это против правил, но война есть война. Но быть обманутым своим руководством? Это низость из низостей.

Его обманули. Почему? Разве он не выполнял взятых на себя обязательств? Требовал вознаграждения, не по заслугам? У него возникло подозрение, что договор, заключенный тридцать лет назад, был подложным, что его хозяева никогда не имели намерения дать ему возможность вернуться. Даже его звание, которым он дорожил с наивностью, присущей некоторым солдатам, было всего лишь очередной приманкой. В то время как он из года в год поднимался по воображаемой служебной лестнице, его хозяева там, на фабрике иллюзий, которой было Управление, вовсю потешались над ним. Не удивительно поэтому, что Петр ведет себя с ним, как с обычным агентом: речь шла не о том, чтобы „держать в ежовых рукавицах” слишком независимого офицера, как говорил ему Петр, а просто о том,

чтобы показать ему кнут из системы кнута и пряника, которая весьма успешно применяется к агентам низкого пошиба.

— Местье, — сказала без иронии Маргарита, — вы выезжаете в Рим сегодня вечером или в Нью-Йорк завтра в полдень.

Он прошел в свой кабинет, но против привычки не закрыл дверь. Ему нравилась окружающая его деревянная обшивка стен. Его взгляд упал на ятаганы: надо их оставить, чтобы не вызвать подозрений у Маргариты. Конечно, она догадывается, что он отбывает в третьем направлении, но она не должна была знать, что он сам не знает, вернется ли сюда. Потом он увидел икону:

— Ты тоже, Ты бы непременно поиздевался надо мной, если бы Ты умел издеваться.

Он сел за письменный стол, начал просматривать почту, но понял, что не в состоянии понять что-либо. „Ну что? Неужели они правы? Я всего лишь солдатик, не умеющий держать себя в руках?“

К нему вернулась необходимая ясность мысли. Он набросал ответы на письма. Мысль о Гаверине не покидала его. „Я не хочу, чтобы меня постигла та же участь“.

В нем еще не созрело никакого решения. Он только знал, что ему необходимо отключиться на несколько дней и на это время вырваться из-под контроля Управления. Вернется ли он укрощенным? Попытается ли исчезнуть? Поставит ли какие-либо условия для своего возвращения? Он не знал. Но в любом случае надо отойти от всего и подумать.

— Маргарита.

Никогда еще он так не окликал ее через открытую дверь.

— Маргарита, я буду отсутствовать несколько дней.

Он повторял одну и ту же фразу, как заевшая пластинка. Но он уже знал, что не сможет убежать, что сделает все необходимое для организации работы агентства в его отсутствие: к этому его обязывал внутренний долг.

— Хорошо, местье.

Обычно она просила оставить номер телефона, по которому можно связаться с ним в случае необходимости, но сегодня она ни о чем не спросила. Она стояла, слегка склонив го-

лову, держа в руках блокнот с карандашом. На ней было темно-синее платье с большим воротником. Ее темно-синие глаза, обрамленные черными волосами, выражали лишь внимание.

— Скажете, что я уехал в Нью-Йорк для подписания договора. Вернусь, вероятно, на будущей неделе.

Говоря это, он писал по-русски письмо с извинениями Курносову.

— Отправьте это письмо. Пневматической почтой, пожалуйста. Если позвонит мадам Бойс, скажите, что я ей сам позвоню.

Разумеется, он не имел права уезжать, не дав Петру возможности в случае необходимости отыскать его.

Он чувствовал, что снова становится капитаном на своем корабле.

— Вы мне говорили... да, месье Левицкий. Да, действительно, мы отнеслись к нему невнимательно, со всеми этими Курносовыми. Скажите ему, что я был бы благодарен, если он сможет подождать еще две недели, но я не обижусь, если он обратится к другому агенту.

— Он наверняка уже сделал это, — сказала Маргарита.

— Все равно нужно перед ним извиниться. То, что у нас много работы, — не оправдание. Вот черновик моего письма для месье Бароне, который предлагает мне снова взять на себя руководство серией „Белая Книга”. У меня никогда его и не отнимали: нужно, чтоб этот хам это понял.

Впервые в присутствии подчиненного Александр позволил себе высказать свое мнение о человеке, равном ему по положению. И Маргарите стало стыдно за него.

Он посмотрел на часы.

Разговаривая с Маргаритой, Александр решал, поедет ли на своей машине (номер мог его выдать) или возьмет машину напрокат. В настоящий момент он не хотел иметь вид человека, заматающего следы. Он не раз убеждался, до какой степени ГБ хорошо информирована. С какой легкостью, например, ГБ сумела найти способ призвать Балландара и Фурвере к порядку! Улизнуть от наблюдения ГБ казалось

ему делом невозможным для обыкновенного человека. А между тем, именно это он и собирался сделать, по меньшей мере на несколько дней. Лучше всего было бы взять у кого-нибудь машину. Но у кого? Он вдруг заметил, что у него не было достаточно близких для этого знакомых.

— Прошу прощения, но я вас не слушал.

— Могу ли я поехать с вами? — повторила Маргарита.

Она покраснела под слоем пудры.

— Я прошу прощения за нескромность, но мне кажется, что я могу вам понадобиться.

— Мне никто не нужен. Спасибо.

Александр почувствовал, что в нем что-то обломилось. Он привык жить один, но не привык чувствовать себя одиноким. В течение тридцати лет он ощущал на своем плече привычную, невидимую, охраняющую руку Питмана. Через минуту он останется совершенно один за рулем машины. Это одиночество страшило его. Может быть, присутствие ненавязчивой, но заботливой Маргариты поможет ему прожить эти несколько дней. Он, конечно, не станет посвящать ее в свои проблемы, но ее теплота, постоянное желание видеть его процветающим, возможно, помогут ему принять правильное решение. „Но взяв ее с собой, не навлекая ли я на нее опасность? (Он все еще думал о Гаверине с вылезшими из орбит глазами и вывалившимся языком.) Напротив, этим я уменьшаю опасность, нависшую надо мной”. Он мало что помнил из выученного во время стажировки в Бруклине, но в голову пришло со всей ясностью: „Попытка ликвидировать двух человек не в два, а в десять раз опаснее, чем одного”.

Маргарита, замирая от стыда, сделала последнюю попытку:

— У нас нет ничего срочного, что нельзя было бы отложить на несколько дней. К тому же послезавтра Рождество. И у нас стоит автоматический ответчик...

Александр все еще колебался. Маргарита наверняка догадалась, что он не едет ни в Рим, ни в Нью-Йорк. Она скорее как говорится, проглотит язык, чем выдаст его. А если ее

действительно начнут пытаться? Даже не прибегая к физическому воздействию, можно найти весьма эффективные методы. Если он возьмет машину напрокат, было бы разумно нанять ее на имя мадам Терьен.

— Хорошо. Зубную щетку купите себе по дороге.

— Что зарегистрировать на ответчике?

— Я сделаю это сам.

Нужно было вызвать как можно меньше подозрений: „Говорит Александр Псарь. Благодарю вас за звонок. К сожалению, я вынужден отлучиться на несколько часов, а моя секретарша, мадам Терьен, больна. Будьте любезны, запишите ваше сообщение на автоматическом ответчике. Я непременно позвоню вам. После звукового сигнала можете говорить”.

Если, подождав „несколько часов”, начнут его искать, то прежде всего найдут след, ведущий в Нью-Йорк. Когда убедятся, что он не улетел, пойдут по следу, ведущему в Рим...

Выходя, он взял свой черный портфель, потом помог Маргарите надеть серое пальто с лисьим воротником. Приятный запах ударил в нос.

— Какие у вас духи, Маргарита?

— „Жоли Мадам”, месье. Вы подарили мне флакон на день рождения.

— Хорошо сделал.

Чуть приоткрыв губы в улыбке, он попросил прощения за свою забывчивость.

Во дворе он сел в машину и открыл изнутри правую дверцу. Прежде всего, сказал он себе, нужен „нерв войны”. Он поехал в свой банк.

— Я остановился в неподобающем месте. Если полицейские начнут протестовать, полюбезничайте с ними.

Впервые он позволил себе предложить подобное Маргарите.

Он взял с банковского счета все наличные деньги. Выходя из банка, он заметил, что Маргарита перегнала машину в другое место.

— Мы мешали.

Он снова вспомнил: инструктор в Бруклине рекомендовал тем, кто желает быть неузнанным, „изменить внешний облик”. Но как? В каком-то романе налоговый инспектор, прежде чем пойти к портному, покупает себе новую одежду. „Я сделаю все наоборот”.

Александр в очередной раз пересек Сену, оставив позади левый берег. Ему повезло: он нашел место для машины неподалеку от Оперы.

— Маргарита, в этом квартале много агентств. Можете ли вы нанять машину на ваше имя? Деньги, разумеется, я вам верну. У вас есть кредитная карточка?

— Да, месье. На когда?

— Чем быстрее, тем лучше.

— Куда ее доставить?

Нужно было принять все меры предосторожности.

— Мы сами зайдем за ней в гараж. Встретимся здесь через полчаса.

Она колебалась:

— Если вы не доверяете своей машине, месье, можно взять мою. Она синего цвета.

Будто цвет имел какое-то значение. Машина Маргариты могла быть зафиксирована в картотеке ГБ.

— Нет, спасибо. Возьмите что-нибудь более комфортабельное, чем ваша машина, нам предстоит долгий путь.

Он и понятия не имел, куда они поедут.

Без пальто Александру было холодно, но он подумал, что еще ничего не сделал, чтобы уйти от возможной слежки. Прежде чем сделать покупки, он предпринял несколько банальных маневров... Парень с шарфом больше не появлялся, ничего подозрительного вокруг себя он не заметил. Вокруг висели, сверкая разноцветными лампочками, рождественские рекламы.

В „Олд Ингланд” Александр купил теплый двусторонний плащ, кепку из твида, зонтик и перчатки. Он никогда не ходил ни в кепке, ни с зонтиком в руках, поэтому чувствовал себя довольно нелепо.

Маргарита, уже ожидавшая его у машины, сочла вежливым не полностью скрыть свое удивление:

— Вы одеты на английский манер, месье.

— Шерлок Холмс собственной персоной. Не хватает только трубки. Ну что?

— Нужно ехать за машиной в гараж.

— Поезжайте. Я буду ждать вас на вокзале Сен-Лазар.

Маргарита направилась к остановке такси. У нее была красивая походка; серое пальто едва касалось ее бедер. Пошел снег, несколько снежинок легли на ее черные волосы, и Маргарита раскрыла синий зонтик. На остановке такси не было, но она быстро нашла ищущее клиентов такси в другом месте. Александр продолжал на приличном расстоянии следить за Маргаритой. Она ни разу не обернулась. Когда она села в такси, никто не попытался поехать за ней следом или броситься в ближайшее кафе к телефону. Можно было с большой долей уверенности предположить, что тут все обстояло хорошо.

Александр спустился в метро. Покачиваясь в вагоне, глядя в никуда мутными глазами, он говорил себе: „Я не должен был так резко убегать от Блюна. Он может заподозрить что-нибудь. Кто может доказать, что он действительно отказался сотрудничать с ГБ?“

Может быть, существует план более утонченный, чем ему кажется? Может быть, речь шла не об ошибке Управления, а об определенной ступени тщательно подготовленной операции? Может быть, это способ показать ему, что его обманывают? Но для чего? Операция „Братство“ прекрасно развивается, и ГБ не может быть выгодно обескураживать Псаря и толкать его на сближение с французами. Конечно, он не предаст, но могут ли они это знать? Нет, во всем этом не было логики. Прибыв на вокзал, Александр позвонил Блюну.

— Сожалею, дорогой друг, я бы мог вам соврать, но предпочитаю сказать правду: у меня была невыносимая колика.

Блюн не осмелился потребовать денег, потраченных им на оплату ресторанного счета.

Александр весело повесил трубку.

Он начал ходить взад и вперед по тротуару. Мороз щипал нос, щеки, уши; пальцы на ногах начали цепенеть.

„В гостиницах теперь не нужно предъявлять паспорт. Но все служащие стукачи. Придется давать вымышленные фамилии. Это удивит Маргариту. Что ей сказать?“

Он мог бы все свалить на ГБ: гарантией послужила бы смерть Гаверина. А дальше: „Они повесили Гаверина, поэтому я вместе с вами скрываюсь“.

Вымышленные фамилии. „Моя фамилия Дюпон. — Странно, а мне показалось, что вы этот... Александр Псарь. Вы на него здорово похожи. Мы его видели в последнюю пятницу по телевизору с Железной Маской“.

„Да, я еще не изменил внешнего облика. У меня даже нет бороды, которую я мог бы сбрить! Это не предусмотрительно с моей стороны! Очки? Но я никогда не осмелюсь зайти к оптику, чтобы купить очки с обыкновенными стеклами. Разве что сказать, что это для театральной постановки? Нет, это может вызвать подозрения. Парик? А что скажет Маргарита, увидев меня в парике или с усами?.. “ Он купил солнечные очки, но они мешали ему, и он снял их.

Маргарита подъехала на черном „Пежо“ и уступила ему место за рулем. Александр завел машину и с удовольствием ощутил мощность мотора: „Мой броненосец“. Он подумал, что никогда не водил русский автомобиль. „Когда я вернусь...“ Но вернется ли он когда-нибудь? Он начинал сомневаться в этом. Рукой он погладил рычаг коробки скоростей, взглядом — щиток приборов; он, как сказал бы его отец, устраивался на капитанском мостике. Маргарита, спрятав подбородок в меховой воротник (губная помада точно следовала рисунку ее широких и уверенных губ), смотрела на него без всякого выражения.

Александр менял скорости чаще, чем следовало. Вокруг кипел мрачный Париж. Злобные прохожие бежали один за другим, не зная для чего; продавцы газет синели в своих киосках; продавец каштанов придавал ностальгическую нотку этому пейзажу, который мог бы обладать диккенсовским простодушием, но был серым и раздражающим.

Маргарита смотрела прямо перед собой.

— Ужасно, — сказала она. — Бедный Гаверин.

Что ее могло навести на эту мысль?

Только выехав за пределы Парижа и взяв направление на северо-восток, Александр понял, куда он едет. Это, конечно, будет всего лишь этап, но этап необходимый. Ему было странно, что он, всегда тщательно взвешивавший свои действия, подчинялся теперь внезапным порывам подсознания. Купил ли Гаверин охотничье ружье? Охотничье ружье не защищает от отчаяния. Впрочем, да, в некоторых случаях. В роду Александра обладание оружием в течение веков было необходимостью не столько для личной безопасности, сколько для достоинства человека. Бедный Дмитрий Александрович всю жизнь мечтал иметь хотя бы карабин. Сколько раз копил он деньги, чтобы его купить не потому, что карабин казался ему нужным, а в некотором роде обязательным! И каждый раз он тратил накопленное, чтобы накормить товарища, купить розы жене или сделать подарок сыну. Оружие — это не просто только оружие: это решение, гордость, это шанс, предоставленный мужеству, это возможность рассчитывать на самого себя, смотреть прямо в глаза судьбе.

— Да, — сказал Александр после пятнадцатиминутного молчания, — то, что произошло с Гавериным, ужасно.

Он думал об этом одином человеком, вечером в своем доме-крепости. Использованный, изношенный. Может быть, его ликвидировали просто для чистоты, как убирают леса после ремонта здания; может быть, его бросили на произвол судьбы, зная, что он сам покончит с собой. Как ликвидировали Гаверина? Послали спецгруппу пятого отдела, или в самом Гаверине, в его теле, была его собственная спецгруппа в виде клеточек или шариков, которые, как гномики, в один прекрасный день начали методически пробираться к его мозгу, чтобы разжигать его? В некотором роде это не имело значения. Его отнесли к разряду непригодных или он сам себя к нему причислил, но галстук, на котором красовались стремени и удила, красивый шелковый галстук, нежный на

ощуль, сдавил ему гортань, глотку и Бог знает что еще, и он умер. Сколько времени он мучился? Измеряется ли время в таких обстоятельствах, как обычно? Искал ли он ногами табурет, который оттолкнул? Один, один. А может, и не один, если ему помогали специалисты из пятого отдела... но все-таки один на один с физическим страданием и заволакивающей тьмой... Один, обманутый, исчезающий из жизни. Можно ли отбросить человека, как отбрасывают инструмент, вышедший из употребления?

— Это я, — сказал Александр, — подарил ему этот галстук.

Было ли это знамением? Предупреждением? Может быть, хотели ему дать что-то понять, используя именно этот галстук? Маргарита положила свою руку в перчатке на его:

— Это не ваша вина: он нашел бы что-нибудь другое.

Она думала, что его мучает совесть. Полностью ли она ошибалась?

— Может быть, вы думаете, — спросила она, — что это... они?

Александр вел машину с прилежанием.

„Если бы я взял свою машину, они могли бы в нее что-то подложить. Но они не могут знать, что я нахожусь в этом „Пежо“. На днях они решат, что нужно найти Маргариту, но пока мы можем считать себя в безопасности. Разве что они установили микрофоны в моем кабинете? (Как быстро люди, которые еще несколько часов назад были „мы“, стали „они“!) В таком случае они знают, что я уехал с Маргаритой, но не знают, что на машине и что я взял ее напрокат. Хотя, если у них есть свои люди в агентствах, они наверняка...”

Он постарался взять себя в руки.

„Неужели я становлюсь похожим на Гаверина?“

Гаверин висел на галстуке. Возможно, он не был до такой степени параноиком, как думали. И Балландара настигло сорокалетнее прошлое. И Фурвере посадили на кол собственного позора и потребовали, чтобы он продолжал улыбаться. Все это в два счета.

Они приехали в Понтуаз.

— Маргарита, мне нужно отлучиться. Подождите меня в кафе.

Он взял свой портфель.

Маленький круглый полковник очень обрадовался Александру:

— Что-то давненько вас не было! Но прежде всего, как говорится, избавьте меня от одного сомнения. Это вас я видел по телевидению несколько дней назад или у вас есть двойник? Понимаете, я всегда думал, что ваша фамилия Р-сарь, а они говорили П-сарь.

Александр почувствовал, что созданная им здесь анонимность, распадается. Он сказал первое, что пришло ему в голову:

— Это я. Только, видите ли, я русского происхождения, и в нашем алфавите П то же самое, что во французском Р.

— Неужели?

Полковник счел невежливым продолжать, но в голове у него явно росло недоверие. В будущем он может прямо спросить: „Какая ваша настоящая фамилия? Та, что написана на ваших водительских правах?“ Но он до этого еще не дошел.

— Одна мишень пневматическая, вторая боевыми, как обычно?

— Нет, только пневматическая. У меня что-то разыгрался ревматизм, боюсь отдачи.

Результаты стрельбы по трем мишеням были плохими. Ему не удавалось создать так называемый синтез из дыхания, зрения и спускового крючка. Но когда он покинул тир, у него в портфеле лежал его крупнокалиберный револьвер „Смит энд Вессон“ и коробка патронов. У него не было прав на ношение оружия. И он сказал себе с мрачным удовлетворением: „Я теперь на нелегальном положении“. Какова вероятность, что его решит обыскать полиция? И вдвое потяжелевший портфель успокоил его. „На несколько часов, на несколько дней я волк-одиночка. Дальше видно будет“.

Теперь он ни от кого не зависел, первые тревоги прошли, и он ощутил экзальтацию. Он посмотрел на часы: „Бедная Маргарита, которая ждет меня...” Но, остановив машину в безлюдном месте, он не спеша распечатал коробку патронов и заменил сидящие в барабане револьвера обычные патроны шестью куда более тяжелыми и злыми, с удовольствием говоря себе, что эти в случае необходимости попортят цель гораздо сильнее...

Маргарита терпеливо ждала перед чашкой горячего какао. Вероятно, в первый раз в жизни, она не встала навстречу своему шефу, а ограничилась просто улыбкой, чтобы не стеснять его. Он заметил, что она сняла перчатку с правой руки и что у нее удивительно маленькие для ее крепкого сложения руки. Забыв который час, он посмотрел на часы. Он вдруг почувствовал себя бодрым и помолодевшим.

— Какао? Вы еще это любите? Я уже лет сорок его не пил. Тогда оно мне нравилось. А почему бы и нет? Месье, чашку какао, пожалуйста.

Едкий, тошнотворный вкус какао напомнил ему детство с болезненной ясностью.

— Когда я возвращался из лицея, отца еще не было дома, но он оставлял на плите маленькую эмалированную белую с синим кастрюлю, с черным пятном отколовшейся эмали. Я в ней готовил себе какао, а пока оно закипало, писал одно-два стихотворения.

— У вас не было матери?

— Моя мать умерла, когда мне было два года.

— Значит, вы ее не помните.

— Нет. Я воображаю иногда розовое, голубое... Очевидно, я строю себе иллюзии.

— Ваш отец говорил вам о ней?

— Никогда. И мне пришло в голову, что... Странно.

Он был по-настоящему растерян. Она довольно долго молчала, потом осторожно спросила:

— Что странно?

Затуманенные глаза Александра видели то, чего она не могла видеть.

— Отец научил меня читать молитвы: „Отче наш”, молитву за живых, молитву за усопших. Я молился за него, за бабушку, за деда, за других. Но не за мать. Тогда меня это не удивляло: я думал, что моя мать святая и что за святыми не молятся. Я бы скорее молился ей. Но почему отец...?

Она грустно улыбнулась. Он счел себя обязанным спросить:

— Ваши родители живы, Маргарита?

— У меня есть мать. Отец был убит во время войны в Индокитае. Мать живет в Лизье, поэтому я и езжу туда в отпуск.

Александр ее уже не слушал. Он думал об окружающей его огромной пустоте и о выражении, которое по-русски означало, что нет ни отца, ни матери: „круглый сирота”. Он чувствовал себя действительно „круглым сиротой”: куда ни повернись — никого. Он ухватился за мысль о револьвере, который у него еще был, как бездомный бродяга — за свою собаку.

— Пойдемте, — сказал он, поднимаясь.

— Куда?

Так как он не знал, что ответить, то сказал:

— Ужинать.

Он знал на берегу Сены одну гостиницу-ресторан, куда приезжают деловые люди со своими секретаршами и докторами с ассистентками. Фурвере счел нужным как-то пригласить его туда пообедать. Было уже темно, когда он остановил свое „Пежо” между „Ягуаром” и „Поршем” во дворе, окруженном современными зданиями. Морозило, и снег, смешанный с грязью превращался в лед. Маргарита поскользнулась, и Александр, взяв ее под руку, помог ей дойти до ярко освещенного крыльца.

— Месье забронировал столик?

— А нужно было?

— Через два дня Рождество, месье.

— Я уверен, что вы найдете для нас местечко.

Вздыхнув, метрдотель поднял глаза к небу, ох уж эти клиенты, как без них было бы хорошо.

— Пожалуйста, месье, следуйте за мной.

Александр не мог избавиться от сознания, что для него в каждом ресторане должен быть оставлен столик, и действительно, ему очень редко отказывали. Когда ему отказывали, он бывал унижен до бешенства. Если бы это произошло в присутствии Маргариты... Но все устраивалось. Внезапно ему захотелось угостить Маргариту по-королевски. Она вкладывала в свою работу больше, чем просто знание и опыт, она заслуживала большего, чем зарплату.

— В раздевалку, месье?

Он упорно добился того, чтобы самому помочь Маргарите снять пальто, словно ревниво относился к этой привилегии, потом подставил спину метрдотелю, чтобы тоже раздеться. Его чрезвычайно раздражали вульгарные половинчатые услуги, когда клиентам помогают раздеться и подвигают им стул, чтоб тут же забыть о них и предоставить этим доходным свиньям устраиваться самим.

— Вы дадите мне ваш портфель, месье?

— Да... Нет, я его оставляю.

Он прислонил портфель к ножке своего стула. К счастью, портфель был столь солиден, что лежащий там пистолет был не замечен; все же нужно быть осторожным. Воображение Александра продолжало действовать: будет ли он во французской тюрьме недостижим для своих друзей?

Маргарита заказала портвейн, Александр — виски. Игра черного и белого (костюмы официантов), хрустящие накрахмаленные скатерти, огонь, гудевший в стилизованном под средневековые камине, составляли восхитительный контраст с мерзким холодом снаружи.

— Вы сказали... Может быть, я неправильно поняла вас. Вы писали стихи?

— Десятками! Я считал себя поэтом.

— Вы больше совсем не пишете? Жаль. Конечно, у вас нет времени.

Неужели она действительно считает, что пишут потому, что есть свободное время?

— Не времени, а таланта мне не хватает, Маргарита. Я, думаю, хороший агент, — он споткнулся на слове „литературный”, — но писатель? Нет. Необходимо отсутствие стыда и самоуважения...

На лице Александра появилось выражение отвращения:

— Это, действительно, профессия не очень... как сказать... чистоплотная. Особенно после романтиков: плевать в носовой платок и совать его под нос людям в надежде, что на нем будет кровь? Нет, увольте.

На кожаных обложках меню были выгравированы причудливые гербы.

— С чего начнете, Маргарита?

Она колебалась, смущенная отсутствием цен в меню.

— Суп, может быть...

Александр догадался, что она хочет заказать что-нибудь подешевле.

— Хотите, я закажу вам сам?

И он действительно заказал королевский ужин: шампанское „Дон Периньон” сопровождало паштету из гусиной печени, белое вино — крабам, красное вино — фазану. Он заставил ее взять сыр, хотя она уже не была голодна, и навязал на десерт фруктовое мороженое. И сам он ел с большим удовольствием. Да, у него никогда не было сына, да, его предали свои же, да, он боролся против Франции, а она отдавала ему все лучшее, чем обладала. Им овладело агрессивное настроение.

— Расскажите мне о себе, Маргарита. Это смешно: двадцать лет работаем вместе, а я о вас ничего не знаю. У вас есть братья или сестры?

Она рассказала ему о своей жизни. Отец, унтер-офицер, погиб на войне, мать — преподаватель машинописи. Маргарита, единственная дочь, хорошо училась, после лицея пошла на юридический, но заболела мать, и нужно было работать. Она с радостью начала работать, сменив два места до того, как ее взяли в агентство Псаря.

Александр, пристально глядя на нее, слушал рассеянно. Ему нравилось, как ее пальцы с тщательно ухоженными ногтями, обхватили бокал с белым бургундским вином. У этой девицы, несмотря на ее мелкобуржуазное происхождение, был класс. Она хорошо одевалась, хорошо держалась и почти хорошо изъяснялась. Она не была в восторге от этого шикарного ресторана, а главное, не делала вид, что восхищена. Он перебил ее на середине фразы:

— Вы никогда не хотели выйти замуж, Маргарита?

Она любила одного человека. Это было давно. Он был женат, имел детей. „Мне не хотелось упрекать себя, что я что-то украла у кого-то”. И улыбнулась:

— Я и так счастлива.

И наконец совсем тихо:

— Я счастлива у вас.

— Я не знаю (он очень хорошо знал), говорил ли вам, что агентство многим обязано вам, Маргарита. Без вас мы бы не добились такого успеха.

— Ну, что вы!

— Уверяю вас. Мы бы давно закрылись.

Что означало это царское „мы”, из которого Маргарита как будто была исключена? Но она подхватила:

— Да, были у нас трудные времена. Раз или два мы едва не погорели, но каждый раз нам удавалось выйти из трудного положения, и вы смогли бы спасти агентство и без меня. Или с другой.

Выпив кофе, он расплатился не чеком, — чтобы не оставлять следов, — а наличными. Снаружи была та же игра черного и белого: небо было черным, земля — белой. Сам не зная почему, Александр направился на юг. Они долго ехали молча.

„Почему на юг? Потому что на карте эта часть занимает больше места, или потому, что привык ездить в этом направлении с Гавериным? Или потому, что меня притягивает запах его трупа, как убийцу, говорят, тянет на место преступления?”

Тепло в маленькой темной кабине, мчавшейся по морозу, как межпланетный корабль в космосе, это тепло, которое делили Александр и Маргарита, постепенно сближало их.

— Вы даже не спрашиваете, куда мы едем, — сказал Александр.

Она смотрела прямо перед собой, погрузив подбородок в меховой воротник:

— Мне все равно.

Он подумал о чашке какао, которую недавно выпил, и о воспоминаниях, которые оно в нем вызвало. Маленькая эмалированная кастрюлька. Вечером звук отцовского ключа в замке. Последнее время, перед больницей, ключ долго нащупывал отверстие, и от Дмитрия Александровича пахло вином, когда сын обнимал его. Вместе с дырявыми ботинками, вызванными ими простудами, открытием внушительного ритма русского гексаметра, профилем соседки в окне на противоположной стороне улицы и острой тайной, уже окутывающей его периодические встречи с Яковом Моисеевичем, — все это создавало в его памяти необычное созвездие. Он вдруг вспомнил испытание, которое мягкий, но ироничный Яков Моисеевич заставил его принять: никогда не быть первым, но быть как можно ближе к первому. Он вспомнил об этом с чувством отвращения к самому себе. Упражнения, которые аскетизм рыцарства оправдывал, стали не более чем притеснением. Притеснение, перенесенное совершенно зря.

Это слово „зря” поразило его. Вот уже тридцать лет он жил для чего-то, во что верил, но существование чего стало вдруг сомнительным. Россия? Россия отца, потому что он из нее уехал; Россия сына, если бы он его имел, потому что он там родился, — да. Даже если бы Александр узнал, что в этот день маленькая девочка с темно-русыми волосами, плоть от его плоти, выучила свое первое стихотворение о Ленине:

Когда был Ленин маленький,
С кудрявой головой...

— он продолжал бы верить в Россию, конечно, не из-за Владимира Ильича, который был ему чужд, а в силу воплощенной Истории. Вообразив себя бесплодным, он начал думать, что вся Россия — всего лишь кровавая выдумка. Кто ему докажет, что Петр, все Иваны и все Курносовы действительно пришли из этого тридесятого царства? Петра в действительности звали не Петром, Ивана — не Иваном и некоторых Курносовых — не Курносовыми. Россия, эта шестая часть суши, может быть, уже совсем не была сушей: внезапный сильный прилив скрыл ее, с ее белыми березками, серыми волками, золотыми куполами и бескрайними равнинами, а люди, на которых он работал, пришли из другого места, с другой планеты. Или этот безумец Курносов в конце концов был прав, и агенты КГБ — это пособники всемирного заговора Ростовщиков. КГБ — это прикрытие!

С Александром случилось приблизительно то, что происходит с юношей, который всегда верил в Бога потому, что с детства видел церкви, иконы, кресты, таинства, и вдруг понимает, что все это ничего не доказывает, что это может быть всего лишь гигантским спектаклем. Ему говорили о какой-то России, которая должна существовать где-то в мире, и он решил, что другая Россия, настоящая, вечная, основная, сияет где-то вне мира. Но что он об этом знал? И если даже все это так, принадлежит ли он ей? Что их объединяет?

Страшная мысль охватила его. Что мы есть? То, что мы съедаем? Именно поэтому христиане едят тело Христа: чтобы стать Христом. А он, не считая нескольких литров водки и нескольких банок икры, что он потребил из рожденного на земле предков? Он никогда не чувствовал себя французом, но все молекулы его тела были напитаны этим перегноем. Нет, не все. Были в основании две молекулы, слившиеся в одну, которые пришли извне. А остальные? Эта первоначальная клетка, если предположить, что она каким-то образом еще существует, находится в изгнании в большом теле Александра, вскормленном на пшенице и на мясе франков.

Конечно, была культура, язык, манера мыслить, — в общем, наследство и верность. Но верность — ради верности?

И он понял, в мгновение расшифровал парадоксальную идеограмму своей судьбы.

Он родился предателем.

Он был безупречным предателем, абсолютным, без побуждения и вознаграждения. Он, родившись во Франции, предал Россию, и повторил предательство, питаясь Францией. Он предал питающую его Францию, мечтая о России.

Начиная служить большевикам, Александр, а до него его отец отреклись от духа целой цивилизации, а также от создавшей ее касты (не класса: Александр в глубине души всегда отказывался принять это слово); но эта каста, эта цивилизация отжили свое, и вдовец, который во второй раз женится, не совершает супружескую измену: такая измена, если считать ее изменой, — случайная, формальная, своевременная, без последствий. Другая — родиться на чужбине — не зависела от выбора, выходила за пределы соблазна верно-подданничества и ни в коей мере не была смягчена тем фактом, что Александр верил, что живет верностью..

Верностью прежде всего надежде: „вернуться” в рай, из которого, как он считал, он происходил. Верностью, требующей от него жертв, вызывающей несправедливость, дающей лишь внутреннее удовлетворение. Потом верностью вымышленному воспоминанию: этой погибшей и исчезнувшей культуре, которую сам Александр не застал, но отречение от которой счел бы бесчестьем — следовательно, верностью еще более безосновательной, жертвоприношением торжественным, но бесплодным живого человека прекрасной покойнице. Наконец, по ту сторону отречения, верностью определенному будущему, менее бескорыстной, чем предыдущие, но выражающей себя так же: одиночество, болезненно сдерживаемая страсть к отцовству, добровольное изгнание. Так он постепенно стал, в сущности, отрицанием самого себя.

— Я не знаю, что это значит: жить как рыба в воде.

И все почему?

— Предполагаю, что я хотел дать Богу урок верности.

Бог, как большинство сильных мира сего, известен тем, что покидает верных ему. Белые армии шли в атаку с молит-

вой, с развернутыми хоругвями и были скошены богохульными пулеметами. Где были легионы ангелов и архангелов, которые могли спасти солдат Христа? Старая история: сам Христос не был спасен.

А с тех пор как Александр взялся за руки с врагами Бога, он постоянно чувствовал их поддержку, защиту. Питман сказал ему, улыбаясь: „Вы увидите, Александр Дмитриевич, вы ведь латинист: КГБ — *patria nostra*”. Когда ему нужно было оказать давление на Фурвере и Балландара, ему предоставили возможность это сделать. То же самое, когда он решил добиться успеха для Блюна; двадцать раз, когда ему нужна была помощь, она приходила, эффективная, а в случае необходимости, сокрушительная. Что же случилось теперь? Притворились, что приняли его в свою корпорацию, или и дьяволу случается бросать своих?

Александр ехал медленно, уверяя себя, что из осторожности, ибо дорога была скользкой. На самом деле он просто не знал, куда едет. Именно поэтому он поехал не по автостраде, а по национальной дороге: небольшая скорость даст ему возможность спокойно обдумать маршрут. Светящиеся в темноте часы показывали, что уже прошло три часа. Александр почувствовал, что его тянет в сон, и не знал, что же ему, собственно, делать. Вдруг он вспомнил о сидящей рядом с ним женщине.

Он сразу почувствовал раздражение: у него и так было достаточно забот. Потом он успокоился, ведь это была Маргарита, всегда облегчавшая ему жизненный путь. Она полулежала, откинув голову, и ее сомкнутые веки, тонко обведенные синевой, противопоставляли свою темноту ночной. Дыхание ее было мягким и ровным.

С неожиданной для самого себя нежностью он подумал „бедняжка”.

Александр был благодарен ей за двадцать лет внимания к нему, не безвозмездного, но плодотворного, за усилия, потраченные внешне для благосостояния агентства Псаря, а на самом деле — для успеха ГБ: Маргарита стала еще одним реле.

Он тихо остановил машину на обочине. Маргарита открыла глаза.

— Мы немного поспим, — тихо сказал Александр. — Глупо продолжать ехать. Я опущу вам поудобнее кресло.

Не сделав ни одного движения, она оказалась в лежачем положении. Мотор продолжал работать, чтобы не отключилось отопление. Александр выключил фары, потянул к себе портфель и приоткрыл его. Затем он опрокинул спинку своего кресла, положил портфель на колени и, просунув в него руку, крепко сжал рифленую большую рукоятку. Его забавляла эта игра в искателя приключений. Когда-то давно Питман говорил ему: „И вы будете еще воевать”. Но он не воевал так, как мечтал. Он закрыл глаза и погрузился в сон. Последняя картина проплыла перед глазами: электронные шахматы, которые он оставил включенными сегодня утром. Ему было любопытно, как сыграет компьютер: ладьей или слоном.

Несмотря на отопление, Александр проснулся от холода. Он с удивлением отметил, что его рука в перчатке из антилопьей кожи держала маленькую маргаритину руку в перчатке из шевро. Он не помнил, чтоб когда-нибудь совершал подобную неловкость: держать за руку секретаршу.

Но он совершил еще большую неловкость: спать рядом с женщиной, как бы целомудренно это ни было, всегда предполагает непредвиденный космический риск. Внешне каждый уходит в свой сон и уединяется там на то время, пока длится сон, узник своей крепости, тюремщик своей тюрьмы. Но кто знает, какое тайное влияние оказывают друг на друга два спящих рядом человека? Какое взаимное призрачное соращение может произойти между ними? А главное, когда спишь, где уверенность, что другой не разглядывает тебя самым нескромным взглядом, нескромным потому, что не можешь ответить тем же? Спать рядом с кем-то — это значит всецело отдать себя в его власть, и, никогда толком не вникая в причину, Александру было противно засыпать рядом

со своими эпизодическими любовницами. Чаще всего, чего бы ему это ни стоило, он вставал и ехал домой; в тех редких случаях, когда он принимал женщин в своей квартире, он спал в гостиной на диване и всегда закрывал дверь на ключ, чтобы никто не мог наслаждаться видом его спящего лица: „Как я могу допустить, чтобы кто-то видел меня таким, каким я сам себя не могу увидеть?” Только с Аллой он отказался от этих предосторожностей.

Его мог бы унижить или рассердить тот факт, что он пошел на риск с Маргаритой. Она была ему никто. А она видела его озабоченным, сомневающимся, уставшим, торжествующим, и он мог бы разгневаться на нее также за то, что разделил с ней эти последние часы забытья. Но эта усилившаяся близость не угнетала его. Он закрыл портфель и выпрямил свое кресло.

Ветровое стекло было покрыто снегом. Дворники дрогнули, но отказались работать. Александр открыл дверцу, сделал шаг и провалился в снег по щиколотку.

Окружающий пейзаж очаровал его. Коренной парижанин, он никогда не видел ничего подобного: волнообразная снежная поверхность, припухлости и вздутия, голые черные деревья, словно нарисованные детьми человечки. И поразительная тишина. Вдоль дороги кустарники с отяжелевшими под снегом листьями. По гигантскому полю виден диагональный и клинообразный след зайца.

Александр широко вздохнул.

Вдалеке он увидел колокольню, возвышающуюся над несколькими хибарками.

Маргарита была в машине, невидимая, как под палаткой.

Александр сделал несколько шагов. Ему было холодно, и он начал хлопать себя по спине, как, кажется, когда-то согревались извозчики. Его этому научил отец. Он постепенно ускорял темп движений, и кровь быстрее побежала по телу. Комочек снега с ветки упал ему на нос, и он почти вслух рассмеялся.

„Где я? Понятия не имею. Было бы весьма досадно, если б они это знали”.

Он никогда не чувствовал себя свободным.

„Это в первый раз”.

Он растер снегом лицо, неожиданно обретая прародительские жесты. Он его ел, снег, и пил.

Он открыл дверцу машины. Маргарита потеряла глаза.

— Доброе утро, Маргарита.

— Где мы?

Он рассмеялся:

— Не имею понятия.

Она выпрямилась, повернула к себе зеркало:

— У меня ужасный вид.

— Не заметил. Но если хотите освежиться, потрите лицо снегом. Я только что это сделал. Лучше быть не может.

Она, покачиваясь, вышла из машины. Когда она вернулась, ее щеки блестели. Она умылась снегом. И она смеялась, немного смущенно и почти кокетливо.

Александр счищал снег с ветрового стекла голой рукой, сняв специально перчатку, чтобы чувствовать приятное пощипывание мороза. Задвигались дворники.

— Маргарита, — сказал он, когда они вносъ сели в машину, — все это должно казаться вам, столь уравновешенной, полным абсурдом. В действительности... дело в том, что я не могу сказать вам правду. Но вам бы не хотелось, чтобы я подвергался тому же риску, что и Гаверин. Поэтому мы и цыганствуем. Через день или два все станет яснее. А теперь, если хотите, я подвезу вас к ближайшему вокзалу...

На ее покрасневшемся лице блестел нос:

— Месье, я нахожу все это забавным.

Впервые ли в жизни она употребила это слово? Во всяком случае она от души смеялась, попав в весьма необычную историю и удивляясь тому, что все это ее веселило.

— Хорошо. Пойдемте завтракать. Да и бензина у нас не так уж много. Надеюсь, мы быстро найдем заправочную, чтобы и машина могла позавтракать.

Приключение, еще вчера трагичное, в это утро становилось шаловливым. Мистически-реальный мир ГБ заволакивался дымкой. Так иногда снится, что нас настигло большое

несчастье... а потом мы просыпаемся. Приблизительно то же самое происходило с Александром. Его кошмар длился тридцать лет.

Они нашли хутор, на котором была бензоколонка, работавшая под командованием колдуньи, руководившей также и кофеваркой.

— Кофе, дамы-господа?

— А какао у вас есть? — спросила Маргарита.

И неизвестно почему, Александр тоже захотел выпить какао.

Когда они сели в машину и снова поехали на юг, все еще неизвестно куда, Александр начал рассказывать о своем детстве, словно возобновил прерванные размышления.

— Странно было расти, как птица в воде и рыба в воздухе. И если бы эта странность была вызвана только поведением моих одноклассников... но весь мир мне казался кривым. Когда я был маленьким — в ваше время, Маргарита, этого уже не было — все уроки в учебниках кончались резюме, которое нужно было заучивать наизусть. В частности, география. „Англия это остров, который производит много угля...” Не помню дальше. Но резюме о России я помню, потому что я выучил его наизусть, но отказался отвечать: „Россия это богатая пшеницей широкая равнина, населенная варварским народом”. Вы мне не верите? И тем не менее, так было написано. Для меня было важно получать хорошие отметки. Но тогда я почувствовал, что не могу произнести это. Дома я тихим голосом прочел этот текст отцу. Он сказал: „Если ты это скажешь, ты себя обесчестишь”. Сколько мне тогда было? Лет семь? Слишком рано, чтобы себя обесчестить. Я сказал учительнице: „То, что написано в учебнике, — неправда”. Она ничего не могла понять: такой вежливый, такой прилежный мальчик. И он бунтует? Я был наказан строже, чем обычно наказывали лентяев. Я страдал от этого наказания, но сцепив зубы, гордо. Я считал себя мучеником. И в некотором смысле я им был. В этом месяце я не стал первым в классе, но я отказался признать, что моя семья состоит из варваров.

А муки, доставленные мне французской энциклопедией! Меня учили в семье, что в России больше великих людей, чем в других странах. Я был готов согласиться, что это преувеличение, но все же отстаивал право на нескольких. А эта французская энциклопедия, в которой я находил по самым разнообразным темам множество превосходной информации, знаете, что писала о России?

Александр ехал, как он думал, наугад, а обрывки фраз, которые терзали его сорок лет назад, приходили в голову слово в слово.

— Например, Кутузов. Для нас он был полубогом, и нужно все же признать, что он отколотил Наполеона. Так вот, энциклопедия разделялась с ним весьма лаконично: „Кутузов (Михаил), русский генерал, разбитый под Москвой”. И все. А Суворов, которого энциклопедия упорно называла Суваровым! Его единственный подвиг состоял в том, что он был „разбит генералом Массена под Цюрихом”. А Мусоргский, у которого, оказывается, было невиданное имя „Петрович”! А Александр I! Знаете, чем он отличился? Он „боролся против Наполеона I, который разбил его при Аустерлице”! Как, по-вашему, может перенести все это эмигрантский мальчик, который ежедневно слышит от своих одноклассников: „Грязный русак! Возвращайся туда, откуда пришел!”

Маргарита слушала без комментариев, разрываемая, как можно было догадаться, жалостью и возмущением. Месье, ее месье, страдал от подобных оскорблений? Александр постепенно просветлел, согреваемый этой почтительной симпатией к нему.

Но между тем у каждой дороги своя судьба. Та, по которой ехал Александр, промелькнув сотней ничего не значащих указателей, вдруг привела его к знакомому перекрестку: два месяца назад он проезжал здесь с Гавериным и агентом по продаже недвижимости. Значит, неподалеку находился замок, окруженный железными решетками, который чуть не купил Гаверин и который вызвал зависть Александра. Ему захотелось снова увидеть этот замок.

— Вы не против, Маргарита, если мы сделаем крюк?

Как будто можно сделать крюк, когда едешь в никуда.

Он не умел ориентироваться вне города, кроме того, снег менял пейзаж, но он все-таки отыскивал нужную деревню: широкая улица, романская церковь, неуклюже реставрированная в XIX веке, телефонная будка на маленькой площади. Пустынная деревня спала под снегом. С тех пор как появилось телевидение, деревенские дома открывались, казалось, только внутрь, и прохожие в деревнях исчезли. Замок должен быть справа или слева, во всяком случае гораздо дальше.

Александр проехал еще два километра. Справа появилась аллея величественных деревьев; снег здесь был нетронутым. Он поехал по аллее с редкими, черными, покрытыми льдом рытвинами. Ржавые ворота жалко висели, поддерживаемые двумя каменными столбами, лишенными красоты, но не достоинства. Ключ был потерян или запор сломан, так как между прутьями была просунута цепь с висячим замком. Александр вспомнил, что агент по продаже недвижимости открывал этот замок с трудом.

— Месье, здесь живут ваши друзья?

Он отрицательно покачал головой. Он совсем забыл о замке. Ворота были трехметровой высоты, и железные прутья заканчивались пиками. Александр вышел из машины. Замок — его башенки, стрельчатый фронтон, маленькая колокольня — возвышался по ту сторону овальной лужайки, на которой росла трава и даже маленькие кустарники. Все это было покрыто снегом и напоминало белый рисунок на черной бумаге. Непрерывно дул холодный ветер. Время от времени тяжелый ком снега срывался с ветки и медленно падал на землю, как при замедленной съемке, когда убирают звук. Еще десять минут назад Александр мог бы обойтись без посещения этого замка, но теперь нет: его не остановят старые ржавые ворота! Ярое упрямство, помогавшее ему добиваться успеха в работе, вошло в силу.

Он перепробовал на замке все имеющиеся у него ключи, но только запачкал перчатки. Маргарита принесла ему и связку своих ключей.

— Маргарита, не стойте в снегу, промочите ноги!

Ключи от квартиры явно не подходили, и Александр начал искать большой камень. Маргарита, разгадав его намерения, стала тоже искать и нашла большой острый камень. Александр изо всех сил начал бить по замку, но безрезультатно. Он еле сдерживал ругательства, готовые сорваться с языка. В конце концов он ударил себя по пальцу и едва удержался от крика.

— Может быть, вы посетите замок в другой раз, когда владельцы будут дома? — предложила Маргарита.

— Я его уже видел и хотел показать вам. Не знаю, между прочим, почему какие-то паршивые ворота...

Он понимал, что это ребячество, но не чувствовал неловкости: лучше быть ребячливым до конца, чем отступить перед трудностями.

Он увидел, что одна из петель ворот сломана, и попытался отодвинуть ворота в этом месте. Мешал плотный снег. Он стал руками отгребать снег, и Маргарита, присев рядом на корточки, опять принялась ему помогать. Затем он слегка приподнял ворота и, толкая вперед, отодвинул от столба так, что Маргарита смогла на четвереньках проскользнуть в щель. Теперь она придерживала отодвинутую решетку, и Александр, таща за собой портфель, пролез в свою очередь.

Маргарита, отпустив ворота, весело смеялась. Александр пытался отряхнуть с ее пальто снег и ржавчину.

— Не надо. Отдам его в чистку. Но вы, Господи!

Ее охватывал ужас при виде нового плаща ее хозяина и одновременно смех от пришедшего в голову сравнения, которое она решилась высказать:

— Месье, вас как будто поджаривали на жаровне.

Замок был уродливым строением XIX века. У него были фальшивые бойницы и машикули, но вместе с тем от него веяло мощью и зажиточностью. Чувствовалось, что создавшее его общество верило в себя, в долговечность всего им созданного. Широкое крыльцо из двенадцати ступеней вело к большой скульптурно выделанной парадной двери, в ле-

углу которой ветер собрал горку снега. Дверь, естественно, была закрыта на ключ.

— Подождите меня.

По колено в снегу Александр обошел дом, безуспешно попытался добраться до окна, открыть служебную дверь. В нем зародилась надежда, когда он дошел до террасы, тянувшейся вдоль заднего фасада, на которую выходили четыре застекленных окна-двери. Чувствуя себя на завоеванной территории, Александр без особого колебания разбил бы стекло одной из дверей, но они были закрыты изнутри ставнями. Тогда он повернулся спиной к дому и стал созерцать замерзший пруд грязного белого цвета, снег, взвихряемый ветром, этим неистовым садовником, нагромождение рош и цветников. Дикие джунгли овладели этим местом, которое, несмотря на безвкусицу и завезенную гармонию, было когда-то посвящено некоему порядку, а следовательно, определенному замыслу.

Дом был построен на склоне, поэтому фронтальная часть имела дополнительный этаж. Сбоку Александр обнаружил дверь в полуподвал. Небольшой толчок — и он вошел в широкое квадратное помещение. Пол был выложен плитами. Помещение было плохо освещено тремя окнами, имеющими форму полукруга. Это, наверное, старая оранжерея. В полутьме Александр обнаружил деревянную лестницу и поднялся по ней, держа руку на простых брусчатых перилах. Он попал на маленький балкон, расположенный над оранжереей, и открыл первую попавшуюся дверь. Зеленый блеск указал, что он попал в винный погреб. Он приподнял несколько пустых бутылок и начал припоминать это место. Гаверин, решив, что ему хотят продать пустые бутылки по цене полных, счел себя вправе требовать понижения цены на дом. Александр вернулся на внутренний балкон. После почти совершенно темного погреба, оранжерея показалась ему ярко освещенной. Паутина висела на окнах, плыла на абажурах, имеющих форму перевернутых тарелок, набивала каменные углы. Александр нащупал выключатель, но электричество было отключено.

Он спустился, пересек оранжерею, нашел в темном углу другую лестницу, на этот раз каменную, и стал подниматься по ней. Он знал, что ему нечего опасаться, но все же, держа портфель в левой руке, опустил в него правую. Увлечшись этой игрой, он вытащил из портфеля револьвер и перекрутил его на пальце, как делают мальчишки, играя в ковбоев.

Он попал на первый этаж — в широкую анфиладу чередующихся салонов и вестибюлей. Наверное, приятно было устраивать тут приемы. Он представил себе хорошо воспитанных нуворишей, построивших этот замок; они приглашали местную знать и — для количества — удовлетворенных и вместе с тем озабоченных обывателей. Аристократы, смакуя мадеру хозяина, издевались над ним или делились конфиденциальными сведениями о размерах приданого обывательских дочек. Паркет скрипел, двери стонали, одно лепное украшение следовало за другим. В общем, Александру нравилась эта буржуазная гигантомания, свойственная эпохе, когда знать увлекалась исключительно изящным, и только буржуазия была еще способна на великое. Теперь и буржуазия, и аристократия пребывают в безнадёжности и разложении. Так им и надо: пусть гибнет тот, кто не верит в себя.

Прежде чем подняться на второй этаж, Александр сунул револьвер обратно в портфель и пошел за Маргаритой, которая тоже обошла дом, но остановилась перед дверью в оранжерею. Он взял ее за руку, чтобы провести через этот лабиринт: они прошли через подвалы, котельную, попали на первый этаж, прошли комнаты, открывая ставни, впуская где лучи, где столбы света; на втором этаже они заходили в каждую комнату, рылись в шкафах, находя пожелтевшие фотографии, пуговицы от ливреи, изумляясь металлическим ванным на львиных ножках; наконец дошли до чердака, чихая на каждом шагу и снимая с волос налипавшую паутину.

— Никогда не видела такого дома как этот, — сказала Маргарита.

Александр открыл кран. Ничего, кроме запаха ржавчины.

В Александре зрела идея. Эти два-три дня, необходимых ему для раздумья и анализа положения, почему бы их не провести здесь, где никто не будет его искать. Какой риск был в том, что агент по продаже недвижимости приедет показать дом возможному покупателю? В разгар зимы? Даже если это произойдет, то несколько банкнот и извинения быстро уладят дело. Но как замечательно будет поселиться здесь, как Робинзон Крузо на своем острове!

Вода? Есть снег. Тепло? В парке полно сухостоя. Продовольствие? Лимож всего в двадцати километрах.

Появилось одно сомнение. Каждый раз в детстве, когда он пытался привлечь товарища к какой-нибудь безумной затее, его постигало разочарование: слишком опасно, никогда не выйдет, совсем не смешно, что скажет папа. А ведь при определенном размахе игра в одиночестве не удовлетворяет, нужен сообщник. Способна ли Маргарита стать этим необходимым товарищем? Или она потребует центральное отопление и теплые чулки на смену? Но не выйдет ли он в какой-то мере из своей роли хозяина, предложив ей эту безумную дачную жизнь? Нет, решил он. Он, черт возьми, не мещанин и имеет право на воображение. Он даже тешил себя мыслью, что если Маргарита так верно служила ему, то именно из-за широты его взглядов.

— Маргарита, мы проведем здесь уик-энд.

Она захлопала в ладоши.

— Неужели вы действительно согласны?

Он был счастлив в своем несчастье.

— Да, но в таком случае нам нужно продовольствие, спички... Вы умеете готовить на костре?

Они поспешно отобедали в Лиможе, и бросились по магазинам, словно им предстояла осада. Александр был рад, что обрел наконец-то товарища для игры. Вскоре руководство операцией взяла в руки Маргарита; она составила список всего необходимого, сэкономила везде, где только было возможно, и сомневалась, стоит ли покупать кофеварку:

— Конечно, можно забрать ее с собою... И спальные мешки тоже...

Александр беспечно ответил:

— Нет, мы ничего не заберем, оставим все неизвестным владельцам, чьим домом мы пользуемся.

Куплены были: топор, пила, посуда, свечи, подсвечники (Александр настоял на подсвечниках), сковорода, крысоловка (Маргарита могла бояться крыс), вино, маринованная утиятина, солонина, деревенский хлеб, говядина (нельзя все время питаться консервами), шампанское (положим его в снег), виски, коньяк (Маргарита, вы ведь любите портвейн, нужно купить, — Александр с удовольствием обнаружил, что способен думать не только о себе), ирландские льняные салфетки, электрический фонарь, одеяла, два толстых свитера, соль, хрустальные стаканы, пластмассовый таз, зубные щетки, бритва... Все это нагромождалось в „Пежо“. За все, чтобы не оставлять следов, Александр платил наличными. Кроме того, он испытывал удовольствие от того, что потрошил эту толстую пачку денег во внутреннем кармане пиджака, не ощущая, что она становится меньше.

Они вернулись в замок и разложили покупки в маленьком салоне, обшитом деревом. Его выбрала Маргарита, хотя Александру понравилась огромная каменная зала: небольшое помещение будет легче протопить. Пока она устраивалась, лучший литературный агент Парижа углубился в парк, чтобы набрать дров. Он пилил, рубил, обдирая себе руки, роняя поленья на ноги, крихтя, хрипя, потея на морозе, напрягая все свои натренированные постоянными упражнениями мышцы, и чувствовал простое и глубокое удовольствие, размахнувшись топором с поленом на конце, раскалывать его ударом по другому полену.

Вечер придал синеву белой земле, резко выделил деревья на фоне неба, которое, казалось, светлело по мере того, как темнела земля. Коричнево-серые снежные облака спускались все ниже и ниже, словно гигантские дирижабли, и разрывались верхушками деревьев. Александр еще несколько

раз сильно размахнулся топором, чувствуя себя воином-дровосеком, наслаждаясь звуком удара, становившимся из-за сумерек и пошедшего снега все более глухим.

Он вносил дрова охапками, наваливая себе на руки с каждой походкой все большую тяжесть, и радовался лестным возгласам Маргариты:

— Что вы, это слишком тяжело, будьте осторожны...

Он небрежно сваливал дрова на паркет:

— Нет, нет, старик еще окончательно не скис.

Внеся последнюю охапку, Александр вернулся закрыть дверь, ведущую в оранжерею и даже забаррикадировал ее старым тяжелым столом. Затем он обошел все комнаты и закрыл ставни, распахнутые им раньше. Пруд отражал последний блеск дня, стоящие на берегу вазы тянули к небу свои уродливые силуэты. Он прошел сквозь вереницу пустых коммодов (только слабые тени на погасающих зеркалах), чувствуя ночной холод, проникающий в щели окон. Немного поплутав, он нашел салон, где его ждала Маргарита.

У нее было достаточно такта, чтобы самой не растопить по всем правилам камин. Но так как Александр занялся этим первый раз в жизни, ему понадобилось не менее часа на то, чтобы пламя бросилось на штурм деревянного нагромождения. Вначале тяга была плохая, но когда растаял забившийся в трубу снег, пламя резко выпрямилось, дрова затрещали и по стенам забегали, чередуясь, желтые и черные привидения. Огонь пыхтел, угли сверкали, потом тускнели и оживали опять.

— Ваше виски, месье.

Их руки соприкоснулись, и лица над стаканами — один профиль красный, другой черный — улыбнулись.

Ужин был необыкновенным и роскошным. Александр бросал пробки в камин и следил, как они превращались в раскаленные угольки. Он снова начал рассказывать о своем детстве, касаясь одной только темы: непонимания, с которым они столкнулись, его отец и он.

— А ведь Фош сказал: „Если Франция не была стерта с карты Европы, этим она обязана в первую очередь России”.

А Жофр в 1929 году, то есть через пятнадцать лет, подтвердил: „Я пользуюсь каждым случаем, чтобы отдать честь русским армиям и выразить им мою глубокую благодарность... Я никогда не забуду чудовищные жертвы, на которые пошла, героически и сознательно, русская армия, чтобы такой ценой заставить врага повернуть против нее”. А Манжен: „Союзники не должны никогда забывать об услугах, оказанных им Россией”. А Найлор: „Битва на Марне была выиграна казаками”. А Палеолог: „У нас никогда не было ни лучшего ни более верного друга, чем Николай II”.

Все эти скучные изречения, которые отец знал наизусть, приходили в голову Александру, и он монотонно повторял их громовым голосом, изливая наконец накопившуюся в нем желчь.

— Жофр знал больше тех, кто говорили с отцом только о русском займе!

Огненный отсвет плясал в стакане с бургундским. Маргарита, надев один из купленных свитеров, слушала, поджав под себя ноги, отвечая едва слышными жалобными звуками.

Александр пил. Другие картины приходили в голову.

— Псарь! Меня, конечно, называли Царь. Со злобой! Но цари в конце концов... Кто бы смог сделать лучше? Мой род не очень древний. Вы слышали об Иване Грозном? Он создал себе личную охрану: опричнину. И у него был псарь, которого все так и звали, потому что псарь — это „слуга собак”, а его настоящего имени никто не знал. Он был одним из самых верных и самых беспощадных опричников. Опричники привязывали к седлу собачью голову и метлу: собачья голова — символ бдительности, метла — символ искоренения измены. Они изображены на нашем гербе. Древние рода издевались над нами: „У них герб пустой, вот они и прилепили на него отличительные знаки своего сословия”. Но зато о нас выдумали поговорку: „Я в милости у царя, но не у псаря”. Это означало, что царь меня жалует, но если псарь не любит, то дело плохо. Об этом шептались бояре. Да, мы были новыми людьми, в каком-то смысле большевиками.

Маргарита слушала. Ее щека задубела от прерывистого и мощного каминного огня. Александр время от времени подкидывал в камин по полену, просто чтобы увидеть поднимающийся сноп искр.

Его бессвязные воспоминания все время возвращались к Дмитрию Александровичу.

— Сколько он выстрадал! И все зря! Для него было бы лучше погибнуть, сражаясь с красными.

— Тогда бы вы не родились, — прошептала Маргарита.

Он рассказал жалкую историю о крестьянине, вызванном на дуэль.

— А у вас даже матери не было.

Он не помнил, как обнял Маргариту. Только почувствовал, как прижимается своими губами к ее пахнущим дымом и раскаленным, как огонь, губам. Это ощущение привело его в себя. Он с ужасом подумал, что пользуется верностью и состраданием этой женщины. Он отстранился:

— Простите. Не знаю, как это получилось.

Маргарита, почти повиснув всем телом на его руке, обнимавшей ее за плечи, ответила:

— Но я люблю вас, месть.

Над их головами еще долго огненно рыжел потолок, даже когда восхитительно сухой жар перестал покусывать их обнаженные тела. Александр уснул с мыслью, что впервые в жизни обнимал француженку, которая так нежна. Француженки чувственны — да, сентиментальны — факт, но нежные? Эти размалеванные женщины, бьющие по щекам своих детей? Он всегда считал, что нежность — удел славян. Он погрузился в сон, радуясь тому, что ошибся.

Маргарита изо всех сил боролась со сном, щипала себя, вонзала ногти правой руки в ладонь левой.

Когда она убедилась, что Александр полностью расслабился, как бывает только в глубоком сне, она, не сводя с Александра глаз, встала и оделась. Подбросила поленьев в камин и, осторожно ступая, чтобы не закрипел паркет, вышла,

держа в руке электрический фонарь, в коридор. Она спустилась в оранжерею, разобрала баррикаду Александра и вышла. Она сразу промочила ноги и ободрала икры о колючки. Она вышла из ворот, отодвинув решетку и заблокировав ее затем большим камнем, чтобы пролезть обратно. Она могла бы взять ключи от машины: она видела, куда Александр положил их, но боялась, что шум мотора может его разбудить. Поэтому она пошла пешком в сторону деревни. К счастью, она никогда не любила туфель на высоких каблуках: но даже в ее городских туфлях было трудно ходить по снегу. Ей понадобилось сорок минут, чтобы пройти два километра.

Деревня спала, как в сказке.

Маргарита нашла телефонную будку, опустила в щель пятифранковую монету, набрала номер. Куда звонила она? В чей-то кабинет? В чью-то спальню? Она не знала. Она долго ждала. Наконец сняли трубку, но не произнесли ни слова. Она начала сама:

— Говорит Лайка. Я в телефонной будке, и у меня мало мелочи.

Мужской голос ответил:

— Спокойно. Записываю.

Она рассказала обо всем случившемся за последние тридцать шесть часов. Упомянула о портфеле: „Он с ним не расстается. В настоящий момент он на нем спит, как на подушке”. Затем дала номер машины, название деревни, сказала, как найти замок и как можно проникнуть в него.

— Сожалею, что пришлось прибегнуть к крайним мерам, но я следовала данным мне указаниям. У него совсем сдали нервы. Это нужно было, чтоб вернуть ему доверие к себе.

Мужской голос произнес:

— Вот и хорошо, продолжайте.

Связь прервалась.

Маргарита вернулась в дом, стараясь попадать в оставленные ею следы. Она чувствовала, что серьезно простудилась, но ей было наплевать. В какой-то мере этого момента она ждала двадцать два года.

Двадцать два года назад, будучи студенткой юридического факультета, Маргарита любезничала со всеми коммунистами, которых встречала. Ее отец погиб в Индокитае, и этого она не могла ему простить. Она мечтала только об одном — стать членом партии. Однажды новый товарищ, который был старше других, отвел ее в сторону: „Ты действительно хочешь серьезно работать? Это не болтовня?” Он посасывал окурок, глядя на нее исподлобья. Она доверилась этому кудрявому малому с зелеными глазами, порвала все связи с крайне левыми, бросила университет, закончила курсы секретарш, набралась опыта, а затем ей дали связного и задание: следить за Псарем, этим исчадием реакции. Каждую неделю она писала отчет о деятельности агентства и его директора, составляла список встреч, делала копии всех писем, рассказывала о важных телефонных разговорах, не забывая ни одной детали. Время от времени она беспокоилась:

— Он не такой уж правый. Во всяком случае, он не занимается никакой тайной деятельностью, я гарантирую. Вы уверены, что не ошиблись? Я не хотела бы зря терять время.

Иногда ее одергивали: „Занимайтесь своим делом”. Иногда успокаивали: „Он не тот, за кого себя выдает. Когда-нибудь вы поймете”. Издание „Русской правды” и организация Братства обнадежили Маргариту: конечно, Псарь был антикоммунистом, он хотел зла Советскому Союзу, куда она два раза ездила и где ее так хорошо принимали. Она была далека от мысли, что, будучи простой секретаршей, имеет право на такой прием, но именно Советский Союз умел ценить оказанные ему услуги, в то время как Франция ничего особенного не сделала для старшего сержанта Терьена, который погиб за нее у черта на рогах. Она обожала своего отца, которого теперь ненавидела — чтоб наказать за то, что он погиб.

Она снова прошла в дом. Псарь даже не изменил положения. Она смотрела на него несколько секунд: он лежал на боку с полуоткрытым ртом, с раскрасневшимся от огня лицом и прижатой к портфелю щекой. Когда она вот так смотрела на него сверху вниз, он терял надменность своей красоты, а спящий — свой авторитет. Это был всего-навсего немо-

лодой мужчина, лежавший, поджав по-детски ноги. Он мог бы внушать жалость, но у Маргариты не было к нему жалости. Это был — ее довольно хорошо вымуштровали по этому вопросу — классовый враг, и непристойно испытывать к нему жалость. Она служила ему верой и правдой только потому, что была уверена, что оказывает ему этим плохую услугу. Он был белогвардейцем, контрреволюционером. Отец Маргариты был всего лишь сержантом (ездил во втором классе, не имел права зайти в офицерский клуб), но он тоже был контрреволюционером. И все же в народной армии он был бы по меньшей мере полковником.

Растирая ноги виски, Маргарита спрашивала себя, ненавидит ли она своего хозяина. Нет, ей было приятно работать у него, чувствовать, что необходима ему, но все это ради агентства, а не человека: ей нравилась работа. Человек, который дал ей эту работу ни очаровывал, ни отталкивал ее — это был классовый враг и все.

Продрогнув, Маргарита проскользнула под одеяло и крепко прижалась к Александру. Она отбирала тепло у классового врага — эта мысль ей нравилась.

Г л а в а 9

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Прости, что бужу тебя, Петюша, но мне кажется, что твой начал чудить.

Никитин, белокурый, очень спокойный молодой человек, позвонил в дверь Петра в три часа ночи.

— Заходи. Садись. Рассказывай.

Петр накинул поверх полосатой пижамы черный в золотых разводах японский халат.

Никитин, связной Маргариты Терьен, сел, закинул ногу на ногу и закурил.

— Моя позвонила.

Он рассказал все, что только что узнал, заканчивая каждую фразу несколькими колечками дыма.

Петр ничуть не удивляется. Он прекрасно чувствовал, что Опричник находится накануне увольнения.

Именно поэтому, выполняя приказ Питмана, он пытался взять Опричника в руки. Это не дало никаких видимых результатов, даже наоборот. Что ж, бывает.

Больше всего Петра беспокоит вся эта история с портфелем. Сам он уверен, что никаких важных документов Опричнику не оставлял. Но его предшественники могли допустить оплошность. И даже без секретных документов... если Опричник все эти тридцать лет вел дневник (он его, очевидно, хранил в сейфе банка в Понтуазе) и если он отнесет его французам, будет скандал. И ясно, что Петр, виноват он или нет, станет козлом отпущения. Не снести ему головы, это точно. Фигурально, конечно, но хорошего в этом мало. Ну вот, пожалуйста, и изжога начинается.

— Держи меня в курсе дела, — отсылает он Никитина.

— Если твой малый такой, каким я его представляю, то даже если ты вернешь его на путь истины, придется искать ему другую секретаршу. Он вроде не из тех, кто лапает своих служащих.

— Сделаем все, что будет нужно.

Никитин ушел. Петр принял таблетку от изжоги.

Ничего не поделаешь: придется связаться с Можжухиным, прямым начальником, — резидентом. Можжухин знаменит, насколько можно быть знаменитым в секретной службе. Прожив на нелегальном положении во Франции двадцать лет, он в конце концов был разоблачен, но успел вовремя удрасть. И с ним случилось нечто уникальное в анналах ГБ: ему удалось сделать вторично карьеру, уже легально. Он холостяк, каждый день выпивает свои полтора литра, сам штопает себе носки, подкладывая булочку, которую потом съедает. Петр предпочел бы пойти на кабана с рогатиной, на медведя с ножом, чем будить Можжухина в три часа ночи.

— Товарищ полковник, могу я прийти к вам?

— Ты начал работать на умников из нового управления. Я тебя больше не знаю.

— Товарищ полковник, меня же перевели против моей воли. Я бы предпочел остаться под вашим началом, вы же знаете.

— Плевать я на тебя хотел. Звони в Москву, я хочу спать.

Петр быстро одевается, садится в машину, пересекает Париж и, добравшись до своего кабинета, по спецтелефону звонит в Москву.

Звонок автоматически переключается из особняка Ростопчиных на личную квартиру Питмана.

— Солнце еще даже не встало. Ты же знаешь, что я теперь не усну. Ты совсем не думаешь о моем здоровье, — ворчит рыхлая Эличка, ставшая на старости лет брюзгливой.

Питман ее не слушает; он слушает озабоченный голос из Парижа. Бегство. Портфель. Я не виноват, товарищ генерал. Если французы разоблачат операцию „Твердый знак”... У Питмана среди Шапок-Невидимок есть враги: в первую очередь все антисемиты, которые будут очень довольны, если операция провалится. Впрочем, одно светлое пятно: секретарша, стоившая довольно дорого и посылавшая в течение двадцати лет отличные, но никому не нужные отчеты, оказалась рентабельной. Второе светлое пятно: если Псарь прячется в этом замке, еще есть время схватить его за шиворот. Что у связного не хватило такта? Или сам он, Яков, зря натянул поводья? Он всегда готов признать, что допустил ошибку, но в данном случае он продолжает считать операцию „Твердый знак” слишком важной, чтобы всецело предоставить ее инициативе простого агента влияния, какими бы ни были его качества. Ни на секунду не пришла в голову генерал-лейтенанту мысль, что всему виной возвращение Аллы Кузнецовой в распоряжение его Управления.

Что теперь делать? Может быть, это ложная тревога: у Опричника тайная встреча с каким-нибудь членом Братства или он просто решил провести несколько дней в романтической обстановке со своей секретаршей. В этом случае его можно упрекнуть только в том, что он не предупредил Петра об отъезде; в любом случае нужно действовать очень осторожно, по-саперски. Если б еще Эличка не ворчала рядом, Питман мог бы все спокойно обдумать.

— Вот что вы сделаете. Вы немедленно отправитесь в этот дом и скажете Опричнику, что у вас для него хорошие ново-

сти. Вы привезете его в Париж и будет мне постоянно докладывать о его психологическом состоянии. Если вы думаете, что личная встреча со мной может помочь — ведь это я его завербовал, мы старые друзья, — то скажите мне без колебания. Если сообщение о продвижении по службе может послужить... (Питман запнулся: он был скуп на расходы, на звания, но решил на этот раз попасть в цель.) Скажите ему, что мы довольны развитием операции, что, кстати, чтобы руководить операцией такого масштаба, нужен по меньшей мере генерал и что... (Питман так и не решил, нужно ли кооптировать Псаря в генералы) его ждет приятный сюрприз.

— Хорошо, товарищ генерал. (Питман очень хотел, чтобы подчиненные называли его по имени-отчеству, как делал Мохаммед Мохаммедович, но с некоторых пор „Моисеевич” явно плохо звучало.) Но как я объясню Опричнику, что смог его разыскать? Выдать секретаршу?

— Вы хорошо сделали, что подняли этот вопрос... Нет, секретарша нам еще нужна. Мы придумаем объяснение, когда будет нужно. А пока сыграйте на репутации нашей вседушности. Ничего определенного: говорите намеками. И не забывайте, что главнейшая задача — найти Опричника и помешать ему перейти к французам, если он намеревается это сделать. Любой ценой.

Начальство любит употреблять выражения типа „любой ценой”: они довольно неясны, и в случае неудачи можно прикрыть ими любой приказ.

— Товарищ генерал?

— Что еще?

— Должен ли я... вооружиться?

Петр задал этот вопрос со смущением в голосе. Эти хитрецы из Управления А относятся к оружию с подозрением и презрением. Но лучшим способом проверить, что же на самом деле значит „любой ценой”, было спросить, нужно ли иметь то, чем платить эту цену.

Питман тяжело вздохнул:

— Я думаю, да... Но, ради Бога, постарайтесь по возможности не пускать его в ход. Действуйте лаской, умом...

Эличка уже похрапывает, а Яков Моисеевич уже не уснет. Операция „Твердый знак”, самая крупная операция в его карьере, — в опасности. Он тихонько встает, одевается, и отправляется в свой кабинет. Если будут еще звонить, он сможет говорить здесь: Эличка будет спокойно спать, а ему будет проще принять необходимые решения.

Часть Управления была переведена в новое здание, на кольцевом бульваре, но Питман сохранил свой кабинет с его старинной мебелью, толстыми занавесками с бахромой и кисточками, с дежурными, у которых круглосуточно кипел самовар.

Яков Моисеевич долго ходит взад и вперед, ступая своими грубыми военными ботинками по коврам, подделанным под старинные. Он почти сожалеет, что принадлежит к Шапкам-Невидимкам, т. е. что не имеет права поехать в Париж. „Если бы я мог встретиться с этим Александром Дмитриевичем, которого знал мальчишкой, которого завербовал на башне собора Нотр-Дам, я бы быстро привел его в чувство”. Потом ему пришла в голову идея пригласить Псаря на день-два в Москву, в нашу матушку Москву златоглавую... „Да, это произвело бы на него впечатление — спецсамолет! Мохаммед Мохаммедович был бы против, но скорее по какой-нибудь мистической причине, чем профессиональной. Да, принять его как победителя, надеть на него мундир, найти женщину... Да, время от времени нужно быть щедрым и великодушным, чтоб креп боевой дух ”.

Питман мечтает, а Петр все не звонит.

Густой снег покрывает площадь Дзержинского. Теперь наверняка можно будет покатать Святослава на тройке.

Александр проснулся в лихорадке, но таким жизнерадостным, каким уже давно себя не чувствовал. Он еще долго лежал, смотрел на белое окно и думал, что пойдет снова рубить дрова и что это очень приятное занятие.

Прошло не так уж мало времени, пока он почувствовал присутствие Маргариты и вспомнил все, что произошло.

„Я люблю вас, месье”. Давно ли она его любит? А он ничего не замечал! Положение станет трудным, если он решит продолжать игру, сохранить агентство. „Я хам, воспользовавшийся моментом. И если б она знала, на кого я работаю!” Он будет вынужден найти другую секретаршу: любовнице не дают печатать письма. Он даст Маргарите нужные рекомендации. Если нужно будет, заставит Фурвере найти Маргарите подходящее место. А пока... Пока он снова обнял ее не без довольно низкого расчета: „Раз уж я сделал глупость, почему бы ею не воспользоваться?”

Потом он, набрав снега в пластмассовый таз, умылся. У него дрожали руки от лихорадки, и он несколько раз, брясь, порезался. Затем он набрал снега для Маргариты, а сам пошел в парк рубить дрова. Из-за высокой температуры ему было тепло. Когда он вернулся, Маргарита уже разожгла камин с помощью нескольких картонных ящиков и сварила кофе, отвратительный из-за запаха дыма, но и чудесный потому, что это был их дым.

Маргарита потянулась:

— Мы настоящие владельцы замка.

Раздался отдаленный колокольный звон. Несколько надтреснутые звуки медленно плыли по насыщенному снегом воздуху, но в конце концов доходили, звеня оконными стеклами. Сколько веков уже звонит так колокол? „Это голос Франции зовет меня”, подумал Александр.

Откровенность, с которой он накануне рассказывал Маргарите о своем детстве, как-то раскрепостила его.

Он сказал:

— Если мы владельцы замка, то должны пойти к мессе.

Никогда еще он не отдавался с такой полнотой во власть своего инстинкта или своей судьбы, но сегодня он чувствовал в себе жажду мира, отказа от борьбы. Идея пойти на мессу развеселила Маргариту. Почему бы и нет? Ведь было Рождество, и они находились в каком-то фантастическом мире.

Туфли, поставленные Маргаритой возле камина, затвердели от огня, но были почти сухими. Кашляя, чихая, прихо-

дя в восторг от очередного безумия, она согласилась пойти на мессу, впервые со времени гибели отца.

Церковь была огромной, пустой и холодной. Нет, не совсем пустой. Около тридцати прихожан сгрудились на передних скамьях. Красная лампа была единственным живым пятном среди серости камня, коричневых скамей, тусклых волос и озябших затылков. Монотонный колокольный звон прекратился. Тишина подчеркивалась кашлем, шепотом, скрежетом стула по полу.

Вошла процессия. За крестом шли дети в костюмах. Александр не сразу понял, что они изображали рождественских персонажей: маленькая девочка с куском красной ткани на голове держала в руках голую куклу, мальчик с бородой из пакли и другой с раскрашенным углем лицом были в коронах из позолоченного картона, третий нес в руках коробку с драгоценностями, еще один размахивал кадилом, завершали шествие мальчик и девочка с посохами в руках и наброшенных на плечи овечьих шкурах, которые вели ягненка; ягненок упирался, и мальчик ударил его ногой в живот.

Позади детей в бело-зеленой ризе шел вразвалку священник: серое лицо, серые волосы, маленькие, как у хорька, глаза, казалось, подсчитывали прихожан. Бедный, он был, очевидно, изнурен: он должен был обслуживать десять приходов, и это была его пятая рождественская месса. Все пели хором нечто, где „руки” рифмовались с „муки”, а „свет” — с „завет”.

Когда дети стали на свои места перед картонной пещерой, а девочка положила свою куклу на охапку соломы, священник, складывая и разнимая руки, произнес плаксивым голосом краткую проповедь.

— Друзья мои, я хочу попросить вас об одной вещи. Вам это покажется странным. Но вы вполне можете сделать это для Господа Бога. Если хотите, сделайте это для меня. Я знаю, что вы любите детей, я тоже люблю их. Но здесь, в церкви, даже те, кто уже купил фотовспышки... Дети поняли великое значение того, что они делают. Не нужно тол-

кать их на путь суетности. Так что, я прошу вас, это трудно, я знаю, но... я вас очень прошу: не фотографируйте.

Несколько уже приготовленных фотоаппаратов мгновенно исчезли, и Александр почувствовал уважение к священнику, который не шел на все компромиссы и старался сохранить в своей церкви хоть частицу святости.

Началась месса. Ее убогость подавляла, вульгарное музыкальное сопровождение подчеркивало безвкукусность куплетов. Александр, помнящий строгое величие григорианского ритуала, посещавший иногда православные церкви, ничего не мог понять в этой пародии протестантской службы с повторениями и тривиальным, почти простонародным языком.

Он подумал: „Наверняка здесь не обошлось без Управления, невозможно себе представить, что Церковь сама отказалась от красоты службы, которая дает людям, живущим на земле, представление о Царстве Небесном. Quos vult perdere Directoratus dementat.* И все же, мне кажется, Учитель явно предпочел Марию, а не Марфу”.

Несмотря ни на что, он почувствовал что-то мистическое, хотя и не мог объяснить что именно. Возможно, Святой Дух менее требователен, чем Александр; возможно, решил смиренно терпеть богохульство систематического уродства; возможно, неопровержимое таинство вмещали в себя слова и жесты службы. Когда после своей бесцветной проповеди серый священник начал наводить порядок в алтаре, Александр почувствовал нежность, потом смятение. То, что происходило перед ним, вся сцена с посудой, хлебом, вином, ребенком, держащим сосуд с водой своими красноватыми крестьянскими руками, — было наполнено, несмотря на суетность всего окружающего, мистическим смыслом. Люди и пришли для этой сцены. Для нее пришел и священник. Она не видоизменилась, или совсем мало, за две тысячи лет. В Александре зрело великое примирение с собственной судьбой, и он был бы доволен, если б оно произошло под знаком

* Воистину Управление лишает разума тех, кого хочет погубить.

сверхъестественной реальности, униженной, опозоренной, но в конце концов неделимой.

Александр всегда упрекал Бога, что Он бросает своих, но здесь казалось, что Бог отказывается от Самого Себя, однако вновь чудодейственным образом обретает Себя. Может быть, во всем этом заложен более глубокий смысл, чем представлял себе Александр? Когда механизмы Бога дробили и перемалывали верующих, не было ли это для того, чтобы превратить их в так называемое Божье сырье? В Божью муку? Не был ли Христос по природе своей все терпящим, и соединиться с Ним поэтому можно, только перенося все муки, идя даже на мученичество, терпя одиночество, бедность, вплоть до глупости? Может быть, чтобы понять все это, пришел Псарь в эту деревенскую церковь?

„Может быть, — подумал Александр, — необходимо очищение. Может быть, слишком много на свете кардиналов со шлейфами, монсиньоров, слишком много возвышенной, но мирской музыки окружает Церковь... Но может быть, Церковь такая же организация, как всякая другая...” Все это не нравилось Александру. Он хотел, чтобы епископы носили митру и посох, напоминая людям, что они не от мира сего, что, когда они решат окончательно „вернуться”, их небесная родина примет их.

„А я? — спросил себя Александр. — Хочу ли я по-прежнему 'вернуться'?”

Но когда приходят из никуда, куда возвращаться?

После мессы, Александр и Маргарита, чувствуя на себе любопытные взгляды местных жителей, вернулись в замок. Маргарита заявила, что приготовит обед.

— Принесите мне, пожалуйста, снега.

Она его уже не называла месье, еще не называла Александром и почти командовала им. Он взял таз, но не забыл захватить с собой и портфель. Она не решилась спросить, почему он с ним не расстанется. Он и сам не знал, почему не хочет сказать Маргарите о револьвере. Просто боялся показаться смешным или не хотел признаться ей, что нарушает закон.

Они собирались сесть за стол, как они говорили, то есть сесть на пол перед двумя явно пригоревшими бифштексами, когда Александр, у которого был тонкий слух, услышал скрежет железа о железо. Он бросился к окну. Человек маленького роста, в почти черном макинтоше, стянутом поясом, тянул на себя решетку, чтобы проникнуть в парк. В конце аллеи видна была машина, которую он оставил там, чтобы не привлечь внимания шумом мотора.

Не двигаясь с места, Маргарита спросила:

— Что это?

Александр только что сказал ей, что любит перец, и она второй раз посыпала перцем его бифштекс.

Маленькому человеку удалось пролезть под решеткой. Он встал, вытер покрытые ржавчиной руки и осмотрелся. Его взгляд упал на следы в снегу, и он пошел по ним, время от времени смешно встряхивая ногами, сбрасывая налипший на ботинки снег.

— Ждите меня здесь.

Александр схватил портфель и выбежал в коридор. Выбегая, он отдал себе отчет, что уже разработал план обороны, очевидно, еще в то время, когда рубил дрова. Он спустился по каменной лестнице. Когда пересекал оранжерею, заметил промелькнувшую перед полукруглым окном тень. Он поднялся по деревянной лестнице, ведущей в винный погреб, и остановился на маленьком балконе. Оранжерея осталась внизу.

Человек в черном толкнул входную дверь, и Александр видел, как он сгибаясь и разгибаясь, разбирал баррикаду.

Александр бесшумно открыл портфель и вытащил револьвер. Он поставил портфель у своих ног и, защищенный темнотой, замер. Горло сжималось, сердце билось быстро и сильно, но руки больше не дрожали.

Человек вошел. Он был в десяти метрах от Александра, возвышавшегося над ним на трехметровом балконе. Если бы человек повернулся вправо, он увидел бы деревянную лестницу, но он даже не взглянул в ту сторону: он знал, куда идет. Он направился к невидимой ему каменной лестнице.

Александр беззвучно шевелил губами, затем глубоко вздохнул. Человек уже дошел до середины оранжереи, еще четыре метра, и он достигнет лестницы.

— Петр, — позвал Александр.

Человек замер, затем медленно повернулся. Его глаза пытались разглядеть в темноте, откуда шел голос.

— Где ты?

На его треугольное лицо сквозь покрытые паутиной грязные окна падал бледный свет. Маленькие усы топорщились.

Александр с отвращением подумал: „Усатая гадюка“. Он взвел курок.

— Где ты? — раздраженно повторила усатая гадюка.

Александр подумал, что он должен спросить у Петра, каким образом тот его нашел. А к чему? Нашли же они Гаверина. Но он, Псарь, не даст себя повесить, как Гаверин.

Он прицелился. В закрытой и пустой оранжерее выстрел был оглушительным.

Пуля попала в область левого плеча. Петр не сразу упал, а был отброшен назад влево. Для забавы Александр заставил его отпрыгнуть в противоположную сторону пулей в правое плечо.

Александру захотелось по-русски изматерить эту разваливающуюся перед ним на куски марионетку, но он не сделал этого из уважения к смерти. Одновременно он подумал со странным сладострастием:

— Я убиваю безоружного человека.

Третью пулю Александр всадил Петру в грудь, он снова покачнулся, но на этот раз ноги его подогнулись, и он начал падать так, словно не мог решить: упасть на живот или на спину. Четвертой пулей Александр раздробил ему череп. Несмотря на лихорадку, на ярость и панический страх, Александр стрелял хорошо и остался доволен собой.

Эхо выстрелов, эхо от эхо — еще катилось по оранжерее, пыль, поднятая взрывами, все еще оседала.

Александр спустился по деревянной лестнице и остановился над трупом, который издавал неприятный запах: мочевой пузырь и кишечник не выдержали. Александр не знал,

что это случается довольно часто, он все еще думал, что поля сражений заполнены запахом пролитой крови. И он несправедливо решил: „Ничего удивительного. Значит, Петр был трусом”. И сквозь зубы процедил:

— Большевик!

Как будто сам он им не был.

Тело лежало на боку так, что был виден выход одной из пуль. Рана от большой пули, да еще с полым наконечником, была ужасной: пуля вырвала большой кусок мяса; куски мяса, рубашки, пиджака, макинтоша образовали сплошное месиво, кровь вытекала ровной струей, но все медленней, и, смешиваясь с пылью, образовывала на полу застывшую корку.

Александр снова поднялся по деревянной лестнице за портфелем. У него дрожали колени, он ощущал легкую тошноту, но держал себя в руках. Впрочем, он отметил, что у него снова начали дрожать руки, когда он перезаряжал свой револьвер. Один патрон выскользнул из рук и откатился в темный угол. Две-три минуты он искал его: отыскать патрон казалось ему важным, словно по патрону могли найти его револьвер.

Удовлетворенный, он заткнул револьвер за ремень, взял портфель (странный картина: деловой человек с оружием на боку) и, сделав круг, чтобы обойти труп, пересек оранжевую и поднялся по каменной лестнице. Он был уверен в предательстве Маргариты; он только думал, что же с ней делать. Конечно, нужно было бы ее убить, но в нем было сильно происхождение: он чувствовал, что не способен выстрелить в женщину.

Маргарита, как всегда тактичная, решила освободить его от проблемы выбора: ее не было в маленьком салоне, и, обойдя первый этаж, он обнаружил, что одна из стеклянных дверей большого салона распахнута. На снегу виднелись следы. Он мог бы броситься в погоню. Настигнуть ее. Но зачем, раз он уже знал, что не убьет ее? С гадюкой — совсем другое дело... Он возненавидел Петра с первого взгляда; кроме того, он сделал это, чтобы не кончить, как Гаверин,

с петель на шее, а потом, всаживая пулю за пулей в эту гадюку, он чувствовал, что платит старый долг.

Александрю пришло в голову, что, возможно, Петр пришел не один. Но подкрепление явно запаздывало. Может быть, они устроили засаду в парке? Увидим. Он вернулся в маленький салон. Огонь в камине гас. Александр выглянул в окно: „Пежо” исчез, очевидно, взятый Маргаритой. Он полез в карман своего плаща: ключи от машины действительно пропали.

Спокойно он вытер платком все вещи, к которым прикасался, но скорее потому, что видел это в фильмах, чем из практических соображений. Затем он спустился в оранжерею и, стараясь не дышать, заставил себя обыскать мертвого большевика. Сначала он нашел то, чего не искал: чехословацкий автомат VZ-62, который, со сложенным прикладом, был не больше автоматического пистолета, но мог выпустить до 700 патронов в минуту. Ему захотелось забрать его как трофей, а главным образом потому, что он любил оружие, но он подумал, что ему будет противно пользоваться оружием, особенностей которого он не знает. (Было бы у него больше опыта, он знал бы, что оружие, стреляющее с такой скоростью, не может обладать какими-то особенностями, с которыми нужно считаться, но Александрю были свойственны все недостатки хорошего стрелка, и он решил не брать автомат.) В другом кармане он нашел то, что искал: ключи от машины.

Он думал, стоит ли зарывать труп, но эта операция показалась ему слишком сложной: у него не было ни кирки, ни лопаты, он устал, его снова лихорадило... Впрочем, недостаточно только зарыть труп, нужно смыть все следы крови, которая уже засохла на плитах. В любом случае, если его преследует ГБ, то труп, оставленный в этом доме (до весны здесь все равно никто не появится), не может усилить опасность, нависшую над ним.

Он вышел, не прячась, в парк. Если есть засада, пусть открывают огонь! Он ответит. Но в парке никого не было, и аллея была пуста, как и автомобиль Петра. Александр завел мотор: а теперь куда?

В четырнадцать часов Маргарита позвонила своему связному.

Никитин был, как всегда, спокоен:

— Что случилось?

— Я не знаю, не знаю!

— Дура! Возьмите себя в руки, вернитесь и посмотрите.

— Я боюсь.

— Бойтесь?

Он выпускал колечки дыма, чтоб успокоить собственные нервы.

— Я испугаю вас гораздо больше. Хотите, я сделаю так, что вас арестуют французы? Не контрразведка. Тайная полиция. Они заставят вас выплюнуть с зубами все, что вы знаете.

Маргарита вернулась в замок. Машина, стоявшая у входа в аллею, исчезла. Обессиленная, Маргарита подумала, что не сможет приподнять решетку ворот. Она порвала перчатки, сломала ногти, ободрала руки, но все же смогла это сделать. На пути к дому она резко дергает пальто, цепляющееся за колючки, оставляя повсюду клочья... все равно, все равно.

Дверь в оранжерею осталась открытой. Маргарита входит. Через несколько секунд она выходит, шатаясь. Ее рвет. Она думает: был ли ее отец похож на то, что она только что увидела?

Она начинает бежать к воротам, спотыкается, падает в снег, поднимается. Вдруг ей становится стыдно:

— Я? Коммунистка? Дочь унтер-офицера французской армии?

Она берет себя в руки.

Теперь она медленно идет к воротам, стараясь не видеть то, что у нее перед глазами: деревья, решетку, машину.

Только оказавшись перед телефонной будкой, она, примерная секретарша, обнаруживает, что у нее нет мелочи. Ей снова становится стыдно: „Тупица: зачем я отдала всю мелочь в церкви?“ Она едет до следующей деревни, находит заправочную станцию, разменивает деньги, но здесь нет телефона. Она находит его еще через десять километров.

Она звонит. Докладывает.

Никитин говорит спокойно — ему уготована блестящая карьера:

— Когда вы были в Понтуазе, вы его ждали около получа-
са в кафе, не так ли?

— Да.

— Почему же вы мне оттуда не позвонили?

Всегда так — обвинять во всем подчиненных, и на пьеде-
стале их ошибок стать великим человеком.

— Вы мне велели пользоваться этим номером телефона
только в чрезвычайных ситуациях.

— Вы должны были понять, что это и есть чрезвычайная
ситуация. Мы постараемся исправить вашу оплошность. Воз-
вращайтесь в Париж. Как только приедете, позвоните. Из те-
лефонной будки, конечно.

Зная, что французы не подслушивают его телефон, Ники-
тин тут же звонит резиденту:

— Товарищ полковник (он подыскивает подходящую
формулировку, чтобы сообщить неприятную новость), Пет-
тюша сыграл в ящик.

— Жаль, — говорит Можжухин. — Парень был не дурак. И
все по вине этих умников из нового Управления.

Можжухин сообщает в Москву.

В Москве уже падают сумерки, а генерал-лейтенант про-
должает ходить по кабинету. Охрана и секретари, несмотря
на разницу в чинах и званиях, переглядываются: хозяин,
обычно добрый и понимающий, сегодня явно в „каннибаль-
ском” настроении, как выразился, свирепо подмигнув,
младший лейтенант Володя Вознесенский.

Узнав новость, Яков Моисеевич закрыл глаза.

Есть агенты, успешно работающие всю свою жизнь, и
вдруг — удар! Новые гуманные правила ГБ неприменимы к
таким крайним ситуациям.

А между тем такая хорошая идея — операция „Твердый
знак”...”

Теперь не время заниматься „Твердым знаком”, который
нужно продолжить, как только это станет возможным. Для

таких случаев существует целая процедура, выполнение которой ложится на Якова Моисеевича, каким бы Шапкой-Невидимкой он ни был.

С гримасой отвращения он снимает трубку своей вертушки и вызывает Пятое управление.

— Он нам нужен живой, — уточняет Питман. — Я еще не знаю, будем ли мы его судить после расследования дела, или передадим его вам, но нам необходимо знать, какой винтик здесь не сработал.

Александр ехал весь день наобум, даже не отдавая себе в этом отчета. Его терзала лихорадка. Он то включал отопление, то открывал окна. Большую часть времени ему казалось, что он скорее плывет по воздуху, чем правит машиной, а между тем он отлично вел эту украденную машину.

В течение семи часов, которые он находился за рулем, он сто, тысячу раз пережил сцену убийства. „Он был там... Я был здесь... Я позвал его... Он обернулся...” Александр не ощущал никакой жалости, но пытался вызвать ее в себе, уговаривая себя, что у подполковника „Петра” есть семья... но разве можно беспокоиться о семье гадюки, которой ты сломал хребет?

Александр также не чувствовал угрызений совести. Найденное на убитом оружие расплылось бы эти угрызения, даже если бы они были. Но и не найдя оружия, Александр не мучился бы: гадюки вооружены своим ядом, этого достаточно. И тем не менее, видение случившегося возвращалось к нему с регулярностью налаженного механизма: „Он внизу, я наверху. „Где ты?” (Вот те на: он сказал мне „ты”.) И снова: „Где ты?” И человеческий силуэт, поворачивающийся под пулями то в одну, то в другую сторону, который падает. И брызнувший мозг. Он был моей власти. Я мог и не... Где ты? Ишь ты. А ты, где ты теперь, большевичок? Он хотел взять меня в ежовые рукавицы. Пыль, поднятая перемещением воздуха. Пыль, смешивающаяся с кровью на полу. И оглушающее эхо. И эта боль в висках. На секунду мне пока-

залось, что я останусь глухим на всю жизнь. Я пожалел тогда, что не захватил наушников. А может, я ни о чем не пожалел, и выдумываю все это сейчас. И снова гадюка на прицеле. Его лицо. Какое выражение лица у него было? Измученное? Отчаянное? Нервное?"

Александр захотелось оскорбить это лицо, начавшее, наверное, уже незаметно гнить; в голову начали приходить самые изощренные русские ругательства, но он отгонял их. Нельзя оскорблять сволочь. Он стоял в тени и, как какой-то Зевс, спокойно швырял молнии. Сначала одну, потом другую... „Сколько раз я выстрелил? Четыре. Четыре раза поднялся и опустился курок, ударник встретил капсуль, порох взорвался, и пуля, подгоняемая нарезкой ствола, хлестнула воздух. Молодец револьвер, ты мой друг. Не зря я тебя полюбил. Должен ли я был забрать его автомат? Но что бы я с ним делал?" И все начиналось сначала: треугольное лицо, нелепые усики, прицел, сквозь который была видна часть головы, обреченной на неизбежное тление.

Александр остановил машину у Орлеанских ворот. Он узнал кафе, в котором когда-то не раз встречался с Иваном Ивановичем. Не может быть и речи, чтобы войти туда. И вообще, нужно было принять важные решения, но с затуманенной температурой головой это казалось невозможным. Долгая дорога была позади: все эти грузовики с ослепляющими фарами, все эти люди, ехавшие праздновать Рождество, весь крутящийся Вавилон был позади. Он вернулся целым и невредимым. Но он не знал, куда идти.

Предательство Маргариты его не огорчало, он только удивлялся, что не подумал об этом раньше. И он нисколько не оскорбился недоверием со стороны ГБ, скорее наоборот, находил лестным, что Управление сочло необходимым выделить для слежки за ним отдельного человека. Он не убил ее, это было ошибкой, но нужно знать меру своим силам, уметь не надрываться. Он также не строил себе иллюзий насчет того, что его ждет, если ГБ наложит на него руку: убив Петра, он поставил себя вне закона и заслуживал пули в затылок после допроса. Но ГБ не знает, где он. Изба-

вившись от Маргариты, этой сигнальной лампочки, которую к нему подключили, он теперь легко сможет раствориться в ночи. Более того, то, что он раскрыл, избавляло его от суеверного страха, внушенного ему собственным Управлением: сексотов ГБ можно раскрыть, офицеров ГБ можно выследить и убить, — нужна только осторожность.

Прежде всего нужно избавиться от машины, в которой мог быть установлен тайный датчик для фиксации ее местопребывания. Чего проще. Александр оставил ее возле первого попавшегося тротуара и, подняв воротник — холод окутывал его, как мокрое полотенце, — надвинув на уши кепку, пошел наугад по какой-то улице.

Ему нравилось, что он остался один, без хозяина. Но несмотря на лихорадку, он знал, что долго так не протянет: он должен либо помириться с ГБ, либо перейти к французам, либо найти нового покровителя. А пока ему нужно было найти убежище, чтобы сосредоточиться, все обдумать и решить, что делать дальше. Если бы он не был болен, он просто гулял бы всю ночь — ходьба способствует размышлениям, а передвижение — безопасности, но не успел он сделать и ста метров, как почувствовал, что должен сесть, а еще лучше лечь, на кровать, на землю, куда угодно, лишь бы было тепло, очень тепло. Он вошел в первое попавшееся кафе и заказал грог, стараясь при этом так наклонять лицо, чтобы оно не запомнилось официанту.

Куда бы он мог пойти?

Ни к себе, ни в агентство: Маргарита наверняка уже сообщила об убийстве, и эти два места могли стать только западней. Записаться в гостинице под чужой фамилией? Это было разумнее всего, но он не мог убедить себя, что будет в гостинице в безопасности. Как он сможет уснуть, зная, что у хозяйина гостиницы есть ключ от его комнаты? Конечно, можно запереться изнутри, но... образ Гаверина предстал перед глазами. Слишком много самоубийц находят в гостиницах. И разве много найдется служащих гостиницы, которые откажутся помочь лжедетективу с фотографией разыскиваемого якобы преступника? А Маргарита, кстати, могла подро-

но описать, как он одет. А как можно быстро сменить всю одежду? Нет, никакой гостиницы, спасибо.

Пойти в полицию? Да, Александр мог бы туда пойти хоть сейчас, но он еще окончательно не решил перейти к французам, тем более, что знал: он не сможет остаться нейтральным, ему нужно будет выбрать, и он вынужден будет направить свой ум, опыт, свои знания против тех, кто еще три дня назад были его хозяевами и друзьями, против своего любезного Мефистофеля — Якова Моисеевича.

Александр заказал еще один грог и начал вспоминать всех своих знакомых. У него не было настоящих друзей. У него были светские знакомства, поддерживаемые из снобизма (мой друг маркиз...) или из-за удобства: яхта, дача. Среди этих людей не было никого, кому бы он мог довериться. Женщины? Он их всех потерял из виду, кроме Жессики Бойс, но он не мог спрятаться в пасти льва! Оставались профессиональные знакомства. Но не может же он просить Фурвере спрятать его! Иоганес-Граф наверняка бы спрятал его, но захотел бы узнать что и как. Монтиньи спрятал бы его и защищал, если нужно ценою собственной жизни, но через три часа весь Париж будет об этом знать. Александр подумал о Диво. Да, у Диво есть нужная смелость, он умеет хранить тайны, возможно, он даже хитер. Но если он ему ничего не объяснит, он нарушит некий внутренний кодекс чести, который ему важнее всего; если он расскажет Диво правду, тот косо улыбнется и скажет что-то вроде:

— Если я правильно понял, ты переметнулся обратно? „Для одних я предатель, для других — убийца”.

Александр смотрел на окружающих его людей и говорил себе: „Они никогда никого не убивали. А если и убивали, то это не видно”. Но на его лице тоже никто не мог прочесть, что он убийца, не правда ли? Ногой он с нежностью, как собаку, гладил портфель с револьвером, который оборвал карьеру, а заодно и жизнь подполковника „Петра”.

— „Петр”! Если б он позволил мне называть себя Иваном, я, наверное, не убил бы его.

Парадоксальность положения, в котором он оказался, поразила Александра. Ему, известному всему парижскому свету человеку, негде было переночевать. Он начал просматривать свою записную книжку: имена, адреса, номера телефонов, некоторые без фамилий, и он даже не мог вспомнить, кому они принадлежат. Некоторые имена не воскрешали в памяти никакого лица. Только несколько номеров он смог, напрягшись, окутать определенными духами. (Эти женщины приняли бы его, возможно, если свободны сегодня вечером, но не пойдешь же с этой терзающей его лихорадкой к женщине, от которой остались лишь духи. Говорят, есть мужчины, которых возбуждает совершенное убийство, но он ничего подобного не испытывал.) Наткнувшись на фамилию Курносова, он засомневался: можно, разумеется, обратиться с просьбой о ночлеге к сподвижнику по борьбе, но служащие маленькой гостиницы, в которой живет Курносов, уже наверняка обработаны ГБ. Да, есть еще Саша де Фраганс, режиссер, подозрительная личность, хипповатый парень с крашеными волосами, у которого повсюду разбросаны квартиры и виллы, но Маргарита знает, что Фраганс и Александр испытывают друг к другу симпатию, и поэтому назовет его фамилию одной из первых. Да, да, нужно найти адрес, о котором Маргарита даже не вспомнит. Следовательно, сразу отпадает Перкиньи, симпатичный независимый издатель, полюбивший Псаря потому, что счел его правым. Отпадает также Берну, храбрый редактор „Секунды”, у которого наверняка имеется сеть тайных квартир и который, в надежде откопать сенсацию, вполне способен поиграть в подпольщика. Отпадает и...

Александр заново перелистал записную книжку, и на этот раз его взгляд задержался на фамилии, не замеченной в первый раз.

Позвонит ли он? Это было бы вежливо и просто сделать.

Но Александр предпочел ставку на абсолютный абсурд.

...В тот день после обеда в посольстве состоялся военный совет. Резидент полковник Можжухин, полковник Вязев из Пятого управления и майор Никитин, связной Маргариты Терьен, заседали, попивая чай. Два человека были спешно посланы в замок убрать труп. Никитин вызвал одного из своих помощников для допроса Маргариты. Вязев устроил западню в квартире Псаря.

Как только Маргарита сообщила, что вернулась в Париж, Никитин и его помощник повезли ее в агентство. Один обыскивает в то время как другой допрашивает, затем они меняются ролями. Никитин избрал авторитетный тон: „Девочка моя, вы служите народу или нет?“ Его помощник играет в учтивость: „Несомненно, мадемуазель, молодая женщина с вашими способностями...“. Маргарита, простуженная, уставшая, ежеминутно сморкаясь в бумажные платки, старается изо всех сил. И тем не менее, ее раздражают эти люди, которые, ничего не понимая в литературе, роются в папках с делами, которые она так тщательно и заботливо разложила по полкам. „Своими грязными руками!..“ Но на самом деле они стараются оставить все, как было, стараются сделать все осторожно и кропотливо.

Маргарита, в шестой раз перечислив все привычки, знакомства, повадки своего хозяина, не может удержаться, чтобы самой не задавать время от времени вопросов:

— Но в конце концов кто он такой, этот месье? Почему он с ним это сделал? Я знаю, что месье Псарь был приспешником крайне правых, но теперь он стал и убийцей!

Оба офицера, отмахнувшись от вопросов, снова переходят в наступление:

— Кроме мадам Бойс, с какими женщинами встречался Псарь?

По мере того, как Маргарита перечисляет адреса, где мог найти убежище Псарь, Никитин передает их по телефону на КП. Вязев включил в операцию всех своих людей. Все его временные сотрудники, вынужденные провести бессонную ночь, — французы. Некоторые — платные агенты, другие — идеалисты, но и им платят, конечно, и дают подписывать

расписку в получении, которая будет храниться до того дня, когда их идеализм пойдет на убыль.

Была найдена машина, которую бросил Александр. В ней не нашли ничего интересного. Но все же — это доказательство, что Псарь вернулся в Париж. Компьютеры различных агентств подтвердили, что некий Псарь не заказывал билетов ни на самолет, ни на поезд, а также не брал напрокат автомобилей. Правда, во время Рождества невозможно опросить все агентства. Машина самого Псаря стоит там, где он ее поставил, неподалеку от Оперы. Оставленное им в ресторане пальто продолжает висеть на вешалке.

Маргарита, плача от усталости, несмотря на несколько рюмок коньяка, которые ее заставили проглотить, повторяет, находясь на грани истерики:

— У него не было друзей. Нет друзей. Ни одного друга.

И добавляет патетически:

— У него была только я.

Каким-то образом она втайне снова чувствует к нему любовь, в особенности с тех пор, как началась эта травля. По мере того как она делает все возможное, чтобы он был пойман, она не может рассматривать его как противника. Этим классовым врагом должны теперь заняться эти двое русских, они найдут его, возьмут и сделают с ним то, что нужно сделать; она же, со своей стороны, свободна вспоминать о нем как о своем хозяине, вежливом, щедром, знающем всегда, что он хочет, и, разумеется, как о любовнике.

Утром Никитин решает прекратить допрос. Маргариту отвозят домой и прикрепляют к ней проверенную медсестру, которая будет следить за ней столько времени, сколько потребуется, чтобы она пришла в себя и случайно не проболталась, даже если поднимется температура и она начнет бредить.

Розыски продолжают весь день, всю ночь и все следующее утро. Ни один из наблюдательных пунктов не заметил разыскиваемого. Телефонное подслушивание тоже ничего не обнаружило. Западня на квартире и в агентстве не сработала.

Александр Дмитриевич Псарь, кооптированный подполковник КГБ, в настоящее время в побеге, исчез.

В Москве генерал-полковник Питман, Шапка-Невидимка и один из руководителей Управления А начинает проявлять нетерпение.

В Париже полковник Можжухин ворчит:

— Там им и надо, этим Шапкам-Невидимкам. Они нам портят профессию своими методами прибирать мир к рукам без помощи наших старых друзей: разведки и контрразведки.

Но тем не менее он продолжает с присущими ему рвением и методичностью поиски убийцы Петра, парня с большим будущим, допустившим только одну ошибку: дал перетащить себя к этим умникам в Управление А.

Она уже собиралась лечь спать, когда звонок в дверь заставил ее вздрогнуть.

Она поднялась на цыпочки, чтобы посмотреть в глазок, и не сразу узнала посетителя. Она видела его только один раз, в июне, и его лицо, тогда гладкое, ухоженное, уверенное, теперь было каким-то диким, безумным. На щеках и на шее были порезы от бритвы. В глазах был болезненный блеск.

Но дверь она все-таки открыла.

— Месье Псарь?

— Мадемуазель...

Его веки были болезненно прищурены, подбородок дрожал. Руки сжимали ручку большого черного кожаного портфеля. На нем был разорванный на боку английский плащ.

— Мадемуазель Пети...

— Да.

Он прикусил губу, еще больше прищурил глаза, словно лихорадка отнимала у него зрение.

— Прошу прощения за беспокойство. В такой поздний час. Я даже не знаю, одна ли вы. Одно ваше слово, и я удалюсь.

Было смешно слышать подобные вежливые слова из уст этого плохо выбритого, пошатывающегося человека.

Жозефина Пети посторонилась и пропустила его в квартиру. Она не понимала, чего он хочет, но знала, что способна в случае чего защищаться. Она внимательно рассматривала длинное красивое лицо, на котором замечала едва сдерживаемую грубость.

Он остановился на середине единственной комнаты, взглянул на мебель из белого дерева, на диван, уже разложенный для сна, на репродукции Брака на стене, на аккуратные книжные полки. Он увидел несколько книг из его серии „Белая Книга”.

— Я пришел...

Он прервал себя. На его строгом лице появилась довольно-таки очаровательная улыбка.

— Самые простые вещи труднее всего сказать, не так ли? Вы интересуетесь терроризмом. И вы не поддались на мои попытки подкупить вас или повлиять на вас. Это вызвало у меня уважение, доверие... Вы цельный человек. Это редкость. Нет, ничего страшного, у меня просто температура, я простудился. Но мне нужно поразмыслить несколько часов. А для этого мне нужно отдохнуть.

Она наклонила голову. Она прекрасно понимала, что он явно не в себе. Она испытывала немного сочувствия и много любопытства.

— А почему вы не поехали к себе? — спросила она с интересом и серьезностью.

Александр напряженно посмотрел на нее, словно и сам уже забыл причину.

— Ах, да! Почему? Потому что, видите ли, мне нужно спрятаться.

Он сделал жест, словно ищет другое, менее детское слово, но не найдя, повторил:

— Спрятаться.

Он смотрел на маленькое скуластое лицо, густые жесткие брови, на грубую кожу, на черные умные глаза. „Господи, как эта женщина еще молода!” На ней были какая-то белая майка и синие штаны. Он, Александр Псарь, пришел просить убежища у двадцатисемилетней карлицы в штанах.

Она развела руками, и в этом жесте не было увиливания, скорее размышление, взвешивание. Она действительно интересовалась терроризмом, но скорее теоретической стороной этой общественной болезни, чем физическими ее проявлениями. Однако она не была человеком, отступающим перед воплощением теории в практику. Она жила одна и никому ничем не была обязана. Три недели назад она порвала со своим любовником, который пытался навязать ей свои политические взгляды и страсть к азартным играм.

Позже она заинтересуется, в какой форме терроризма оказался замешанным Александр Псарь. Она была категорически против любых нарушений индивидуальной свободы, и если этот человек действительно виновен в такого рода действиях, ей придется, она это уже предвидела, решать спор со своей совестью: может ли она дать убежище преступнику, может ли она выдать беглеца? Но Жозефина Пети была хорошо воспитана, она знала, что прежде чем задавать вопросы, нужно отдать долг гостеприимству. Сначала нужно ответить да или нет, и этот ответ не должен сопровождаться объяснениями вроде „у меня только одна комната” или „вам у меня будет неудобно”. Еще в отрочестве она очень сожалела, что не жила под немецкой оккупацией, а позже — что не могла принимать участия в войне в Алжире. Наконец она получила возможность действовать, скромную, но определенную: оттолкнет ли она ее? Кроме того, этот человек болен, и какой бы малочувствительной ни была Жозефина Пети, она естественно помогала всем, кто просил у нее помощи.

Она закрыла дверь, набросила цепочку, прикрыла глазок. И глядя на Псаря, который делал усилия, чтобы не дрожать всем телом, сказала:

— Вы должны принять горячий душ и выпить грог. Ванная там. Мои пижамы будут вам, конечно, маловаты. Подождите: Людовик оставил у меня свою пижаму. Я хотела ему ее отослать.

Ее однокомнатная квартира была организована, как решение задачи с тремя неизвестными. Она полезла по приставной лестнице к шкафчику под потолком.

— Конечно, — констатировала Жозефина с гримасой недовольства, — она розовая. Людовик любил розовое. Но эта пижама лучше, чем ничего...

— Теперь полотенце.

Она снова полезла наверх к другому шкафчику.

— Раз уж вы в розовых тонах, держите.

Проходя мимо батареи, она покрутила термостат: больному необходимо тепло.

— Что же вы, проходите, — сказала она, видя, что Александр стоит в плаще на прежнем месте. — А я приготовлю вам грог.

Он с трудом снял плащ и сильно сжал зубы, чтобы они не стучали. Она заметила, что он забрал в ванную свой черный большой портфель.

Жозефина посмотрела на телефон. Позвонить кому-нибудь? Сказать: „Если со мной что-нибудь случится, запомни, что Псарь в этот вечер...” Нет. Она не чувствовала себя вправе назвать эту фамилию, а без фамилии этот звонок будет только проявлением страха; она же страха не испытывала.

Жозефина решила, что уступит свой диван больному, а сама ляжет на полу на подушках и одеялах. Она хотела сначала приготовить себе постель, а потом заняться грогом, но подумала, что этому человеку будет неудобно, если она уляжется на полу; лучше сначала его уложить. Она сложила приготовленную постель в угол, чтобы сразу разложить ее, как только погасит свет.

Шум душа напоминал звук охрипшей сирены. Как только он прекратился, Жозефина прокричала:

— В аптечке на второй полке есть новая зубная щетка, а сбоку зубная паста. Надеюсь, вы любите мятный вкус.

Немного подумав, она сменила простыни. У нее их было три пары; если Псарь ночью будет сильно потеть, она утром положит вторую свежую пару. Ситуация начинала забавлять ее: было столько нелепого в том, что учительница математики оказалась вовлеченной в мир терроризма. „Видели бы меня мои ученики...”

Александр вышел из ванной, по-прежнему держа в руке черный портфель, розовая пижама была ему явно коротковата. Он дрожал. Она уложила его, помогла ему выпить грог, поддерживая чашку, заставила проглотить две таблетки аспирина и приказала:

— А теперь спите.

Голова его упала на подушку. Жозефина погасила свет, но в комнате остался полумрак (свет пробивался сквозь полупрозрачную дверь ванной комнаты). Александр спросил:

— А вы где будете спать?

— Пусть вас это не беспокоит. Что вы там еще делаете?

Она увидела опустившуюся с кровати руку, которая что-то искала: портфель. Рука открыла портфель, вынула из него какой-то предмет и сунула его под подушку. Жозефина подумала: „Ну и влипла я. Может быть, я прячу убийцу. Что ж, если начнется стрельба, я узнаю, смелая я или нет: я уже давно хочу это знать”.

Весь следующий день гость не пошевелился. Жозефина сделала покупки, вернулась, возилась по хозяйству, читала, писала; он был, как мертвец, разве что дышал и потел. Еще через день он продолжал спать, открыв рот, ко лбу прилипли мокрые от пота волосы, похожие на ракушки.

Жозефина сварила кофе, собрала свои бумаги, оставила записку („В холодильнике есть яйца и один помидор”) и ушла, тихо закрыв дверь. Во время каникул она вместе с подругой работала над своей докторской, и не собиралась из-за гостя менять распорядок дня. Подруга ей нравилась, она была свободна политически (то есть не была марксисткой), но ее раздражало, что Жозефина не состоит ни в одном профсоюзе. В этот день раздражение показалось мадемуазель Пети особенно никчемным. „Хотела бы я посмотреть на тебя, Эдит, если бы в твоей постели лежал убийца!”

Возвращаясь домой, автор „Психоанализа террора” весьма тщательно выбрала что купить на ужин: студень из утки и консервы из крабов. При этом она все время повторяла про

себя: „Может быть, он уже ушел”. И при этом она с какой-то болью вспоминала о Людовике. Но потом решила, что он этого не заслуживает: человек, который считал, что она должна стирать его носки только потому, что она — женщина!..

Она с облегчением констатировала, что Псарь по-прежнему находится в ее квартире и чувствует себя гораздо лучше. Его щеки покрывала бело-русовая щетина; он сложил диван и закутался в одеяло так, что оно скрыло розовую пижаму. Может быть, он ее просто снял. Кухня и ванная блестели, на письменном столе из белого дерева стоял в графине букет чайных роз.

— Вы, надеюсь, не выходили?

— Нет, я позволил себе воспользоваться вашим телефоном.

Жозефина с удивлением смотрела на этого господина, занимающего одновременно так мало и так много места. С покрытым щетиной подбородком он стал похож на иконный персонаж; его коричневые глаза, подернутые странной дымкой, были гораздо темнее его волос.

Они приятно поужинали. Жозефина любила сидеть на полу.

— Стол у меня такой крошечный, так нам будет удобнее.

Сидя на полу, Александр явно чувствовал себя не очень удобно, но он старался изо всех сил улыбаться, и она смотрела на него со смесью самых разных чувств, из которых самым сильным было то, что присуще женщине, кормящей мужчину, потому что кормить — в природе женщины.

— Ну как? Вы сыты?

Он был бледный, более худой, чем при их встрече в июне, но уже не дрожал, и высказываемые им мысли вновь подчинялись логике. Он спросил:

— Что с вашей рукописью?

Купив бутылку „Зубровки”, знак удивительного к нему внимания, она подала ее даже не холодной, без закусок, и разливая в большие стаканы, вздохнула:

— Куда я ее только ни носила. Никто не берет.

— Вы обращались к Перкиньи? Я думаю, вы найдете с ним общий язык.

Жозефина записала номер телефона Перкиньи.

— Могу ли я сослаться на вас?

Он рассмеялся:

— Да. Перкиньи мне еще доверяет.

Постепенно, не без помощи зубровки, они начали перескакивать с одной темы на другую. Александр рассказал о месте, на которой он недавно присутствовал.

— Вы верующая, мадемуазель?

— Называйте меня Жо. Скажем так, существование Бога не кажется мне гипотезой, от которой мы имеем право априори отказаться. А вы?

— Да. У меня в связи с этим даже возникли некоторые трудности.

Она, расхрабрившись, попросила его показать оружие. Он вытащил свой револьвер и объяснил, как он действует. Широко раскрытыми глазами смотрела Жозефина на эту тяжелую штуку. Будучи экспертом по терроризму, она видела револьвер только в витрине магазина и стреляла только на ярмарках.

У Жо были такие короткие пальцы, что она едва могла дотянуться до курка. Загипнотизированная оружием, как все, кто не имеет с ним дела, она спросила:

— Как вы думаете, из этого револьвера уже кого-нибудь убили?

— Весьма возможно, — холодно ответил Александр.

Они сидели на полу, очень близко друг к другу, их щеки почти соприкасались, и он снова почувствовал неловкость от ее грубой кожи, в то время как она, глядя на его щетину, подумала: „Наверное, колется”. Он первым едва заметно отодвинулся, и тогда она тоже отодвинулась, задавая новые вопросы о действии этого стального инструмента.

В эту ночь Александр настоял, чтобы она спала на своем диване, и она по забывчивости или по другой причине, которую не могла себе объяснить, не сменила простыни.

Наутро она проснулась, отдавая себе отчет куда больше, чем в первый вечер, о свалившейся на нее ответственности. Она кормила его — он ей принадлежал. Она сказала:

— Вы меня напугали этим букетом. Сегодня вы никому не откроете дверь, правда?

Александр рассеянно поблагодарил ее:

— Нет, нет, конечно.

Они позавтракали за столом, который обычно стоял в кухне, но который можно было передвинуть в комнату, и Александр с ужасом наблюдал, как хозяйка дома погружает свой кусок хлеба с маслом в кофе.

— Сегодня, — сказала Жо, — я вернусь немного раньше. Что вам приготовить на ужин?

— Что сами захотите.

— Бифштексы, идет?

— Вполне.

Когда она ушла, Александр начал не спеша одеваться, как в старину обвешивались оружием. Время от времени он подходил к окну и смотрел на расположенный внизу парк и, созерцая покачивающийся подвесной мостик, вставлял тяжелые золотые запонки в рукава уже далеко не чистой рубашки. Он уже принял решение. Он „не вернется”. Не увидит густые кроны высоких берез, не услышит русских колоколов, чьи звучные послания плывут над бескрайними долинами. „Я не вернусь, Алек, ты вернешься вместо меня”. Но отцовская рука так и не дотянулась до щеки сына.

— Ты, папа, завещал мне „вернуться”. Ты видишь, я не могу. Прости.

По отношению к своим бывшим хозяевам он не чувствовал никаких угрызений совести. Он был связан с ними только договором, и они его нарушили. Оставалась Россия:

— Я люблю ее не меньше. И не буду обманывать себя, утверждая, что она стала другой. Это тот же язык и тот же черный хлеб.

Если бы он в одиночку мог вести эту войну, он бы это сделал, но в действительности у него был только один выход: направить свою волю в ту сторону, где уже находилось тело.

— У меня всегда был выбор только между предательствами.

Александр посмотрел на свои руки:

— И когда я умру, пусть меня не хоронят на Сент-Женевьев, где земля обрусела от трупов. Мое тело, вскормленное Францией, должно питать Францию.

И так как загнанный жизнью в угол человек всегда находит утешение, думая о человечестве, он добавил банальную фразу:

— Я не первый изгнанник. И не последний.

У него уже не было температуры, но он был слаб, и телефонная книга показалась ему тяжелой.

— Алло, я хотел бы поговорить с каким-нибудь компетентным человеком. У меня есть сведения о советской шпионской организации во Франции.

— Одну минуту, месье.

Другой голос:

— Я слушаю.

— Я бы хотел поговорить с каким-нибудь компетентным человеком. У меня есть сведения о советской шпионской организации во Франции.

— Сожалею, месье, но я не имею права передавать... Можете ли дать номер телефона, куда вам можно позвонить?

Эта детская хитрость подействовала Александру на нервы. Он понимал, что стоит ему настоять, его выслушают и передадут все, что надо, но у него не было сил, и он хотел в сущности одного — чтобы его подобрали. Сразу после убийства в нем не произошло ничего особенного, но со временем он ощущал какую-то распространяющуюся в нем гниль: смерть, она заразна. Александр дал номер телефона Жозефины и повесил трубку.

Через несколько секунд телефон зазвонил. Новый голос почти елеинно произнес:

— Это вы звонили в министерство?

— Я. У меня есть сведения о советской шпионской организации во Франции. Вы и есть компетентный человек?

— Может быть, лучше встретиться. Вы в Париже: приезжайте к нам.

— За мной могут следить. Я — агент по распространению влияния. И предпочел бы, чтобы вы приехали ко мне.

Александр дал свою фамилию и адрес.

— Нужен пароль, иначе я не открою вам дверь.

— Назначьте его сами.

Александр вспомнил поразившее его когда-то изречение Лоуренса Дюрреля:

— Увидеть — значит очиститься.

Старшему инспектору Водрэтту было сорок восемь лет, и он не был молодым для старшего инспектора. Его жена постоянно ворчала:

— А почему Паулюс старший комиссар? Вы же вместе кончали Полицейское училище?

Дети Водрэтта скрывали от одноклассников, что их отец — полицейский; заполняя различные анкеты, они указывали, что профессия отца „чиновник”. У Фабриса было больше пластинок, чем он мог себе позволить; Сабина клала в свой школьный портфель коробочку с противозачаточными пилюлями, возможно, чтобы произвести впечатление на подруг... кто знает.

В общем, Водрэтт считал, что нет в мире справедливости.

Как-то посланный на задание, он прочел в вагоне второго класса книгу, оказавшую на него большое влияние. Это было карманное издание книги Эмманюэля Блюна „Верный друг”. Писатель рассказал эту историю, исключительно стремясь стать популярным, но эта история полностью изменила жизнь Водрэтта. Если бы он купил на вокзале другую книгу, скажем, „Жизнь Ван-Гога”, он остался бы честным человеком.

Прочтя книгу, Водрэтт стал убеждать себя, что он тоже хотел бы иметь верного друга, способного избавить его от разных неприятностей и дать ему возможность показать, на что он способен. Водрэтт был мечтателем. Он воображал, что его вызывают в министерство внутренних дел или даже в президентский дворец, где какой-нибудь высший чинов-

ник, тайно обработанный верным другом, скажет ему: „Водрэтт, мы хотим создать новую службу безопасности, маленькую, заметьте, совсем небольшую, но современную, сверхсовременную, по сравнению с которой контрразведка будет выглядеть умственно отсталой, и мы решили, что именно вы обладаете всеми необходимыми для руководства этой службой качествами”. Но кто бы мог быть этим верным другом? В книге Блюна все было ясно: только у коммуниста достаточно веры, энергии и постоянства...

Водрэтт как раз специализировался на наблюдении за коммунистами. А они, после прихода социалистов к власти, были введены в правительство против воли народа, но благодаря воле народа, — попробуйте тут разобраться, словно в демократии эти два слова „воля народа” ничего не значили. Во всяком случае для Водрэтта наступил удачный момент, чтобы найти верного друга в партии, представители которой вошли в правительство, после того как провалились на выборах.

Он осуществил свой замысел без особых размышлений. На одном из дипломатических приемов Водрэтт должен был исполнять роль тайного наблюдателя, но так, чтобы это было незаметно (очевидно, это было заметно); какой-то молодой, очень веселый советский дипломат, поднося ему бокалы с шампанским и цитируя Ростана: „Мы, маленькие, неизвестные, без звания...”, — познакомился с ним, и они договорились вместе поиграть в боулинг. Советский пришел к Водрэтту в гости на ужин и отблагодарил за гостеприимство, подарив видеоманитофон („мы, дипломаты, покупаем их за гроши”). Однажды, когда они сидели вместе в сауне, щедрый гость попросил список некоторых адресов — отказать было неудобно. (Тем более, что почти все адреса были в телефонной книге.) В другой раз дипломат получил от своего начальства поручение написать биографии некоторых видных французских политических деятелей: ему было трудно это сделать, для Водрэтта — пустяки... Они начали играть в шахматы и, хотя советский был сильным игроком, каждый раз, когда они спорили на пятьсот франков, Водрэтт неизменно выигрывал. Что касается мадам Водрэтт, она бы-

ла в восторге от этой дружбы, выгодной и безалкогольной, и находила, что у советского дипломата манеры русского графа.

Однажды вечером после отменного ужина Водрэтт вышел проводить гостя, и они решили выпить в ближайшем кафе по бокалу пива. И тогда русский граф сказал:

— Знаете, Клавдий Львович... Впрочем, мы можем перейти на ты: Клод, называй меня Володей... Так вот, Клод, мне кажется, что мы друг друга поняли. Мы преследуем одну цель — счастье человечества. Франция, Советский Союз и так далее — это только посредники: нас с тобой волнует судьба всего человечества. Так получилось, что на этом конкретном отрезке истории Советский Союз лучше других способен вести к этому счастью. Как идеалист идеалисту я хочу сделать тебе одно предложение. Знаешь, как в этой книге, которую ты дал мне почитать, друзья помогают друг другу в трудную минуту... Если у тебя есть что-то важное, серьезное, действительно серьезное, то я смогу тебе помочь. Не время от времени, а постоянно, ежемесячно. В случае провала, операция по твоему спасению будет вестись профессионалами. Через два часа будешь в Москве; это большой и красивый город. Сможешь открыть в Москве боулинг. Но для этого нам нужно начать с чего-нибудь серьезного, ты меня понимаешь.

— В случае провала, — спросил Клавдий Львович, — мою жену вы тоже вывезете?

Володя улыбнулся, подняв глаза к потолку:

— Будет так, как ты захочешь, естественно. Но женщине в таком возрасте и с таким характером, как Тереза, будет наверняка трудно привыкнуть к советскому образу жизни. А у тебя, Клод, молодая душа!

С этого дня месяце Водрэтт начал свысока посматривать на свою жену („Если бы она знала, что мне предложили”) и меньше страдал от походов своих детей („Я даже не уверен, что они от меня”). Он начал жить в каком-то фантастическом мире. Он нашел своего верного друга. Все же на всякий случай он перестал носить красные галстуки.

Несколько раз он думал, что нашел что-то крупное и серьезное, но каждый раз Володя только качал головой:

— Ничего, Клод, еще небольшое усилие, и ты вынырнешь!

Поговорив с Псарем — знакомое имя: Тереза видела его по телевидению и находила, что он тоже похож на русского графа, — старший инспектор Водрэтт откинулся в кресле и стал растирать лоб.

— Я разыграю это, — сказал он себе, — как шахматную партию.

Он записал все полученные сведения и, пройдя по коридору, постучал в дверь своего начальника генерального инспектора Дюверье. Водрэтт не сомневался, что его телефон, как и все телефоны этого учреждения, прослушивается. Ему наконец повезло, как везет только раз в жизни, и этот шанс он использует со свойственной ему проницательностью, которую ни один из его начальников не хотел в нем признать.

Генеральный инспектор Дюверье, уродливый и симпатичный (его огромная рожа была усыпана красно-рыжими пятнами и бородавками) отодвинул поданное ему донесение на край стола, откинул назад голову и сдвинул очки с толстыми стеклами на край усыпанного угрями носа.

Водрэтт, почтительно наклонившись вперед, ждал. Про себя он готов был поспорить на франк (левый карман против правого), что Дюверье высунет кончик языка и скажет: „Спасибо, я приму меры”.

Дюверье, закончив читать, посмотрел на него поверх очков и сказал, высунув кончик языка:

— Спасибо, я приму меры.

Водрэтт вышел, вытащил из правого кармана выигранный им франк и переложил его в левый карман.

Вместо того, чтобы вернуться в свой кабинет, он спустился на лифте на первый этаж. Стоящий у входа охранник в форме обладал осиной талией и красивыми усами, благодаря которым получил прозвище „кавалерийский капитан”.

— Мое почтение, капитан, — сказал добродушно инспектор.

человека, поднявшегося с самого низа до своего поста, обладающего силой и обаянием, никогда не идущего на ненужную низость. Равнодушно — потому что сам чувствовал себя счастливым человеком, знал, что достиг своей вершины и этой вершины ему было достаточно. Подняться выше? Ни за что. У него было чувство юмора, а юмор для любой администрации является неисправимым недостатком, особенно когда у власти левые. А пока они освободят место, Дюверье выйдет на пенсию, будет удить пескариков, гонять бильярдные шары и не будет ни в коей мере заботиться о победе великих идеалов, которые его никогда и не волновали. Да, Дюверье, который с успехом провел почти все порученные ему операции, и в частности несколько блестящих арестов террористов, который слыл среди коллег не только во Франции, но и за границей, ассом, не мог запретить себе считать скорее смешной, чем серьезной жизнь, работу, свое начальство, своих подчиненных, а главное и себя самого. Он смаковал каждую удачную операцию, как луковый суп. „Как это сочно! Мы хорошо повеселились!” И вместе с тем никогда не тешил себя иллюзиями: „Я никогда не стану замдиректора, потому что меня все забавляет, — это справедливо; замдиректора должен себя уважать”. Впрочем, он был честным, хотя и не без игривости. Его пенсии ему будет вполне достаточно. А что, двое сыновей уже вышли в люди: один поднимается по государственной лестнице, другой увлекся торговым флотом. Дочери его забавляют: одна учится в престижной высшей Политехнической школе, другая — будущая кинозвезда. Жена испытывала к нему нежность и признательность, которая его трогала каждый раз, когда он думал о жене, то есть по многу раз в день: „Благодаря тебе, толстуха, мне не пришлось в жизни скучать ни одной секунды”. Было бы просто неприлично дополнить все эти блага блестящей карьерой: достаточно просто удачи, и месье Дюверье, сидя на стуле для подчиненных перед столом директора, смотрел на него (он был маленький, сухой, как саранча, словно поглощаемый своим креслом) с почтительной снисходительностью и безграничным сочувствием. Если уголки

его тонких губ приподнимались, он не мог, да и не хотел ничего поделывать: „Я генеральный инспектор и мне этого вполне достаточно; все остальное не для меня: сомнительные почести, риск, постоянная серьезность трехсот шестидесяти шести дней в году, чтобы не предстать в смешном виде перед подчиненными в год високосный”.

— Вот еще, господин директор, запись телефонного разговора. Мне его передал Кавайе.

Директор умел прочитывать страницу одним взглядом. Может быть, поэтому он и стал директором.

— Водрэтт не видит в этом ничего подозрительного?

— Водрэтт, господин директор, подозревает всегда, но никогда в достаточной мере. Это маленький человек, который не в состоянии понять, что одно препятствие может скрывать другое. Он пошел в третье от нас кафе, не в первое и не во второе, чтобы позвонить своим друзьям. Весь Водрэтт в этом. И он еще удивляется, что его до сих пор не сделали комиссаром.

Директор перечел текст, на этот раз медленно. Дюверье продолжал сидеть на слишком маленьком для него стуле; тень улыбки витала не на его тонких губах, обрамленных едва заметными усиками, а только в глазах, которые он любил держать полузакрытыми.

— Что вы предлагаете, Дюверье?

Дюверье встал, едва ли не потягиваясь. Он вел себя очень свободно с начальством, и дело было не только в его возрасте, он сумел навязать всем независимость своих движений, свой тон, одновременно уважительный и покровительственный. Он медленно прошелся перед огромным планом Парижа, занимающим всю стену, подошел к окну и посмотрел на реальный Париж.

— Господин директор, эту партию можно разыграть по-разному. Вы знаете, кто такой Псарь. Он утверждает, что он агент влияния. Должен признаться, я его не подозревал, но предположим, что это так. Вы также знаете, кто такой Водрэтт. С тех пор как он начал носить шикарные костюмы и розовые рубашки (на Дюверье тоже была розовая рубаш-

ка), мы решили, что было бы неплохо понаблюдать за ним. По-моему, критический момент наступил, когда он перестал носить красные галстуки. Мы, конечно, все проверили: он не имеет доступа к строго секретным документам, кроме нескольких, которые я пометил „строго секретно”, чтобы у него не возникло подозрений. Я вам уже говорил, как я оцениваю создавшуюся ситуацию: Водрэтт хочет перейти на ту сторону, для чего ему нужно преподнести по-настоящему важную информацию. Слежка за ним, подслушивание телефонных разговоров это подтверждают. Хорошо.

Что касается его дружков, в течение последних дней они засуетились, значительно усилили радиосвязь с центром. Это может иметь прямую связь с делом „Псарь”.

Если вы хотите, чтобы мы загребли Псаря, это проще простого: дружкам нужно время, чтобы доехать до квартиры, где он прячется, в то время как нам достаточно позвонить в ближайший полицейский участок — и Псаря преподнесут вам на подносе. Но в этом случае нам следует поторопиться, иначе мы рискуем найти Псаря всмятку или вовсе не найти его.

— Что бы вы сделали на моем месте, Дюверье? Вы опытная лиса, и было бы грешно не поэксплуатировать вас перед уходом на пенсию.

— Я, господин директор, человек простой и вижу проблему в виде классной доски, разделенной на четыре квадрата с двумя входами в каждом. Мы забираем Псаря или бросаем его. Мы разоблачаем Водрэтта или продолжаем держать его на крючке.

Первый квадрат: мы наступаем. Оставляем в покое Водрэтта и забираем Псаря. Дело крупное — раскалывающийся агент влияния. Будет шум, поздравления, повышения и прочее.

Второй квадрат: мы ничего не знаем. Либо, более изощренный вариант: мы прибываем на квартиру Псаря после его дружков. Водрэтт пусть еще побегает, а Псарь уже никогда больше бегать не будет. Но все это, если хотите знать мое мнение, явно серовато.

Третий квадрат: проводим оба дела вместе. Псаря забираем, Водрэтта сажаем. Будет две шумихи вместо одной.

Четвертый квадрат...

— Вот-вот, его я поджидал. Я вас хорошо знаю.

— ...Псаря дружкам, а Водрэтта — львам. Я знаю, что этот дурень не наносит нам большого вреда, но все-таки надоело следить за ним с утра до вечера. Это скучно и не так уж дешево.

— Если я вас правильно понял, Дюверье, надо дать время противной стороне овладеть Псарем, чтобы потом обвинить Водрэтта в шпионаже в пользу иностранной державы? А не жалко выпускать добычу из рук, даже если удастся поймать ее тень?

Дюверье улыбнулся. Директор любил элегантные формулировки. Что ж, это нормально, на то он и директор.

— Имея четыре квадрата, было бы обидно не состряпать из них пятый, пусть даже нескладный. В лучшем случае мы можем устроить, чтобы Водрэтта осудили по 70 статье. А что это значит? Весь мир начнет с энтузиазмом кричать, что нас водят за нос, что мы инфильтрированы иностранными агентами. Честно говоря, я не вижу во всем этом большой для нас пользы. Если Водрэтт хочет воспользоваться случаем, чтобы перейти на ту сторону, тем лучше для его банковского счета; что же касается нас, то трудно придумать лучший способ для передачи дружкам той или иной информации, действительной или фальшивой, которая нам выгодна.

— Согласен, Дюверье. Я и сам пришел к этому решению, но не могли бы мы все же как-то использовать Псаря?

— Господин директор, это зависит только от вас, но прежде всего нужно решить вопрос, что с ним делать дальше. Вспомните одно недавнее дело. Мы потратили целый год на слежку и угробили кучу денег. И все для чего? Для того, чтобы парня бездарно допросил судебный следователь, а спецтрибунал по-детски осудил, чтобы в конце концов он оказался через два года на свободе, так и не сообщив ничего важного. Псарь наверняка все расскажет, но что он может сообщить нам? Несколько имен, какие-то операции, о кото-

рых мы уже знаем или догадываемся? После чего, раз отменены спецсуды, он предстанет перед судом присяжных, который, несмотря на двадцать пять лет вредной для национального сознания деятельности, оправдает его по всем правилам.

— Оправдает, Дюверье?

— Да, потому что прокурор не сможет доказать вредности его деятельности.

— Уточните, пожалуйста, вашу мысль.

Дюверье поглаживал кончиками пальцев свои симпатичные бородавки с черными волосками сверху. Он высунул кончик языка.

— Пожалуйста, господин директор. Статья 80-я Уголовного кодекса, единственная, которая дает возможность что-либо предпринять против агентов влияния, предусматривает сроки заключения от 10 до 20 лет для всех, „кто поддерживает связь с агентами иностранной державы, наносящую вред военному или дипломатическому положению Франции, а также ее основным экономическим интересам”. Я не подчеркиваю, господин директор, туманность таких слов, как „связь” или „основные”. Но заметьте, что интересы культурные, духовные, гуманистические в нашем законодательстве даже не фигурируют: можно безнаказанно подрывать устои семьи, разрушать духовный мир нашей молодежи, калечить систему образования, вредить нашей Церкви, поганить нашу литературу. Защищаются только наши военные, дипломатические и экономические интересы. И нужно еще доказать, что им был действительно нанесен ущерб. А месье Псарь не нанес этим трем интересам никакого вреда. Если месье Псарь будет осужден, то только по ужасающей судебной ошибке, первыми жертвами которой, кстати, станем мы сами. Газета „Взбесившийся индюк” вновь станет утверждать, что мы сажаем людей за свободу мнения, а французские выдающиеся умы выразят беспокойство по поводу наших репрессивных методов. Вот почему, господин директор, до тех пор пока не будет изменено наше законодательство и пока распространение влияния не будет признано как одно из самых тяжких преступлений, — во всяком случае гораздо

более тяжким, чем простой шпионаж, — я буду утверждать, что нам не следует арестовывать агентов влияния, ибо наши обвинения в их адрес неизбежно обернутся против нас.

— Короче, Дюверье, с высоты вашего опыта и проницательности...

— С высоты моей профессиональной кучи навоза, господин директор, я заключаю следующее: агент влияния дружков навлек на себя их немилость, так давайте дадим возможность этим друзьям сделать всю грязную работу, на которую мы сами неспособны. Пошлем Водрэтта на квартиру Псаря, но через час. А затем воспользуемся его правом на благодарность со стороны Союза Советских Социалистических Республик.

Звонок в дверь. Александр смотрит в глазок. Перед дверью стоит краснолицый человек с морщинистым лбом, одетый в кожаную куртку.

— Кто там?

— Увидеть — значит очиститься.

У пришедшего легкий провинциальный акцент.

Александр открывает.

— Александр Псарь?

— Это я.

— Идемте.

Портфель уже в руках Александра; он набросал Жо записку: „Спасибо. Я вам позвоню”.

В лифте Александр старается определить исходящий от краснолицего запах: алкоголь, одеколон, кожа? Перед домом ждет черный автомобиль с распахнутой дверцей.

— Садитесь.

Александр садится.

Толстый мрачный водитель, в глубине машины сидит еще один человек, курит. Он одет в темный костюм и белую рубашку; его лицо окутано сиреневым дымом. Краснолицый садится рядом с Александром.

— Господа... — говорит Александр.

И вдруг чувствует, что „господа” звучит неуместно. В машине царит такая тяжеловесная и напряженная атмосфера, что слово „господа” становится смехотворным. Александр пробует ручку дверцы... она заперта. Машина уже мчится по Парижу.

Курящий произносит по-русски:

— Спокойно, товарищ. Я полковник Вязев из Пятого управления.

Краснолицый наклоняется к Александру.

Игла входит в затылок Александра. Его рука, опустившаяся в портфель, теряет силу; он весь обмякает и проваливается в бездну.

Машина едет по окружной дороге, съезжает с нее и останавливается у каких-то складов перед закрытым гаражом. Его металлическая дверь автоматически, скрипя и содрогаясь, поднимается, и машина въезжает в огромное помещение. Посредине стоит гигантский грузовик, на котором белыми буквами по синему фону написано „Совтрансавто”. Крепкий длинноногий парень с коротким туловищем, одетый в итальянскую кокетливую кожаную куртку, сидит на подножке грузовика.

Дверь гаража снова опускается, ударяясь о цементный пол с сильным стуком, долгое эхо которого гудит по всему гаражу.

Грузовик опечатан. Вязев срывает свинцовые печати и открывает его. Внутри — вина и спиртные напитки. Между картонными коробками лежит ящик, на котором наклеены этикетки: „Реми Мартэн”, „Шерри Роше”, „Шартрез”, „Мандарин Наполеон”, „осторожно, не кантовать”. Это всего лишь дополнительные меры предосторожности — никто не откроет грузовик, пока он не пересечет границу Белоруссии.

Краснолицый и водитель легковой машины вносят безжизненное тело Псаря в грузовик. На запястьях и лодыжках Псаря — наручники американского производства. Его кладут в ящик, который тут же забивают. Чтобы можно было дышать, в нем просверлено столько отверстий, сколько предусмотрено инструкцией Пятого управления.

Со звонким лязгом захлопываются дверцы грузовика. Парень в кожаной куртке накладывает новые печати. Вязев смотрит на него с одобрением.

Парень влезает в кабину: с его длинными ногами это легко. Его напарник, слегка нервничая, ворчит:

— Ну что, поехали?

Вязев бросает последний взгляд на грузовик.

— Готов, Вячеслав?

— Всегда готов, товарищ полковник.

— Давай! С Богом.

Гигантский грузовик рычит, вздрагивает и трогается. Металлическая дверь гаража снова открывается, и грузовик медленно выезжает, заполняя собою улицу. Кажется, весь гараж тронулся с места.

Сегодня 28 декабря. До наступления нового года Александр Дмитриевич Псарь „вернется”.

О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава 1.	Расстановка	5
Глава 2.	Божественный клубок	57
Глава 3.	Один день Александра Дмитриевича	102
Глава 4.	Последняя услуга (операция „Псков”, фаза № 1)	148
Глава 5.	Кляп на черный день (операция „Псков”, фаза № 2)	201
Глава 6.	Тиски сжимаются	248
Глава 7.	Твердый знак	293
Глава 8.	Жемчужина	327
Глава 9.	Возвращение	367

